



ОПЕРАЦИЯ

„С НОВЫМ  
ГОДОМ!“

ЮРИЙ ГЕРМАН





**ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ!»**

●

**ПОВЕСТЬ О ДОКТОРЕ  
НИКОЛАЕ ЕВГЕНЬЕВИЧЕ**

# **Юрий Герман**

**НАШ ДРУГ —  
ИВАН БОДУНОВ**

●

**О ГОРЬКОМ**

●

**О МЕЙЕРХОЛЬДЕ**

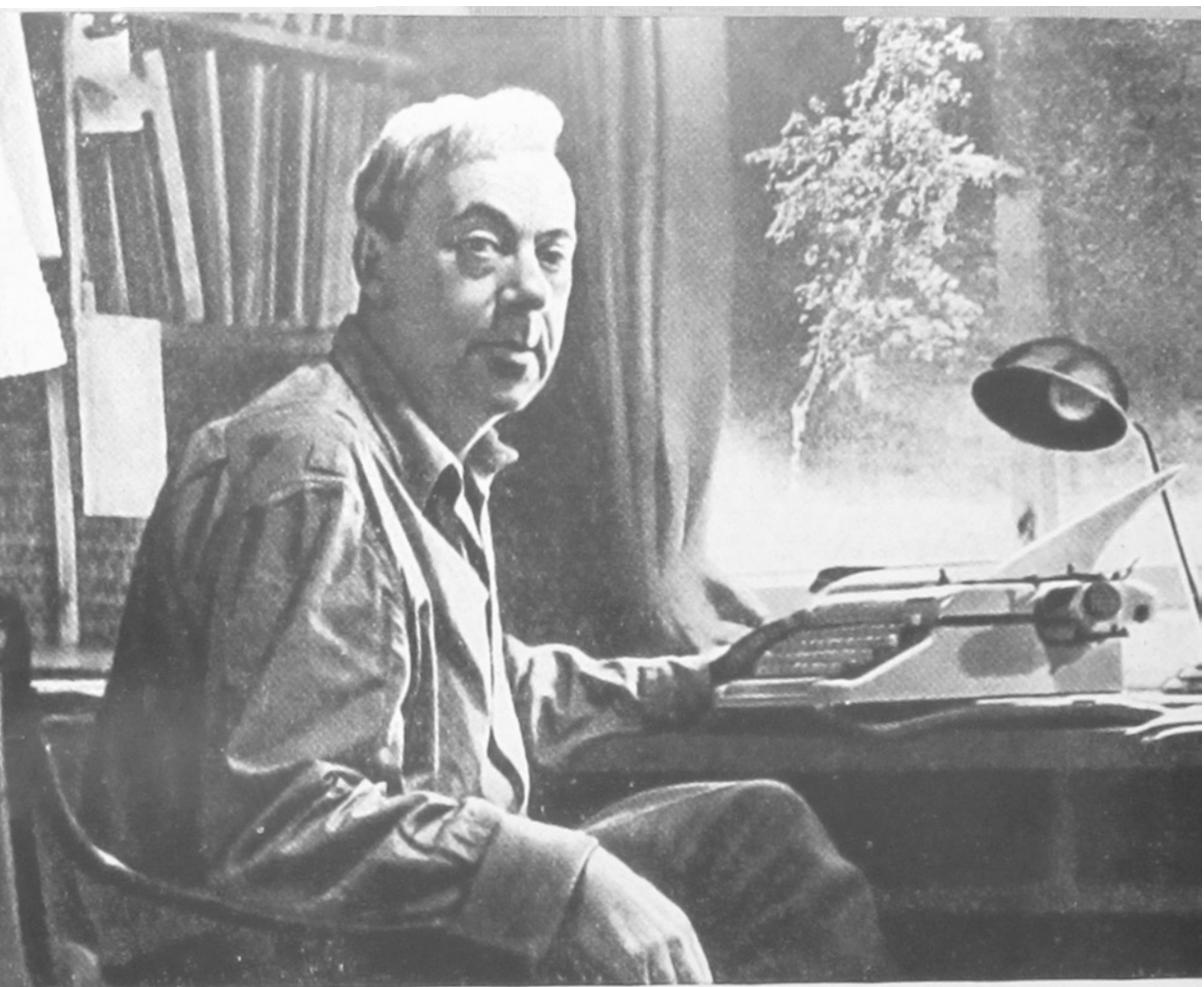
ОПЕРАЦИЯ

”С НОВЫМ  
ГОДОМ!”

ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ • Москва • 1964

P2

Г38





## ОТ АВТОРА ОБ ЭТОЙ КНИЖКЕ И О СЕБЕ

**Ч**етырех лет от роду я попал на войну. Отец был офицером, мать пошла за ним сестрой милосердия. В артиллерийском дивизионе — среди солдат, пушек, коней — прошло мое детство. И в полевом госпитале — у матери. В знаменитой переправе через реку Сбруч мы двое — я и отцов жеребец «Голубок» — чудом остались живы. Впоследствии отца выбрали командиром этого же дивизиона, и стал он красным военспецом, его пушки били по петлюровцам и галичанам, по белополякам и бандитам небезызвестной «Маруьски», которую так точно описал А. Н. Толстой.

После окончания гражданской войны отец стал фининспектором, работал в Обояни, во Льгове, в Дмитриеве, в Курске. Я учился, ставил спектакли, за недостатком репертуара сам сочинял пьесы. От смущения выдавал я эти пьесы за «переписанные» и выдумывал фамилии авторов.

В семнадцать лет написал я бойко и плохо толстый роман под названием «Рафаэль из парикмахерской». Речь в нем шла о том, что я хорошо знал, — о маленьком городке в период нэпа, о комсомольцах той поры, о горячих и чистых сердцах. Роман этот, к сожалению, напечатали. О второй моей книге, «Вступление», написанной в Ленинграде, с похвалой отозвался А. М. Горький. Этот роман дал мне возможность узнать Горького, который впоследствии посоветовал написать книжку о Ф. Э. Дзержинском.

В эти же годы попытался я работать в кино, вместе с С. А. Герасимовым написали мы сценарий фильма «Семеро смелых». Потом изданы были «Бедный Генрих» (книгу эту сжег Гитлер, а мне обещал повешение), «Наши знакомые», «Лапшин и Жмакин», «Рассказы о Пирогове».

В войну с белофиннами был я военным корреспондентом ТАСС, в Великую Отечественную служил в Совинформбюро и на Северном флоте. Годы войны свели меня со многими замечательными людьми, которые впоследствии стали героями исторического романа «Россия молодая» (я перенес характеры своих современников — знаменитых ледовых капитанов-поморов — таких, как Ворнин и Котцов, в далекую эпоху) и современных моих книг — «Подполковник медицинской службы», «Дело, которому ты служишь», «Дорогой мой человек», «Я отвечаю за все». Именно эти годы свели меня с Владимиром Афанасьевичем Устименко, образ которого мне бесконечно дорог, как образ «делателя и созидателя», как «центральный характер» моего современника.

Огромная тема, связанная с именем Дзержинского, дала мне возможность при помощи А. М. Горького познакомиться со многими соратниками Феликса Эдмундовича, погибшими впоследствии в период культа личности Сталина. Долгом своим перед светлой памятью этих чистых и бесстрашных выучеников рыцаря революции Дзержинского я представляю книгу о таких людях. В заключительной части моей трилогии, в книге «Я отвечаю за все», есть и такой герой — Штуб.

Кроме кинематографа, в котором как сценарист я имел отношение к фильмам — «Доктор Калюжный», «Пирогов», «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «День счастья», занимает меня и жанр документальной прозы, рассказы о живых моих современниках, о воинах самых разных профессий — от чекиста Пяткина и «сыщика» Бодунова до врачей Долецкого, Баирова, Стучинского и людей многих других профессий, но непременно бойцов.

Закончив трилогию, предполагаю написать повесть о скорой помощи. Называться она будет цифрами телефонного вызова: «03».

Больше всего на свете неприятны моему современнику характеры вялые, пассивные, те люди, по глазам которых видно, что их «хата с краю». Никогда такие люди не были интересны моим современникам, никогда их судьбы нас не занимали, никогда не казалось нам, что тот организм, который не без удовольствия рекомендует себя в нашу эпоху «маленьким человеком», достоин пристального внимания. Нет и не может быть в нашей стране «маленьких людей» — так считает мой современник. Делом, творимым на земле, определяем мы качество человека, а не должностью его. И министр и доярка в равной степени достойны уважения за то, как они работают на благо общества. А тот, кто этого не понимает... Ну что же... Прекрасно обо всех таких сказал замечательный поэт Н. А. Заболоцкий:

Не дорогой ты шел, а обочиной,  
Не нашел ты пути своего,  
Осторожный, всю жизнь озабоченный,  
Неизвестно, во имя чего!

Эту книгу я написал о людях, о моих современниках, служивших своему делу неизмеримо больше, чем себе самим, чем своему достатку, своему личному удобству, своим радостям. Здесь рассказано о самых разных людях — от чекиста Пяткина и «сыщика» Бодунова до замечательного театрального режиссера Вс. Мейерхольда и великого писателя А. М. Горького, от сельского врача Н. Е. Слупского до лейтенанта Саши Лазарева. Это разные люди, знаменитые и неизвестные, великие и просто «безыменные», но все они люди, борцы, воины, все они люди «переднего края», жившие и ныне живущие во имя самой высокой и прекрасной из всех человеческих идей — во имя идеи коммунизма.

Я счастлив, что знал и знаю очень многих людей, подобных тем, о которых рассказано в этой книге. Многие из этой категории людей отличаются необыкновенной скромностью. Георгий Иванович Пяткин, которому, например, посвящена повесть «Операция

«С Новым годом!», больше всего опасался выглядеть героем, когда читал страницы о себе. «Я же как все!» — любит говорить он и по нынешний день.

Иван Васильевич Бодунов, прочитав про себя, сказал: «А ты мою личность не преувеличил? По памяти, был я нормальный сыщик и даже ошибался не раз!»

Покойный ныне замечательный доктор Н. Е. Слупский, ознакомившись с повествованием, посвященным его жизни, лишь вздохнул: «Получилось — недаром живу, но не того... не слишком, а?»

А Всеволод Эмильевич Мейерхольд, когда я в давние времена посулил, что напишу про него, сказал сердито: «Что напишешь? Что всю жизнь искал, потом отменял, потом казалось ему, что находил, потом опять оставался погорельцем? Так?»

Очень много замечательнейших людей живут и работают бок о бок с нами. Не видеть этих делателей жизни невозможно. Описывать хорошо знакомых и даже друзей очень трудно. Пусть простит автора друг читатель за несовершенную эту попытку написать не просто портреты живых и живших, но портреты в действии, вернее, попытку написать людей в ДЕЙСТВИИ. И за все те неудачи, которые несомненно сопутствуют такой работе.

*Юрий Герман*

**ОПЕРАЦИЯ  
«С НОВЫМ  
ГОДОМ!»**

●  
**Документальная  
повесть**

●  
**Чекисту  
Георгию  
Ивановичу  
ПЯТКИНУ  
посвящается**

**Умереть — так  
только за Отчизну.  
Жить — так только  
Родиной дыша.**

*Муса Джалиль*



В материалах дела нет данных о том, были ли отмечены по достоинству отважные партизаны Кузнецов В. Г., Мишенский А., Тарасов, их умелый и твердый руководитель Пяткин Г. И., скромные патриотки-разведчицы Евдокимова, Смелова, Орлова и Г., чьи настоящие имена не установлены, наконец, Лазарев Александр Иванович, который вложил всю свою душу, полную любви к Родине, при выполнении ответственного задания и погиб впоследствии, совершая с группой отважных диверсию в тылу противника на железной дороге Псков — Карамышево.

*Из официального документа*

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

**И**оганн Готлиб Бингоф в начале собеседования соображал туго, даже имя свое вспомнил не без труда. Впрочем, ранен он не был, и партизанский доктор Знаменский даже самой легкой контузии в нем не приметил, а только лишь с точки зрения науки объяснил, что это у фрица такая травма — по случаю непредвиденного и неожиданного попадания в плен к партизанам. А если сказать проще, то очень немец науган, думает, что сейчас же его и расстреляют.

— Инга, переведи ему, — велел старший лейтенант Локотков своей сердитой и измученной долгим боем переводчице Шаниной, — переведи про нашу гуманность в отношении военнопленных...

Шанина сказала как положено, но таким тоном, что худо соображавший фельдфебель совсем прокис и стал лопотать какой-то вздор, прося снисхождения к своим малолетним детям, которым грозит горькое сиротство.

— Про что он? — спросил Локотков.

Инга разъяснила кратко.

— Хорошо упитанный,— со вздохом отметил Локотков.— И в ранце у него — ты обратила внимание, Шанина? — сало копченое, шнапс, курочка поджаренная, огурчики в бумажке. Аккуратный народ.

Бингоф действительно был хорошо упитанный немец, в сорок втором летом таких еще сохранилось большинство. И выглядел он, что называется, «справным» солдатом: сапоги начищены до зеркального блеска, мундирчик подогнан по фигуре, вся прочая амуниция — с иголки. Такому бы орать «зиг хайль» и палить из автомата в белый свет, а он вот оказался в плену и плачет жалостно, растирая слезы по жирным веснушчатым щекам.

— Ладно,— сказал Иван Егорович,— надоело. Переведи ему, Шанина, что или по делу говорить будем, или гуманность нашу на после победы оставим. Да переведи с выражением, а то ты словно стоя спишь.

Инга скрутила себе козью ножку, заправила ее страшным черным табачищем, выпустила из маленьких ноздрей курносого розового носика два султана кислого дыма и заговорила на своем прекрасном, классическом немецком языке. Ее речь была длинной и страшной, такой длинной и страшной, что немец успел вначале испугаться почти что до полной потери сознания, но потом совершенно пришел в себя и с предельной ясностью понял, что его жизнь зависит только от него самого и от его полезности этим двум людям — девчонке с насупленным лобиком и русскому Ивану, который смотрел в разбитое окошко полусторевшей избы на свои русские необозримые поля и леса.

— О да! — воскликнул он патетически, еще не дослушав Ингу.— Да, я буду говорить все, я много знаю, я имею различные важные сведения...

На околице деревни, которую нынче взяли партизаны, ударили пулеметные очереди, Иоганн Готлиб Бингоф на мгновение оживился, но тут же сообразил, что такое осво-

бождение из плена случается только в кино, и заторопился предстать перед своими собеседниками столь им полезным, чтобы они, если станут уходить под натиском превосходящих сил противника, не расстреляли его, а увели живого и здорового с собой для их военной пользы и для его жизненного спасения хоть на Урал, хоть в Сибирь.

Пулеметы трещать перестали, Инга докурила свою козью ножку, а Локотков вынул карандаш и немецкий трофейный календарь и стал записывать то, что рассказывал бывший фельдфебель имперской армии Иоганн Готлиб Бингоф, в прошлом инструктор подрывного дела в разведывательно-диверсионных школах.

В этот прохладный сентябрьский день сорок второго года начальник особого отдела партизанской бригады Локотков впервые узнал о немецких шпионских школах, размещенных в Ракверди, в Ассори, в Печках неподалеку от Псковского озера, услышал имена их начальников и заместителей начальников, узнал имя своего прямого противника — майор Краусс, узнал, что диверсанты и разведчики забрасываются в Красную Армию из Пскова непременно через разведшколу за номером 104, и понял, что именно начальники разведывательно-диверсионных заведений знают то, что желает знать он, старший лейтенант Локотков, и что хорошо бы вдруг совершить невиданно дерзкую, неслыханную операцию: украсть такого начальничка и доставить в Москву.

От самой мысли о покраже крупного и много знающего эсэсовца Локоткову стало жарко, он даже обругал себя за подобные нелепые мечтания, но, несмотря на всю, казалось бы, нелепость мечтаний этого порядка, Иван Егорович не нашел в себе сил вовсе избавиться от них ни сегодня, ни завтра, ни еще через изрядное количество времени, беседуя с действительно много знающим фельдфебелем и записывая его показания.

Иоганн Готлиб Бингоф в лесном партизанском лагере довольно быстро обучился обиходным словам, вроде «Гитлер — капут», чем завоевывал дивно отходчивые русские сердца, а когда партизаны били для пропитания скотину, учил их делать кровяную колбасу — работал он когда-то поваром, а кроме того, умел стричь, даже очень проржавевшими ножницами, чем тоже снискал некоторую популярность среди партизанской молодежи, еще думающей о своей наружности. Впрочем, свободного времени у ражего фрица было немного, потому что Иван Егорович с ним занимался очень подолгу, иногда часов по десять, изучая, конечно, не зауряднейшую личность Иоганна Готлиба, а его бывшую профессию, от которой тот был отстранен за склонность к выпивке и болтовне и за «общительность» нрава — короче говоря, за свойства натуры, несовместимые с преподаванием в заведениях, подобных разведывательно-диверсионным школам.

Самолета с Большой земли долго не было, бригада засела в лесу, среди болот, лили проливные, ровные дожди, воевать партизаны уходили далеко от своей главной базы, и случилось так, что Иван Егорович более трех месяцев подробно занимался с бывшим фельдфебелем всеми подробностями жизни, учебы и даже нравов фашистских разведывательных школ. Теперь, глубокой осенью, он на память знал имена преподавателей, дисциплины, систему занятий, паек и прочие мелочи, а также знал и вовсе не мелочи, знал планы помещений, знал, где кто живет на территориях разведывательно-диверсионных школ, знал пьющих и непьющих начальников и заместителей, знал и не мог, разумеется, удерживать свои мысли только на том, что его знания пригодятся со временем высокому начальству, его же дело петушиное: прокукарекал, а там хоть и не рассветай...

Днями он беседовал, а ночами обдумывал, прикладывал и даже схемочки вычерчивал, тут же, конечно, их сжигая на огне и ругая свои мальчишества с заклятиями больше пустяками не заниматься. Но наступало серое, болотное утро, он вызывал сердитую Ингу и вновь занимался с фельдфебелем, выверяя вчерашние и давешние данные и удивляясь точности фельдфебельской памяти...

И чем дальше шло время к началу сорок третьего года, тем точнее вырисовывался Локоткову его опасный, простой и в то же время такой невероятно сложный план. И тем больше он уставал от вариантов своего плана и от того, что привык рассчитывать так, чтобы по «силе возможности» не терять ни единого человека, каким бы выгодным ни представлялась ему его выдумка...

А когда немца наконец переправили на Большую землю, Иван Егорович был весь во власти своей идеи и даже с Иоганном Готлибом попрощался хоть и не слишком изысканно, но, во всяком случае, так, что бывший фельдфебель воскликнул даже с яростью в голосе:

— Русс Иван — карашо, Гитлер — капут!

Самолет взревел и ушел в раскисшие небесные хляби, а Локотков отправился в своем постоянном штатском обличье по деревушкам поразведать новости и направить кое-кого в те районы, которые так его теперь интересовали: в Ассори, в Печки. Было все это и трудно и хлопотно, и главное — никто этой работы с Локоткова не спрашивал и никаких таких заданий он, разумеется, не получал, но таков уж у него был характер: даже в те молодые годы делать не то, что спрашивают, а что сердце и ум велют. И делать, несмотря ни на какие личные затруднения.

Ходить хоть и в штатской одежде и с прилично сфабрикованным «аусвайсом» — паспортом — было занятием не только не сладким, но и ежесекундно до крайности опас-

ным. Тем не менее Иван Егорович ходил, и не только ради дела, но еще и потому, что народ на временно оккупированных территориях должен был всегда знать, что территория оккупирована временно, что здесь, как и на всей советской земле, свои люди не перевелись, а воюют, хоть до времени и аккуратно, что, вопреки горлопанам из гитлеровской РОА и вопреки немецким агитаторам-брехунам, партизаны не только не уничтожены, но набирают силу и что надобно им помогать посильно и даже когда круто приходится: дело такое — война!

Был в ту пору Локотков похож своим обличем на молодого учителя, или агронома, или зоотехника. Таким он и навещал своих людей — спокойным, неторопливым, солидным, немножко даже не по летам. Умел присмотреться, умел в излишнем славословии угадать предательство, в угрюмом человеке умел увидеть своего, в преданном бодрячке разгадывал слабого двоедушника. Так понемножку сколачивались у него свои кадры, так узнавал он тех, кто поможет в горькую минуту, а кто лишь навстречу регулярным частям армии выйдет партизанским радетелем и помощником. Ни у кого он не оставался ночевать, чтобы в случае беды не подвести семейного человека, умел начать беседу издали — с погоды, с земли, с увиденной оккупантами коровы, умел невзначай, даже у самого робкого, выведать о проехавших давеча ночью фрицах — на «даймлерах» они ехали или нет, был с ними штабной автобус или не был, проходили тут на прошлой неделе прожектористы или обходом проехали через Лужки.

Давно известно, чем люди оказываются во время испуга, тем они в действительности и есть. Старший лейтенант госбезопасности Локотков «во время испуга» несколько не менялся и бывал таким же, как, например, бресь, то есть серьезным, внимательным и сосредоточенным, но ни в малой мере не суетливым, чтобы, фигурально выражаясь, не порезаться.

К любым опасностям и шуточкам войны Иван Егорович в описываемое нами время приобвык, к неожиданным бедам сурово притерпелся, как с подчиненными, так и с большим начальством умел быть ровно-спокойным и по всякому предмету, разумеется им изученному, имел свое твердое мнение, которое никак не следует смешивать с упрямством, крайне им презираемым.

О себе, или о своем авторитете, или о том, что данное мнение есть его личное мнение, Локотков никогда не размышлял, а думал лишь о деле, которое ему было поручено выполнять, в том смысле, чтобы дело это двигалось возможно более споро, толково, полезно и, главное, по-умному. Это последнее понятие — «по-умному» — старший лейтенант иногда растолковывал людям, связанным с ним военным трудом, желая вколотить и в слишком пылкие юные умы, и в слишком остуженные годами головы свой трезвый и добрый расчет, свою уверенность в силе духа человека, свое презрение ко всякой мельтешне, к лишним словам и к декламации, к которой многие, как известно, с малолетства привержены. Будучи человеком дела, Локотков вообще какую бы то ни было патетику, цветастые словоизвержения, заклятия и восклицания совершенно не переносил, исполняя свою должность, был прост, доступен, таинственного, «оперативного» лица не делал и подчиненным своим это делать запрещал, но и болтать о своих оперативных делах, как и о делах своей опергруппы, не считал возможным, до такой степени, что некоторые новички в партизанской бригаде не знали, чем именно занимается Иван Егорович, считая его штабным работником, из таких, на которых вполне можно положиться в бою и под командованием которого можно отправиться на выполнение самого дерзкого задания. «Нахального» задания, как выражались в бригаде.

Дерзок же был Локотков невероятно.

Издавна служившие с ним помнили, например, такой случай: в партизанском полку (тогда бригады еще не существовало, а был лишь полк) накопилось много раненых, а врача достать никак не удавалось, и медикаментов не было решительно никаких.

Тогда Локотков «уворовал» в Порхове доктора.

У доктора были в заведывании и медикаменты, так необходимые партизанам, и инструменты, и перевязочные материалы, но уйти в лес он не решался, опасаясь за участь жены и малолетних, тяжело болеющих ребятишек. Забрать всю свою фамилию в полк он не мог, а оставить фашистам — значит обречь семейство на страшную казнь.

Иван Егорович, напевая и насвистывая, много часов подряд раздумывал, потом беседовал со связными и вообще знающими псковскую обстановку, затем вычерчивая схемочки и планчики, тут же, как обычно, их сжигая, а погода принял решение, которое и осуществил в ближайшие сутки. Отыскав ужасно изуродованный труп (в ту пору отыскать такое тело не представляло особых трудностей), Локотков снабдил мертвеца подлинными документами доктора Павла Петровича Знаменского, передел мертвеца в пиджак и сапоги доктора, нагрузил две подводы медицинским хозяйством, велел Павлу Петровичу «не робеть» и увез его в свой партизанский госпиталь. Супруга Знаменская с трудом, но исправно порыдала над чужим покойником, расстрелянным немцами и немцами же с воинскими почестями похороненным, выслушала фашистские соболезнования и в бедном трауре вернулась к исполнению служебных обязанностей. Зоя Степановна была медицинской сестрой и в дальнейшем регулярно снабжала госпиталь своего покойного мужа немецкими лекарствами и перевязочными материалами. С доктором же Иван Егорович очень подружился и на досуге любил с ним побеседовать о том недалеком будущем, когда изобретут машинку, заме-

няющую сердце, или аппарат, заменяющий голову с мозгами. Доктор был в этих вопросах изрядный оптимист и утверждал, что не пройдет и трех столетий, как человечество достигнет практического бессмертия. Иван же Егорович качал головой и говорил, что триста лет — «срок-таки порядочный и хорошо бы маленько поднажать ученым»...

Другая дерзость Локоткова произошла так: на дневке в одном сельце Псковской области, оккупированной немцами, Иван Егорович по-доброму договорился со старостой, что тот будет с нынешнего дня работать на партизан. Староста всеми клятвами поклялся, все слова сказал — и нужные и лишние, и поплакал умиленно, и даже руку Локоткову хотел облобызывать, но все же успел посчитать партизанские сани, коней, пулеметы, автоматы, как говорится «живую силу и технику», и с грамотным реестром за пазухой, верхом, задами поскакал в немецкую комендатуру, но на пути локотковскими хлопцами был перехвачен и лично Иваном Егоровичем при двух заседателях судим по законам военного времени. Староста что-то визжал и брыкался, но реестр был реестром, адрес на пакете адресом, никаких сомнений не оставляющим, и старосту казнили через повешение на телеграфном столбе на развилке зимней дороги. Была прибита под повешенным и фанерка с объяснением причины казни, были заложены в снег и четыре мины, чтобы любопытные фрицы подорвались, когда станут покойника, дорогого их сердцам, снимать со столба. Фрицы не заставили себя долго ждать, все пассажиры легкового «оппеля» взорвались на минах, а шофера дострелили. Затем Иван Егорович заминировал мертвых офицеров тоже, а шофера отдельно и легковушку отдельно. Еще подождали партизаны в лесу с полсуток, и опять были взрывы в большом количестве, и было взято немало вооружения и боеприпасов, но тут уже пришлось уходить, потому что фрицы двинулись к развилке всею «громадою»,

как выразился разведчик Саня: пошел на Локоткова «аж гарнизон с бронетранспортерами».

Были и еще многие легендарные случаи, иногда дополняемые пылким воображением партизанской молодежи, иногда рассказываемые в баснословном, былинном варианте, но ведь всем ведомо, что «преувеличивают» лишь любимых и особо почитаемых начальников, в то время как о середняках и дуболомах предпочитают помалкивать, и уж никогда и нигде их никто не нахваливает. Как говорится, себе дороже, да особливо в условиях партизанской войны.

По своей же контрразведывательной, чекистской специальности Иван Егорович был много знающим и думающим офицером, всегда полным отважных и в то же время точно рассчитанных замыслов, и именно поэтому замыслов, выполняемых с наименьшим количеством потерь.

Тут надо отметить еще и поразительный, смекалистый, хваткий и емкий ум Ивана Егоровича, его наблюдательность и спокойную аккуратность, граничащую с педантизмом, в подготовках и разработках операций. Даже во время этой кровавой войны, где случались и крупные военачальники, которые на потери не слишком обращали внимание, молчаливый Локотков не одну свою операцию выигрывал *совершенно* без единой потери, утверждая, что если «поумному» и «горячку не пороть», если врага изучить «*со всей возможной и даже невозможной*» глубиной и основательностью, то от этого можно иметь большие выгоды своему войску.

«Не пороть горячку» — лозунг, провозглашенный Локотковым, — не всем нравился: были, разумеется, скорохваты-рубачи, но и их Иван Егорович упрямо и неуклонно сворачивал на свои позиции, потому что все всегда видели своими глазами его успешную и толковую деятельность. Все, кроме отдельных прилетающих к партизанам на са-

молетах начальников, для которых самый факт их пребывания на партизанской земле, в фашистском тылу казался выдающимся и достойным специального о них повествования, быть может и не в прозе, а в возвышенных стихах. Некоторые из этих прилетающих, случалось, и покрикивали даже на Ивана Егоровича, который, надо отметить, и крика начальственного не пугался, а продолжал настаивать на своей линии, линии в ту пору не только не модной, но даже и вовсе невозможной, поскольку некоторые прилетающие склонны были подозревать все и всех вокруг себя в изменнических, подлых и коварных замыслах.

Локотков же прежде всего верил в суть советского человека даже тогда, когда этот человек и ругался солеными словами на немецкую силу, или на то, что который день нет табаку, или на глупость аж самого взводного.

Были, разумеется, случаи, что и Иван Егорович расширялся, но этих случаев было до того ничтожно мало, что они ни в малой мере не распатали его твердую и спокойную веру в то, что его товарищи по оружию — великолепный народ и что с этими товарищами нельзя быть ни подозрительным, ни угрюмо настороженным, нельзя поминутно всех проверять-перепроверять и что слово «товарищ» есть не только привычная форма обращения, но еще и слово, полное прекрасного смысла и высокого значения.

Поэтому партизаны за глаза называли Локоткова «друг-товарищ»: это было его излюбленной формой обращения.

— Ты вот что, друг-товарищ, — говаривал он, — ты подбери себе еще двух друзей-товарищей...

Командный состав бригады уважал Локоткова и доверял ему абсолютно. Дело тут было простое: разведанные, предоставляемые Иваном Егоровичем, всегда были абсолютно достоверны, что на войне, как известно, имеет решающее значение. Легкомыслие здесь совершенно нетерпимо, более того — преступлению подобно, и Локотков это

отлично понимал, испытав буквально на себе самом в первые месяцы войны результаты угодливо-несерьезного отношения к великому и требующему ума и наблюдательности, точности и памяти делу разведывания сил противника.

Так вот, на данные Локоткова всегда можно было совершенно положиться. Он или говорил: «Не знаю, друзья-товарищи, ничего не знаю», или знал доподлинно, подробно, педантично, знал, где станковый пулемет, а где минометы, знал, какой дорогой могут прийти другие фрицы на выручку и какой можно уйти, знал, где их обер-лейтенант ночует и откуда карателям с эмблемой «ЕК» повезут горячую пищу.

— Откуда? — в изумлении спрашивали иные командиры из зеленых юношей. — Откуда ты эти подробности изучил? Поделись опытом, Иван Егорович?

— А люди сказали, — отвечал, посмеиваясь и показывая белые, блестящие зубы, Локотков. — Люди, народ. Мне все наши советские люди всегда говорят, секрета нет. Тут уметь только одно надо: вопрос задать.

Отправившись в это свое путешествие по «своим людям», или в «вояж», как называла отлучки начальника профессорская дочка Инга-насмешница и будущая специалистка по творчеству Гейне, Иван Егорович уже к первопутку навестил одного своего хитрого дружка — Артемия Григорьевича Недоедова, в прошлом лютого врага разрушителей и реконструкторов древнего города Пскова. Наборщик в молодости, метранпаж к старости, он всю душу свою вложил в борьбу с теми, кто пытался изменить облик любимого им до бешеной страсти города, был даже накануне ареста за крутое высказывание насчет разрушения памятников прошлого, но Локоткову удалось старика отстоять, они лишь побеседовали в ту пору «по-умному», и хитрый Недоедов, конечно, догадался, «что к чему и от-

чего почему», как любил он выражаться. Сейчас он уже более полугода жил у дочки с мужем в деревеньке Дворищи — не мог видеть руины своего Пскова. Дочка когда-то была бухгалтером в совхозе, муж ее, Николай Николаевич, ветврачом. Нынче все семейство было связано с Локотковым, все работали на партизан и в то же время сердились на Ивана Егоровича за то, что он не дает им передохнуть и, главное, гоняет старика, который со своей крикливостью может пропасть ни за грош. И в это утро Локоткова встретили не слишком приветливо.

— Пришел! — сказал ему Артемий Григорьевич. — Все ходишь! Вот выдам тебя фрицам, они меня озолотят: чекиста заполучить, а? Корову подарят, лесу на новую избу, в Берлин свозят на фюрера поглядеть.

Нина взбодрила потухший было самовар, Николай Николаевич сказал, сдвигая брови:

— Мы папашу больше не пустим, как хотите, Иван Егорович. Они человек пожилой, заорет неподходящие слова — и крышка.

Локотков промолчал. Он знал: им нужно сначала выговориться, так бывало не раз.

— Ходят-бродят, — принимая от дочки стакан с морковным чаем, сказал старик. — Сейчас сделает предложение: поезжайте, друг-товарищ, в город Ригу. Или в Мюнхен.

Нина поставила на стол чугунок с картошками и простоквашу.

— А блинцов испечь не можешь? — осведомился Недоедов. — Сами ели, а гостю картошки? Это по-русски? Или от фрицев выучилась?

И он вновь накинулся на Локоткова:

— Разведчик должен образование иметь. Специальное. А я кто? Какие листы в какие учебники набирал — и то не помню. Из энциклопедии отдел на букву «Ц» набирал, и то частично. Мое образование разрозненное. Понимаешь

ты это, человек божий, обшитый кожей? В прошлый раз пристал: какие были пушки? А вы меня пушкам учили? Пушка и пушка, а при ней фрицы в железных касках, так ему мало, ему дай полные факты.

Иван Егорович из деликатности блинцов есть не стал, хоть очень мучился отведать, поел с чаем лишь картошек. Когда семейство совсем выдохлось, Иван Егорович поднялся прощаться.

— Да ты что, смеешься? — уже даже захрипел Недоедов. — Ты что, в гости почаипить из лесу ходишь? Ты говори дело, ты намекай, зачем башкой рискуешь.

Но Локотков настаивал на своем: зачем досаждать, когда люди так переутомились и напуганы до последнего предела. Тут работа добровольная, не по принуждению.

И он сказал, уже стоя, что надо наведаться в Печки, есть такое место недалеко от Псковского озера, просто наведаться, посмотреть, какое оно из себя, это село, какие там части расквартированы, и не по номерам, а просто густо ли насыщено фашистами или не слишком, но раз так вышло, то он не в претензии, каждый делает что может.

Николай Николаевич сказал сердито:

— Это вы бросьте. Я же не про нас с супругой, я про папашу. Они действительно престарелые...

— Это ты брось, — крикнул на заты старик. — Я с виду старичок безобидный, ко мне никто не придерется. И за меня не разговаривай, я сам говорить наученный. Поеду как из Пскова мешочник, вот и все. Печки мне известные, там вполне можно менку сделать, там вблизи даже кулачье корни пустило, они вещи обожают. Золотишка бы где взять?

К ночи, когда все было обговорено, первопуток растаял, небо сделалось черное, осеннее. Идти до хутора было далеко — километров шесть, и Локотков пожалел, что не остался. У крайней, едва освещенной избы на Локоткова

почти навалился огромный полицай, спросил аусвайс, кто таков, откуда припожаловал, где изволил в Дворищах время проводить. Недоедовых Иван Егорович, разумеется, не назвал, полицай наваливался все ближе, всматривался. Огромная, пьяная, белая его морда была совсем близко, когда Локотков выстрелил ему в грудь, вплотную прижав ствол к ватнику. Полицай повалился, выстрел почти не был слышен в глухом шуме дождя.

Ночевал Локотков в лесу, в сырости и в слякоти. И почему-то сквозь тяжелый, беспокойный сон вспоминались ему строчки:

Как дело измены, как совесть тирана,  
Осенняя почка темна...

Впрочем, он почти глаз не сомкнул в эту длинную ночь. Так, проваливался на мгновения и вновь вслушивался тревожно в таинственную жизнь осеннего леса, густого осинника и вспоминал почему-то, вспоминал самое трудное и горькое в своей жизни, как, например, перед вылетом на выполнение первого задания просидел он более полусуток в приемной своего наибольшего начальника. Тот был до того беспредельно занят, что адъютант даже не смел ему доложить о кротко дремлющем в уголке возле шкафа никому не известном Иване Егоровиче. Потом начальник прилег отдохнуть — «прижать ухо минуток на триста», по его выражению, Локотков все подремывал. Наконец про него вспомнили и его впустили. Начальник, поигрывая косматой бровью, из рассеянности или для соблюдения субординации не пригласив лейтенанта сесть, протянул ему через стол листовку, в которой геббельсовские сочинители сообщали о ликвидации всех разрозненных групп и группочек на территории Псковской области. И еще про то, что некоторые сдавались сами со знаменами, оркестрами и командирами.

— Побрехушки,— спокойно сказал Локотков и вернул своему наибольшему геббельсовское изделие.

Начальство еще поиграло массивной бровью. Игра эта означала его полнейшую осведомленность. А также и то, что он хоть и знает, но не скажет.

— А не влопаешься в ловушку?

— Мне в ловушку никак нельзя,— со вздохом произнес Иван Егорович.— Я чекист и предпочитаю в свои ловушки фашистов заманивать...

Закурив «Северную Пальмиру», начальство проинструктировало Ивана Егоровича в том смысле, как Локоткову следует выстрелить себе в висок, если все-таки он «влопается». И это поучение старший лейтенант выслушал молча. И ушел после слов насчет того, что «может быть свободным». Впрочем, начальство за эту фразу он не осудил: тот ведь уже говорил по телефону и, при высокой своей ответственности, не обязан был находить подходящие формулировки для каждого старшего лейтенанта. А может быть, такая манера провозжать на задание соответствовала авторитету наибольшего. Ведь не пожимать же руку всем многочисленным своим подчиненным, отправляющимся на задания, тут и рука не выдержит, кто же тогда станет подписывать важные бумаги?

На аэродром по тихому, сосредоточенному, хмурому Ленинграду Локотков ехал со своим дружкой и в некотором смысле учителем Михаилом Ивановичем. Старая «эмка» ползла медленно, мотор чихал и захлебывался, друзья разглядывали карту области — не своей, Псковской. Михаил Иванович рассуждал негромко, на языке, понятном только им двоим. Локотков слушал внимательно. Оба друга были людьми в высшей степени скромными, и потому в назначенном месте Иван Егорович получил продовольствие только лишь сухарями и сахаром: ни консервов, ни концентратов, ни сала ему не дали. Михаил Иванович

распалился на несправедливость, но ввиду того, что сказать, куда именно и зачем отправляется Локотков, не мог, то так и кончилось — сухарями и кульком рафинада.

— Ничего, были бы кости, а мясо нарастет! — утешился Локотков.

— Насчет костей у тебя хорошо, — поддержал Михаил Иванович. — Вернешься, я из них недодачу выбью, ты имей в виду!

Локотков улыбнулся:

— Как же, ты выбьешь!

На аэродроме, аккуратно пережевывая сухари, они в осторожных выражениях поговорили о том, что, когда человек отправляется на особое задание, его бы надо снабжать повнимательнее.

— Но с другой стороны, если вдуматься, — сказал Локотков, — то на войне все задания особые.

Михаил Иванович не согласился:

— Твое, Иван Егорович, среди особых особое. Твое задание — людей выводить, спасать. Там не десятки, там народу много, и одна у них надежда — на тебя. Ты в полной форме должен быть, там и топи, и фрицы поблизости, там тяжело, Иван Егорович...

— А есть где полегче? — со вздохом спросил Локотков. — Впрочем, наверное, есть. Но опять же, совесть...

И сконфузился, словно сказал что-то совсем излишнее.

— Неполодок тут еще хватает, — сказал Михаил Иванович и отказался от второго сухаря. — Девчонку тут одну недавно я отправлял, так потеряла она продовольствие. Хорошая девочка, идейная. Ждать отказалась. А представляешь — там, на временно оккупированной территории, из-за такой бюрократии что может сделаться? Какое горе?

Подошел пилот, спросил, небрежно козырнув:

— Кто идет в рейс?

— Вот он, — сказал про друга Михаил Иванович.

— Парашютным мастерством владеете?

— А ты мне, друг-товарищ, покажи, чего там дергать, — сказал, вставая, Локотков. Он еще дожевывал свой сухарь и хрупал сахаром. — Небось наука не такая уж мудрая.

Пилот показал, Иван Егорович понял. Под рев мотора Локотков обнялся с Михаилом Ивановичем. И те слова, которые должно было сказать наибольшее начальство, тут сказал Михаил Иванович:

— Надеемся на тебя, — закричал в ухо Локоткову Михаил Иванович, — давай, Ваня, покажи на деле, что такое государственная безопасность.

Через пятьдесят пять минут лету Локотков осуществил свой первый, не по собственной воле затяжной прыжок: спервоначалу не за то потянул.

Но и здесь самообладание не оставило его, он разобрался, и когда очухался от непривычных ощущений парящей птицы, то сразу оказался в объятиях измученных лишениями окруженцев.

Посидели, поговорили, обсудили обстановку. А не более как через час колонна уже была на марше. Сильный и крепкий в кости, молчаливый и голодный, охотник и рыболов, знающий Псковщину, как свою комнату, Локотков вывел без потерь на соединение с Красной Армией эту группу и уже опытным парашютистом прыгнул в другую, потом в третью, коротко представляясь каждый раз старшему начальнику. И слова «государственная безопасность» в этих мокрых и холодных осенних лесах, в болотах и топях, среди замученных людей звучали совсем по-особому, звучали так, что этот костистый, с ввалившимися глазами солдат есть особый представитель, уполномоченный государством к тому, чтобы обезопасить воинов от нависшей над ними жестокой гибели.

Так, раз за разом спрыгивал к окруженцам старший лейтенант Локотков, а когда вывел всех, то доложил по начальству и на вопрос о том, кто там и как готовился к капитуляции, коротко ответил:

— Такие явления не наблюдал ни разу.

— Может, плохо наблюдали, оттого и такие явления «не наблюдали»?

И наибольший опять повел своей косматой бровью и выразил лицом привычное: «Я-то знаю, да не скажу!»

Иван Егорович смолчал.

Наибольший был и прыток, и дотошен.

— Ищущий обрящет! — любил говаривать он в ту пору, расхаживая по своему кабинету и вглядываясь в зеркального блеска носки собственных сапог. Твердо и неукоснительно верил этот ферт в то, что если только изменников тщательно искать, то они непременно отыщутся. И Локоткову он сказал, что-де «ищущий обрящет», ответное же его молчание принял как знак согласия, потому что какой же старший лейтенант посмеет иметь свое мнение, противное мнению главного начальника? А начальник еще походил и несколько раз выразил свои твердые взгляды на то, что все наши неуспехи на фронтах происходят исключительно по причинам ротозейства таких «рабочничков», как Локотков, которые не желают «профилактировать» язву предательства и измен. И привел некий авиационный пример, к которому Иван Егорович не имел ни самонаименованного отношения.

— При чем тут измена, когда у них бронеспинка? — возразил начальнику Локотков. — Наш в него бьет, попадает, а впечатления никакого.

— Вы так предполагаете? — спросил начальник, внезапно остановившись против старшего лейтенанта. — Или это геббельсовская брехня у вас на языке?

«Вот и все! — со скукой и томлением подумал Локотков. — Сейчас он меня навсегда приберет».

Но к счастью Локоткова, и на этот раз зазвонил самый главный телефон, по которому бровастый начальник докладывал почти всегда стоя, и Ивану Егоровичу махнули рукой, чтобы уходил.

С трудом ступая опухшими в болотах ногами по непривычному паркету, Локотков, разумеется, не замедлил уходом, думая о том, как бы сделать, чтобы более на глаза никому не попадаться, а то вдруг и посадит для ради страха божия, а потом и доказывай свою невиновность согласно господствующей юридической доктрине.

Однако же другое начальство, замещающее и заменяющее главное, беседу продолжило деловито:

— Пораженческие настроения примечали?

— В каком смысле?

— В интересующем нас. В смысле желания, чтобы нас фашисты разгромили! Вопрос ясен?

Этот уже разговаривал с Локотковым, как с заключенным под стражу.

— Нет, пораженческих настроений я ни разу, нигде не наблюдал.

— Значит, все хорошо и распрекрасно?

— Распрекрасного я тоже не замечал. Война она война и есть.

— Почему же, если у них все так хорошо и распрекрасно, — нисколько не слушая своего собеседника, спросил главнозамещающий, — почему же они тогда не прорвались от этого... от Пурска на Наволок?

— От Прудска? Да потому, что там сплошные болотца и это был бы не прорыв, а сплошное самоубийство.

— Вопрос такой, — сказал главнозамещающий...

Локотков сжал зубы. Он еще не ел и не пил в это злое утро, он не умылся толком и не побрился, он к врачу

не зашел ноги показать, а эти дуют в одну дуду: дай, что им надобно. Ох, наступит день, наступит еще день, когда отправится этот главнозамещающий разгружать, допустим, вагоны, мужчина здоровья отменного, там ему и место и кормление, а не здесь, где страшные вещи он творит одним только своим мировидением, одним только своим постоянным неверием и недоверием...

Впрочем, не только вопросы Локотков выслушал и на них посылно ответил. Он еще и напутственное слово должен был освоить насчет «всячески пресекать», «активно воздействовать», «не допускать», «разбираться в коварных методах», «одна ошибка обходится»...

От усталости и тянущей боли в ногах у Локоткова даже голова кружилась, но он ни на что не пожаловался, слушая главнозамещающего, а лишь со скукой думал: «Эк вы, ребята, здоровы болты болтать! Эк языки у вас подвешены! Скорее бы мне обратно в болота, там лишнего не болтают, там хоть и тяжело, да *надо*, а здесь и тяжело и *не надо!*»

И на этот раз Локотков в звании повышен не был и к ордену его представить забыли. Не с руки было. Забегая вперед, Впрочем, отметим, что, повстречав в конце войны одного полковника, которого Локотков выводил из окружения младшим лейтенантом, выслушал он удивленное соболезнование, что-де как же это так все Локотков в капитанах, и ответил с усмешкой:

— Локотков-то в капитанах, да наша артиллерия по Берлину бьет. Я на это вполне согласен.

— Напишу про тебя! — обещал полковник. — Главнокомандующему лично напишу. Вот возьму и напишу. Как ты нас в октябре вывел. Подробно опишу...

— А мне и в капитанах не дует, — со своей обычной усмешкой ответил Локотков. — Так что уж вы не трудитесь, товарищ полковник.

Нельзя, кстати, не сказать, что некоторые локотковские смертельные враги в пору деятельности Ивана Егоровича в партизанской бригаде полагали в нем «секретного генерала», который лишь из соображений конспирации скрывается в старших лейтенантах. Впрочем, прослышав об этих фашистских рассказах, а также о высокой цене, которая назначена псковским военным комендантом за его голову, Локотков произнес:

— А может, я и впрямь генерал. Кто его разберет? Только все-таки навряд ли. Но это хорошо, что фрицы так рассуждают. Потому если у нас *такие* лейтенанты, то *какие же* у нас генералы!

Вообще же со своим прямым партизанским начальством Локотков отлично ладил, что же касается до начальства специального, то здесь все получалось у Ивана Егоровича худо, чем и объяснимо то, что, по старинному и точному выражению, он и к старости себе теплого места не угрел. Тут надобно еще повторить, что свое мнение он не считал нужным от начальства уберечь, а так как все локотковские мысли держались на знании, а не на желании «видеть все в красивом свете», то есть в свете, желаемом начальству, то начальство и раздражалось на Локоткова, а иногда и до ярости доходило...

Но об этом еще рано.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

**В** вечер первого крутого разговора поначалу все шло хорошо, вежливо, мирно и, как положено в таких случаях, изрядно скучно. Прибывший с Большой земли к партизанам майор Петушков, естественным манером, поучал лесных людей уму-разуму, а лесные люди в

лице Ивана Егоровича и его ребят — общей численностью весь аппарат Локоткова состоял из шести человек — слушали. Слушали-слушали, и только лишь, когда ясноглазый майор, совершенно уверенный в ответе старшего лейтенанта, задал ему вопрос, согласен ли Локотков с его взглядом на вещи, вышла, что называется, некрасивая история.

— Вы не стесняйтесь, товарищ Локотков, — подбодрил скромнягу Ивана Егоровича майор. — Давайте обтолкуем это дело. Вопрос подвешен, теперь дело наше в наших руках.

Локотковские чекисты вежливо подремывали: уж больно долго Петушков объяснял им сущность мракобесов-фашистов. А ребята сегодня уже воевали, и по неосознанности их клонило ко сну.

— Может, отпустим мою контору, — сказал Локотков, жалея ребят.

От слова «контора» Петушкова слегка покорибило, но кивком головы он дал согласие, и землянка мигом очистилась. Теперь они остались вдвоем — прилетевший и воющий.

— Так как же моя идея? — спросил майор.

— Это насчет языка?

— Именно.

— Что языки, — вдруг усмехнулся Локотков, — языка перед боем брать уместно. А нам по мелочи работать ни к чему.

— Это как так по мелочи? — обиделся Петушков.

— А так, что именно по мелочи. Что язык знает? Людей за него наших побьют, а толку вовсе один вздор. Бывает, еще дурак попадетя, бывает, начинен дезинформацией. Язык — это случай, а нам случаев достаточно, нам крупные данные нужны, нам знающий много нужен. Вы, пожалуйста, товарищ майор, наши разведданные послушайте, не пожалеете...

И Иван Егорович заговорил, да как заговорил! С подробностями, с картой, с немецкими важными фамилиями, с чинами и званиями, с быстрыми и бурными карьерами. От этих локотковских знаний красивый и подтянутый майор Петушков даже затосковал и объявил весь доклад Локоткова фантазиями и пустяками.

— Зачем же пустяки, — без всякой принятой в обращении с начальством любезности произнес Иван Егорович, — я ведь не из пальца высосал, не из книжек вычитал. Мне мои верные советские люди рассказали, героические товарищи. Они для каждого этого малюсенького сведения шкурой рисковали, да потом я еще и перепроверял. Нет, товарищ майор, это не красивые бабушкины сказки, вы лучше себе мои сведения в самый секретный талмуд запишите. Мы ведь не даром среди фрицев похаживаем, мы любопытные ребята!.. Так как? Интересуетесь?

Петушков, подавив нервный зевок, сказал, что интересуется.

— Вот вам схема их разведывательного органа «Цепелин», — деловито начал Локотков. — Вот вам Балтийское море, от него и направимся танцевать. Вот эдак. Вот Псков. Отсюда, как видите, стрелы на Витебск, Могилев, Борисов. А вот деревня Печки — совсем недалеко. Главное же командование в Пскове, которое именовалось «Руссланд-Митте», нынче, днями, переименовано в «Руссланд-Норд». Почему я именно на Печках ваше внимание позволил себе остановить? Потому что именно сюда я нацелился...

Иногда Локотков позволял себе выражаться в высшей степени галантно.

— Так далеко языка брать?

— Это вы о языке говорили, а не я. Языкам в базарный день цена пятачок. У меня мысль иная. Вот я вам

подробно изложу про разведывательно-диверсионную школу в Печках, у нас данные богатые...

Петушков вздохнул и стал слушать.

А Иван Егорович заговорил о преподавателе Вафеншутле, о начальнике школы Хорвате, о его помощнике, изменнике Родины Лашкове-Гурьянове, о старом и глупом князе Голицыне, прибывшем в школу из Парижа, о других преподавателях — Гёссе, Штримутке, о принимающем проверочные испытания штурмбанфюрере СС Шлейфе, об инспекторе «Абвер-заграница» Розенкампе, который часто посещает разведывательно-диверсионные школы и проверяет там курсантов, подолгу с ними беседуя и вербуя свою агентуру...

— Целая научная диссертация, — с усмешкой перебил Петушков.

— Разведываем, что можем, — сказал Иван Егорович, — думаем, сгодится...

— А мы этого не знаем? — последовал неприязненный вопрос.

— Может, еще и не знаете, — спокойно сказал старший лейтенант. — Мой человек один, толковый, взошел там в доверие. Он сам из наборщиков, метранпаж, и немецкие литеры набирать может. Сильный работник...

— У вас тут все сильные, слабых нет, — опять перебил Петушков. — Но только это все сказки тысячи и одной ночи. Смешно даже слушать...

— А вы бы, товарищ майор, воздержались смеяться, — сурово ответил Иван Егорович. — Эти мои сведения дорогие, за них, может быть, кровью замечательных советских патриотов платить придется, если еще не уплачено...

Петушков заметно побледнел. Он всегда бледнел, когда злился.

— Я без ваших замечаний обойдусь, — довольно громко заметил он. — И сейчас и в будущем. Ясно вам?

Старший лейтенант ничего не ответил, лишь внимательно взглянул на Петушкова.

— Продолжайте! — распорядился тот.

По рассказу Локоткова можно было предположить, что он не только побывал в Вафеншуле, но и со всеми там вступил в личные отношения, не говоря уже о «Цепелине» и его руководителях, начиная со штурмбанфюрера Кукрек и кончая нынешним оберштурмбанфюрером СС доктором Грейфе. Знал Локотков и о зондеркомандах, и о ягдкомандах, иначе — истребительных командах, знал, что делается в деревнях Стремутка и Крышево, в Ассари и Лапемеже, в Лужках и Лиенае, в Валге и Раквере. И знал не приблизительно, а точно, словно бы подолгу там сам разведывал, занимаясь зафронтной, с глубоким проникновением в тылы деятельностью.

Что же касается до собственно Вафеншуле, то, по словам Ивана Егоровича, эта могучая и серьезно поставленная школа была создана разведцентром «Цепелин» в марте 1942 года сначала в местечке Яблонь, близ Люблина, в Польше, а затем передислоцирована сюда в «целях приближения к месту деятельности» и еще потому, что замок графа Замойского, в котором располагалась школа, приглянулся метрессе какого-то приближенного Гитлеру холуя. Теперь Вафеншуле специально обучает диверсиям и шпионажу русских военнопленных. Умиравших от истощения людей отбирали в диверсанты, суля им всякие блага и в случае отказа угрожая им близкой и медленной голодной смертью или газовыми камерами.

— Легенды, — сказал Петушков. — Даже странно, что вы этим басням верите. Любой изменник Родины эти жалостные песни поет, все они сволочи и подонки, которые на таких вот, как вы, либералов только и рассчитывают...

Локотков молча глядел на начальника, отхлебывающего из кружки крепко заваренный чай. В землянке было

жарко, Петушков раскраснелся, на красивом его лице проступил пот.

И Локотков опять, в который уже раз за эти месяцы, выслушал лекцию о пользе бдительности и о том, что ведет за собой потеря таковой. В качестве примера и для того, чтобы показать свою осведомленность, майор в заключение лекции привел довольно известный чекистам в ту пору случай задержания пятерки выброшенных немцами парашютистов, которые «якобы» явились с повинной и сдались леснику, который им «мудро» не поверил и препроводил по начальству, где наконец преступники поведали о своих истинных намерениях. Они будто бы хотели заручиться доверием советского командования и лишь тогда начать действовать в пользу своих фашистских хозяев.

— Вот оно как в жизни бывает, а не в сказках,— заключил майор.— Теперь понятно, товарищ Локотков?

— Не понятно,— ответил Иван Егорович.— Зачем же им было лесника искать и ему одному все свое радиооборудование и арсенал сдавать, когда он спал и никакой выброски не заметил? Вы меня извините, товарищ майор, но именно этот рассказец и есть чистые побрехушки. Я еще тогда подумал, надо было с этой группой на радиоигру выйти и принять хороший десант, а не судить их как поскорее. Осудить и потом можно, а пока война, нужно для ее пользы стараться.

— Да вы что? — совсем раздражился Петушков.

— А что? Не согласен, и все. По-глупому сделано.

И, словно с ним не проводилась никакая лекционно-воспитательная работа, осведомился:

— Разрешите продолжать докладывать?

Майор со скукой во взоре разрешил, а Локотков так подробно, будто он сам в Ваффеншule проходил курс диверсионных наук, стал повествовать о повседневной жизни и о порядках школы. По его словам, там обучалось от ста

пятидесяти до двухсот агентов военному делу, подрывным работам, массовым отравлениям источников, агентурной разведке, изготовлению документов, поведению в советском тылу и многим другим наукам, вплоть до особой, изготовленной в Берлине и Лейпциге русской литературы. Повествуя о жизни школы, Иван Егорович употреблял немецкие обиходные слова с такой привычкой, с какой привык спать в сапогах и при оружии, умываться снегом и по многу дней обходиться без горячего.

Петушков же невольно и очень сердито обижался этой бывалостью старшего лейтенанта и подпускал шпильки на тот счет, что не слишком ли точно все знает Локотков, не «подпутали ли его немцы на свою фашистскую легенду». Иван Егорович все шпильки пропускал мимо ушей и говорил лишь дело, потому что ради дела обижаться себе никогда ни на кого не позволял, такое уж у него было правило.

— Ну и что же, в конце концов? — громко рассердился Петушков. — Лекцию вашу я выслушал, а для чего?

— А для того, — спокойно ответил Локотков, — чтобы вам ясно стало: языки там ничего толком не знают, одни вздоры и то, что нами уже изучено. А если брать, то не меньше чем начальника школы майора СС Хорвата. Вот его нам и надобно похитить, пока немцы свою школу не эвакуировали туда, откуда Хорвата не достанешь.

Петушков утер обильный чайный пот и захлопал на Локоткова глазами.

— Вы это серьезно? — не тая сердитой усмешки, произнес он. — Начальника школы украсть? А Гитлера не хотите сюда в лес привести? Или Гимmlера? Или Геббельса? Да где это видано? Такую чушь даже пинкертонь в детективных книжках не учудили сочинить, а старший лейтенант Локотков берется за осуществление...

На все эти унижающие аргументы и насмешливые восклицания Локотков, словно бы задумавшись, молчал. И возразил только тогда, когда Петушков сказал, что он бы и на одном только украденном диверсante примирился и людей бы за такое дело представил к правительственной награде.

— Диверсant, как правило, товарищ майор, — сказал Локотков, — ни черта, кроме своих прямых заданий, не знает. Его от знаний там очень даже оберегают. А Хорват знает, куда, кого и с каким заданием забрасывают. И на какое оседание. Возможно, ведь и на длительное, на очень длительное. Эти, на длительное оседание заготовленные, — опаснейшие люди. Это палачи из их лагерей уничтожения, это те, которые тысячи людей ничем не повинных убили. Они таких убийц за прямым ремеслом даже фотографируют и фотографии у себя сохраняют в личных делах. И задание — сиди и молчи, пока хозяин не свистнет, сиди тихонечко, служи большевикам вовсю, внедряйся в самое наисекретное и никаких подозрительных знакомств не веди. Пролезай в партию, узнавай как можно больше и жди. Наступит час, и свистнет тебе твой хозяин. Если на свист не выйдешь, будут отданы твоей власти на тебя документы: кто ты, что ты, каким ты был, каким выглядел. А кто будет тогда тебе хозяином, дело наше. Знай свисток.

От непривычно длинной речи своей Иван Егорович даже разволновался. Теперь Петушков и то слушал его внимательно, нельзя было не слушать — так убежденно и сильно говорил этот партизанский чекист. И видно было — знает, о чем говорит...

— А начальник школы, думаете, в курсе этих вопросов? — осведомился наконец майор. — Ему знать положено?

— Которые на длительное оседание — отдельную подготовку проходят, — сказал Иван Егорович. — Не всю, но

полтора месяца особо секретно их обучают. И на них списки...

— Где именно списки?

— На самом верху, наверное, впоследствии тоже заводятся, а пока в школах. Но наверх нам не добраться, а если совладаем с таким делом, как, допустим, майора Хорвата украсть, не ради, конечно, его прекрасных глаз, а ради документации и расшифровки, тогда...

— Чепуха,— прервал Локоткова Петушков.— Впрочем, я наверху этот вопрос провентилирую. Вряд ли там на эту идею пойдут. Я бы не пошел.

— Как доложить,— пожал плечами Иван Егорович.— Можно все по-разному доложить...

— Вы такого мнения о нашем начальстве? — спросил майор.

— А разве я о начальстве сказал? Я о вас сказал,— невесело улыбнулся Иван Егорович.

Такой происходил между Петушковым и нашим героем разговор в мае сорок третьего года, в непогожий, сырой вечер, когда километрах в ста от расположения партизанской бригады начальник Ваффеншутле Хорват в присутствии своего помощника Лашкова-Гурьянова докладывал оберштурмбанфюреру СС доктору Грейфе некоторые служебные размышления и невеселые из них выводы.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

**С**транную и печальную картину являл собой старинный город Псков в ту пору, о которой идет наше повествование. Из шестидесяти двух тысяч бывшего населения немцы переписали лишь три с половиной тысячи народу. Евреев, ходивших до декабря сорок первого

года с желтой звездой, всех вывезли в лагерь уничтожения. Возле комендатуры пороли людей, провинившихся по самой малости. Город как бы совсем умер, и жила в нем лишь германская военщина. Наступательная беспечность фашистской имперской машины к этому времени дала очень заметную трещину, сильно засбоила, и немцы стали закрепляться на оккупированных ими территориях со всей доступной им педантичностью. Поэтому и Псков они укрепили не только по его окраинам, но и изнутри: настроили разные твердыни, окруженные проволочными заграждениями, надолбами, секретными ямами, завалами и утопленными в землю танками. В местах, которые фашисты полагали важными объектами, были еще более важные, а в еще более важных они выгородили важнейшие, которые охранялись отборными солдатами, вооруженными новейшим оружием, а кроме того, еще и электрическим током высокого напряжения — «хох-шпанунг», — пропущенным через колючую проволоку, спиралью Бруно и многими иными фокусами, вплоть до колоколов громкого боя и прыгающих мин, которые срабатывали за метр от приближающегося «злоумышленника».

В эти важнейшие укрепления попасть можно было только по особым пропускам, шифр на которых менялся дважды в сутки и не был решительно никому известен, даже генералитету. Выбивала шифрованные знаки особая машинка, вроде нумератора, по своему механическому капризу, управлял же машинкой маленький военный чиновничек с крысиными зубами и слезящимися глазами, существо особо и лично доверенное самого Гимmlера.

Вот за этими главными предохранительными ограждениями, в твердыне твердынь черного от бомбежек и артиллерийских обстрелов древнего города Пскова, в особой часовенке, со стен которой смотрели на незваных пришельцев скорбными глазами православные страстотерпцы и великомученики,

сидели за бутылкой «мартеля», в сигарном душистом дыму трое: оберштурмбанфюрер доктор Грейфе, узколицый, высоколобый, рано облысевший блондин, у которого от постоянного употребления какого-то тайного и сильнодействующего наркотика уже давно и совершенно помимо его воли сделался яростный и испепеляющий взгляд Лойолы, а с ним его подчиненные собеседники — Хорват и Лашков-Гурьянов. Начальник разведывательно-диверсионной школы в Печках штурмшарфюрер СС Хорват имел внешность очень интеллигентного человека, был благородно сед, носил очки и изредка дергал левой щекой, что дополняло изысканность его облика. Заместитель Хорвата, бывший советский майор, выдавший себя при пленении за представленного к подполковнику, изменник Родины, ныне обершарфюрер СС, выглядел совсем непримечательно и даже испуганно. Впрочем, тревогу его ищущего взгляда можно было объяснить тем, что в данное время Хорват рассказывал высокому начальству гурьяновскую биографию от младых ногтей до нынешнего дня, и Лашков-Гурьянов, в первый раз в жизни видящий такое недостижимо высокое начальство, как доктор Грейфе, напряженно следил за тем, какое впечатление произведет на оберштурмбанфюрера его жизнеописание, в котором основной движущей силой была его преданность идее господства арийской расы над всем иным человечеством.

Гурьянов плохо понимал по-немецки, полностью до него доходили только некоторые фразы, но то, что Хорват рассказывает про него достаточно уважительно, было Лашкову-Гурьянову ясно без всяких сомнений.

Оберштурмбанфюрер слушал внимательно, глаза его только порой зажигались ироническим огнем, а иногда, совсем как бы не к месту, он усмеялся, и тогда Гурьянову становилось не по себе, он съеживался и подбирал покруче ноги в хромовых, с короткими голенищами, щегольских сапожках.

— Неужели? — осведомился вдруг Грейфе.

— Совершенно точно! — ответил штурмшарфюрер Хорват. — Именно так.

— Его нужно было завербовать еще в те годы, — сказал Грейфе. — Сразу после революции. Мы бы имели ценную информацию.

— Так точно, — на дурном немецком языке произнес Гурьянов. — Разумеется, я не пощадил бы самой жизни.

— Можно продолжать? — осведомился Хорват.

— В общем, это весьма интересно, — не ответив Хорвату, медленно, в растяжку констатировал доктор Грейфе и опять со смешанным выражением иронии и любопытства поглядел в сине-серое лицо Гурьянова. — Это достойно изучения. Вам бы следовало напечатать историю вашей жизни в каком-либо журнале, — посоветовал он. — Вы побеседуйте от моего имени с начальником группы прессы «Остланд» господином зондерфюрером Крессе. Можно напечатать в «Вольном пахаре» или в «Северном слове». Да, да, это совсем не безынтересно...

— Слушаюсь! — щелкнув под стулом каблуками, произнес Гурьянов.

Заинтересовало же Грейфе вот что: прапорщик царской армии Гурьянов, когда грянула революция и когда он понял, что все белые и поддерживающие их двенадцать языков большевиков не одолеют, решил начать жизнь с самого начала. Для этого он скрыл свою подлинную, дворянскую суть и обратился в темного, неграмотного солдата, способного конечно, жадного до знаний и невероятно упорного в труде. Этого преданнейшего Советской власти человека отправили учиться на краскома, где ему, как легко догадаться, совсем ничего не стоило проявить свои недюжинные таланты. Так он и пошел — крестьянин от сохи, как писалось в тогдашних аршинных анкетах, так и начал свое бравое восхождение в верхах Красной Армии, куда бы и

прорвался, разумеется, если бы несколько не перебрал со своей неистовой классовой гневливостью и со своим темпераментом «бедняка от сохи». Тут случались с ним прототипы и убытки, и говаривалось ему отечески, что дуги гнут не разом и не вдруг, но он не тишал, а все более громко требовал суровостей, крутых мер и тяжких наказаний там, где даже и выговора было многовато. Но речи его, когда произносились хриплые и бешеные слова о том, как «мы были голы и босы, и неграмотны, и не куримшие», все-таки воздействовали, и хоть в генералы Гурьянов не проскочил, но некоторых высот достиг и на них не успокоился. В недоброй памяти тридцать седьмом году деятельность его по писанию изветов, доносов и ябед достигла размеров настолько гигантских, что соответствующие органы его арестовали как клеветника и осудили. Но, совсем недолго просидев, Гурьянов выскочил, порхнул крылышками, написал еще дюжину душераздирающих заявлений и двадцать второе июня встретил в звании майора Красной Армии лицом к лицу с противником, где и пошел без всякого к тому понуждения в плен, чтобы там, у обожаемых им фашистов, сделать наконец настоящую карьеру, достойную его способностей.

Холуй по натуре, он многие годы с душевным трепетом и восторженным упоением изучал все, что мог, об имперских вооруженных силах, изучил действительно порядочно и при первом опросе немецким обер-лейтенантом показал себя «идейным» противником Советской власти. Разговор даже тут был многообещающим, с кофе и «арманьяком», но все же Гурьянов не мог отделаться от того, что молокосос обер-лейтенант, ничтожный мальчишка, который еще недавно ходил в коротких штанах и был членом «Гитлерюгенда», разговаривал с ним высокомерно и презрительно.

И ощущение это было верным, потому что мальчишка

видел перед собой первый раз не убитого и не расстрелянного советского майора, а майора-изменника и брезговал им, как впоследствии за все эти более чем два года войны Гурьяновым брезговали даже самые, что называется, подонки из подонков германской разведывательной службы. И нынче, сидя в жарко натопленной часовне перед лицом своего главного начальника — Грейфе, Гурьянов, не ожидая ничего хорошего для себя из медленно текущей беседы, желал лишь поскорее ее окончить и вернуться в Печки, напиться и уснуть, как делывал он ежедневно. Однако же Грейфе не торопился. Отнесясь к Хорвату, он посулил ему намеком повышение и дал понять Гурьянову, что как только Хорват получит новую должность, то обершарфюрер «может ждать» повышения в звании, вплоть до офицерского, так как, предполагает Грейфе, бывшему майору все-таки тесновато в звании старшего фельдфебеля, хоть это и войска СС.

Глаза Грейфе вновь сверкали сатанинским пламенем Лойолы. Смеялся он или говорил серьезно? Или сверкало не пламя Лойолы, но серый порошок наркотика вместе с коньяком?

И Гурьянов все-таки выразил свою глубокую признательность и опять подщелкнул каблуками под столом.

— Изменение звания повлечет за собой и изменение должности, — сказал Грейфе. — Будем надеяться, что господин Гурьянов уже соответствует должности начальника разведывательно-диверсионной школы в тех же Печках, не так ли, господин Хорват?

— Абсолютно! — сказал Хорват.

Ему хотелось подальше от переднего края. Все другие школы были ближе к тылу.

Дьявольское пламя разгоралось все пуще и пуще. Беседа не могла кончиться обещаниями и комплиментами, Гурьянов чувствовал это.

И действительно, доктор Грейфе резко изменил тон:

— Но это, господа, произойдет только в том случае, если хоть один из ваших питомцев выйдет в конце концов на связь с нами, — задумчивым голосом сказал Грейфе. — Ибо такое положение терпимым быть не может. И более того, мы, если, разумеется, положение резко не изменится, мы склонимся к тому мнению, что вы оба, господа, работаете на большевиков и засланы к нам большевистским разведывательным центром. Может быть, вы об этом прямо мне и скажете?

Хорват и Гурьянов переглянулись. Румяный доселе Хорват посерел, серый Лашков порозовел.

— Так на кого же вы работаете? — совсем кротко осведомился Грейфе. — На нас или на Россию?

— Но господину оберштурмбанфюреру известно, я надеюсь, что засылаем агентуру не мы, а господа из абвера, — несколько дребезжащим голосом произнес Хорват. — Мы же теряем наших питомцев мгновенно, теряем навсегда, навечно, а господа из абвера — с той секунды, как их увозят из Печек. Мы их даже не экипируем, мы не говорим напутственное слово, мы лишь комплектуем группы, и, как правило, наши группы перетасовываются уже здесь, в Пскове... Школа номер сто четыре...

Грейфе тяжело шлепнул ладонью по столу.

— Разве я вас спрашивал об этом? — осведомился он.

Хорват замолчал и лишь подобрал с полу упавшую сигару шефа.

— Сколько секретных агентов среди ваших учащихся? — отрывисто спросил Грейфе. — В процентах?

— От пятидесяти до семидесяти процентов.

— Они работают активно?

— К величайшему сожалению, нет, — произнес Хорват. Краска стала возвращаться на его щеки. — Они пишут много, но больше бестолочь.

— Например?

— Например, выражалось недовольство кинофильмом без субтитров.

— А были случаи, когда вы получали сведения о том, что ваши курсанты, высадившись в расположении Советской Армии, не станут выполнять ваши задания? Вернее, задания абвера?

— Да, такой случай имел место, — разрешил себе вмешаться по-немецки Гурьянов. — Этих негодяев мы расстреляли в тот же вечер.

Он выговорил свою фразу как можно более четко и старательно, но доктор Грейфе сделал вид, что не понимает, и только пожал плечами.

— Поясните! — велел он Хорвату.

Хорват повторил то, что сказал Гурьянов.

— Перед строем?

— Разумеется, — сказал Хорват своим интеллигентным голосом. — Их по очереди из пистолета расстрелял господин обершарфюрер Гурьянов. К сожалению, среди расстрелянных был наш лучший секретный агент — Купейко, на которого мы возлагали большие надежды.

— Почему возлагали? — резко спросил Грейфе.

— Он нам дал ценную информацию в начале года. Два негодяя слушали радио из Советов и Би-Би-Си. Они привлекали других курсантов...

— А вы просто идиот, — вдруг опять мягким голосом произнес Грейфе. — Вы просто болван, Хорват. Цанге и Фридель — это были наши агенты у вас в школе. Наши проверочные агенты. Хорошо, что вы не успели их расстрелять.

Хорват совсем растерялся.

— Но тогда следовало нам быть хоть частично в курсе дела, — пробормотал он жалким голосом. — Ведь в конце концов...

— В конце концов вам не нравится наша система проверок? — сладко осведомился Грейфе. — Вы желаете, чтобы мы абсолютно доверяли таким господам, как этот саш Гурьянов? Или вам? Или вашим преподавателям? Не предполагаете ли вы, что наше титаническое государство может держаться на доверии?

Разумеется, Хорват этого не думал. И поспешил заверить доктора Грейфе, что проверки и перепроверки есть самая действенная форма возможности доверять.

— Надеюсь, в вашей школе не введен сухой закон? — вдруг прервал Хорвата шеф.

— Нет, но мы стараемся...

— В пьяном виде люди откровеннее, чем в трезвом, — с тихим смешком сказал Грейфе. — Пусть болтают. Пусть возможно больше болтают здесь. Лучше проболтаться здесь, чем сговориться там и покаяться большевистским комиссарам. Пусть все будет наружу. Не зажимайте рты вашим курсантам, пусть задают любые вопросы на занятиях. Провоцируйте их. И пусть они видят безнаказанность, понимаете меня? Потом можно такого курсанта перевести в другую школу, где с ним покончат, но не делайте глупости, не расстреливайте перед строем. Не надо пугать, надо вызывать на абсолютную откровенность...

Лашков-Гурьянов облизал сухие губы. Грейфе в самом деле был дьяволом. Или как его там называли в опере про омолодившегося старика Фауста? Мефистофель?

— Но вы не огорчайтесь, — произнес Грейфе. — Вся эта система не мной организована. Тут вложил свой гений Гиммлер, здесь немало усилий покойного Гейдриха. И старик Канарис кое-что смыслит в своем деле. В моей личной канцелярии есть двое почтеннейших людей, моих соотарицей по партии, которых мой покойный Гейдрих... я говорю «мой» потому, что мы вместе с ним начинали наш путь... так вот, он их приставил ко мне. А кого приставил

ко мне Канарис? Его люди проверяют тех двоих и немножко меня.

Он рассмеялся.

— Каждый третий,— проговорил Грейфе весело.— На этом держатся наши успехи, наши великие победы, этим способом мы осуществляем единство нации. Каждый третий — или нас постигнет катастрофа. Но лучше каждый второй. Вам не кажется, господин Хорват, каждый второй лучше?..

Лашков-Гурьянов почувствовал на себе его взгляд. И подумал: «А они тут не походили с ума?»

Грейфе положил на язык щепотку порошку и запил его коньяком. Потом он сказал строго:

— Теперь вернемся к нашим баранам, как говорят французишки. Ваш Купейко, кажется, что-то крикнул перед смертью. Что он точно крикнул, господин Лашков? Постарайтесь говорить внятно по-немецки, чтобы я понимал без помощи господина Хорвата. Ну? Я жду!

— Он напомнил о каком-то разговоре, имевшем место во время подрывных учений в деревне Халаханья,— опасно и негромко произнес Лашков-Гурьянов.— И еще крикнул, что надеется на курсантов.

— Это была двусмысленность? — вперив в Гурьянова свой издевательский взгляд, осведомился Грейфе.— Как вы поняли вашего питомца Купейко?

— Никакой двусмысленности я здесь не заметил,— сказал Гурьянов.— Он ведь дальше закричал про победу Советской Армии, и тут я, каюсь, погорячился и выстрелил.

— А что вы выяснили про беседу на учениях в деревне Халаханья? — спросил опять Грейфе, продолжая вглядываться в совсем оробевшего Гурьянова.— Надеюсь, хоть это вы выяснили? Или мне надлежит прислать вам специального следователя? Вы оба, может быть, вообще не

в состоянии командовать таким объектом, как «Ваффен-шулле»?

Гурьянов с тоской взглянул на Хорвата. У того ходуном ходил кадык, он все время пытался что-то проглотить, да никак не мог. «Даст тут дуба со своим миокардитом, — злобно по-русски подумал про него Лашков-Гурьянов, — как тогда я один управлюсь с этим идиотом?»

— В этом случае с расстрелом вы поступили весьма глупо и более чем поспешно, — произнес доктор Грейфе. — Сначала дознание, а потом казнь — неужели это *детское* правило вам не известно? Казнь есть этап заключительный, так нас учил Гиммлер, и никакое самоуправство здесь терпимо быть не может. Вы должны были этапировать преступников в Берлин. Или хотя бы ко мне, в Ригу. Там бы они все сказали. Я не сомневаюсь в том, что ваш Купейко был связан с партизанским подпольем, если его не заслали партизаны в нашу школу.

— Исключено, господин оберштурмбанфюрер, — вмешался несколько пришедший в себя после пережитого страха Хорват. — Купейко вербовал лично я. Он был в лагере в таком состоянии, что не мог пробежать положенные нами три испытательных круга по плацу, упал на втором. Вербовался он вместе со своим другом, его фамилию я запомнил — Лазарев, тот тоже хотел к нам попасть, но его мы не взяли по причине искалеченных ног. Этот вот Лазарев сказал мне в беседе, что Купейко — сын крупного табачного фабриканта и что он вместе с Лазаревым попал в плен в районе Харькова...

— Что Лазарев показал вам после казни Купейко?

— Лазарев сейчас служит в войсках РОА, и его местопребывание мы не установили, — вмешался аккуратным голосом Гурьянов. — Такая работа нам не по плечу. Если бы господин...

Грейфе записал в книжечку инициалы Лазарева — «А. И.».

— Он тоже сын фабриканта? — спросил оберштурмбан-  
фюрер. — Если посмотреть личные карточки наших курсан-  
тов из военнопленных, — с медленной усмешкой сказал  
он, — то выйдет, что в России жили только одни фабри-  
канты, заводчики, расстрелянные идейные вредители, рас-  
кулаченные кулаки и директора банков. И многие наши  
идиоты попадают на эту удочку...

Хорват внезапно осмелел.

— Но нам же приказано инструкцией вербовать  
именно этих лиц, — начал было он.

— Как Купейко попал в плен? — жестко перебил Хор-  
вата Грейфе, давая голосом понять, что инструкции ни-  
какому обсуждению не подлежат. — Доложите под-  
робно.

— По его словам, сдался намеренно. И по словам упо-  
мянутого Лазарева.

— Вы проверяли?

— К сожалению, после казни. Патологоанатом...

— Патологоанатом? — удивился Грейфе. — При чем тут  
патологоанатом?

— Так случилось, что, когда господин Гурьянов рас-  
стрелял негодяя, мы получили сведения о том, что Ку-  
пейко в бане тщательно скрывал левую сторону тела...

— От кого сведения?

— От преподавателя взрывного дела ефрейтора  
Крупнэ. Тогда мы отправили мертвеца на вскрытие. Он,  
то есть Купейко, никогда не сдавался, это показало позд-  
нейшее расследование. Он был подобран в бессознательном  
состоянии, и лечили его в каком-то подполье, которое и  
было накрыто нашей полевой жандармерией. Тут его опять  
ударили прикладом, но он выжил...

Грейфе демонстративно закрыл глаза, показывая, что  
ему надоело. А после паузы с угрожающей усмешкой осве-  
домился:

— Надеюсь, вы отыскали папу-фабриканта?

Хорват и Гурьянов попытались улыбнуться.

— Плохо,— сказал Грейфе и отхлебнул коньяку.— Очень плохо, господа, совсем плохо. Наши школы стоят бешеных денег фатерланду. Мы вкладываем в них огромный потенциал энергии, которая могла бы быть с успехом использована по назначению, гораздо более действенному и насущно необходимому имперским вооруженным силам, чем это осуществляется на практике. По три месяца, а то и по полугодю мы дрессируем, кормим, обучаем и одеваем тысячи людей, которые, как показывает практика, должны быть в лучшем случае направлены в газовые камеры, потому что они суть враги новой Европы. Но мы, вместо того чтобы уничтожать эти контингенты, снабжаем их оружием, боеприпасами, питанием, снабжаем их современнойшим вооружением, безотказной радиоаппаратурой и на наших самолетах, подвергая риску наших пилотов, со всевозможной безопасностью сбрасываем эту, с позволения сказать, агентуру в тыл нашего противника, а по существу к себе домой. Там *ваши выученики и воспитанники* сдаются, после чего мы утешаем себя тем, что они пленены после героического сопротивления.

— Почему же непременно сдаются? — опять задребезжал голосом Хорват.— Может быть, их задерживают, так как не исключена возможность...

— Исключена! — обдав Хорвата бешеным пламенем своих оглашенных глаз, рявкнул доктор Грейфе.— Исключена, потому что нет контрразведки сильнее и активнее нашей, однако мы твердо знаем, что их агентура к нам просачивается и работает на них. Их Иваны торчат здесь повсюду, они даже контролируют железные дороги в нашем глубоком тылу. Разве вам это не известно? А ваши мерзавцы вообще не выходят на связь. Если же выходят, то только для радиоигры, которую мы всегда проигры-

ваем. Мы даем всем легчайший шифр формулы «работаю под принуждением», но ни одна сводка, ни одна, не дала мне,— брызжа слюной и надвигаясь на Хорвата, сказал шеф,— не дала этого «принуждения». Даже не попадаясь, они находят части своей армии и сдаются, вот что они делают, ваши выученики, и вот, следовательно, чему вы их учите и выучиваете!

Он вытряс в свой стакан остатки коньяку и велел Хорвату сходить к его автомобилю и принести оттуда бутылку.

— Шофера зовут Зонненберг! — крикнул он в узкую спину совсем скисшего Хорвата. И, взглянув на Лашкова-Гурьянова, спросил деловито: — Как вы предполагаете, он не работает на русских?

Гурьянов даже не понял сразу, о ком идет речь.

— Любые свои предположения вы можете написать лично мне. Конверт оформляется как нормальная секретная почта, и никто ни о чем никогда не узнает. Вы должны следить за вашим начальником, понимаете?

Гурьянов быстро дважды кивнул.

— Впрочем, это между нами! — предупредил немец и, не поблагодарив Хорвата, приказал Гурьянову откупорить бутылку. Глаза его смеялись почти добродушно, когда он спросил у начальника, не работает ли его Лашков, «подполковник или майор в прошлом», как он выразился, на русских.

— Не думаю,— покашляв в кулак, ответил Хорват.

— Еще бы вы думали,— уже засмеялся шеф.— Но вообще смотрите за ним, черт его разберет.

Посмеявшись, Грейфе предложил выпить всем вместе.

— Отчего не выпить на досуге? — спросил он.— Не правда ли? А на мою подозрительность не обижайтесь, господа. Я слишком осведомлен для того, чтобы кому-либо, когда-либо верить. Себе я тоже верю с трудом. Своим глазам. Например: где мы? Почему мы тут? Почему этот

майор в прошлом с нами? Чьи боги нарисованы на стенах? Здоровы ли мы психически?

И он замолчал надолго, быть может, сладко прислушиваясь к тому, как работает таинственный серый порошок, изобретенный для избраннейших химиками «Фарбендиндустри».

«Угостил бы! — подумал Лашков. — Наверное, получше шнапса!»

— Вы решительно во всем правы, господин доктор, — осторожно нарушил молчание Хорват, — но ведь не исключено, что наша школа готовит агентуру и на длительное оседание. Во всяком случае, особый курс у нас существует с основания школы. А такие агенты не имеют права давать о себе знать.

— Да что вы! — издевательским голосом произнес шеф. — В первый раз слышу. Неужели?

Серый порошок срабатывал, видимо, на славу. Угасшие было глаза Грейфе вновь начали светиться фанатическим огнем.

— Может быть, вы прочтете мне курс конспирации разведочной агентуры? — осведомился он. — Я бы прослушал. У меня есть и время для этого...

Хорват сконфузился и сделал вид, что протирает очки.

— Купейко был бы хорошим резидентом на глубокое оседание, — серьезно, без усмешки произнес Грейфе. — Отличным. Смотря только на чьей стороне. Вам, кстати, не кажется странным, что рабочие качества человеческой особи иногда раскрываются после смерти. То есть я хотел выразиться в том смысле, что как человек умирает — таков он и есть на самом деле?

Гурьянов и Хорват промолчали, у них не было никаких мнений на этот счет. Грейфе раскурил сигару. Он заметно оживился от своего порошка и от коньяка тоже, пот высыпал на его высоком лбу.

— Вас информируют о чем-либо в смысле действий вашей агентуры или вы решительно ничего не знаете? — осведомился шеф. — Хоть что-нибудь вам сообщают?

— Только один раз нам прислали литографированное сообщение из английской печати о том, что мощная диверсионная группа, выброшенная в Ленинград, была после выполнения своих заданий ликвидирована органами МГБ.

Хорват помедлил: говорить дальше или нет? Грейфе молча сосал сигару.

— Сообщение в школе я не вывесил, — сказал Хорват. — Такие вести не укрепляют моральный дух курсантов...

— Тем более, что в Ленинград мы никого не выбрасывали, — усмехнулся Грейфе, — это все фантазии писак из отдела пропаганды «Остланд». Без моего грифа прошу все литографированные сообщения уничтожить. Теперь послушайте меня. Я вам расскажу кое-что. Кое-что из жизни. Из невеселой жизни.

Он опьянел довольно основательно.

— У меня, у меня самого, в отделе «Норд» на станции Ассари работал советский разведчик. Вы понимаете, что это значит?

Хорват и Гурьянов понимали. Они оба даже перестали дышать. Уж это не литографированное сообщение из английских газет — это говорил сам Грейфе.

— В ванной комнате он ухитрился держать рацию. Не в своей квартире, а в здании моей разведки. Ванна, конечно, там не работала. У него была якобы фотолаборатория. И вдруг мое здание запеленговали. Вы понимаете?

И это они понимали.

Пожалуй, им стало полегче. Уж если такие крокодилы, как Грейфе, ухитряются держать при себе советских разведчиков, то что можно спросить с какого-то начальника школы и его заместителя?

— Он выбросился из окна головой о камни. Вот и вся история, — сказал Грейфе. — Тут и начало и конец. А в отделе «А-1» еще похуже, — слава господу, что там я не командую. Там работала целая группа советских разведчиков. Приезжала комиссия из Берлина. Лейтенант Вайсберг оказался Кругловым. Его опознали. Было расстреляно сто девять человек.

Он выпил еще и посмотрел бутылку на свет.

— Со следующей недели вы будете получать регулярную информацию о том, куда, когда и даже с какими результатами забрасываются ваши паршивцы, — сказал Грейфе. — Вы будете получать и информацию, и наши выводы. Вы будете получать все для того, чтобы знать, сколько времени осталось до рассвета...

Гурьянов и Хорват глядели на шефа неподвижными зрачками.

— На рассвете обычно казнят, — отпив еще коньяку, сказал шеф. — Должны же вы знать, когда это с вами произойдет? Ну, а возможно — почему же нет? — возможно, что ваши воспитанники действительно так хороши, что заброшены на длительное оседание. Тогда это... дорогой товар, очень дорогой...

Доктор Грейфе вдруг задумался.

— Он много пьет? — спросил вдруг шеф, кивнув на Лашкова-Гурьянова.

— Вечерами, — сказал Хорват.

— Я не спрашиваю — когда. Я спрашиваю — много ли?

— Порядочно, — твердым голосом произнес Хорват. — Мог бы меньше.

— А этот? — отнесся шеф к Гурьянову.

«Сволочь, — подумал заместитель. — Сейчас ты у меня попляшешь!»

И ответил, стараясь не замечать стеклянного блеска очков своего начальника:

— Мы пьем обычно вместе. Поровну. Господин Хорват делит все наши блага по-братски.

Но Грейфе уже не слушал.

— Контрразведкой здесь против нас ведает очень крупный чекист, — сказал он. — Вы это должны знать. Генерал Локоткофф. Но то, что он генерал, знает только «Цепелин». Он конспирируется старшим лейтенантом. Есть сведения, что мы получим приказ об уничтожении этого субъекта, не считаясь ни с какими затратами и потерями. И надеюсь, мы выполним этот приказ. Не правда ли, господа?

Он поднялся, давая понять, что беседа окончена. Еще минут десять он просидел в одиночестве, потом не торопясь оделся и вышел из часовни, возле которой два часовых отсалютовали ему автоматами. Зонненберг распахнул перед доктором Грейфе дверцу «адмирала», обтянутую имитацией красного сафьяна. В машине пахло крепкими духами и мехом, грубой овчиной, которой Грейфе любил покрывать ноги в долгих поездках по русским дорогам.

— Куда? — спросил Зонненберг.

— Пожалуй... в Ригу.

— Тогда нужно вызвать автоматчиков и мотоциклистов.

— К черту! — ответил Грейфе. — Выезжайте из этой крысоловки, я еще подумаю...

Зонненберг нажал сигнал, «оппель-адмирал» пропел на двух тонах — выше и ниже. У ворот вспыхнула синим светом пропускная контрольная лампочка. Ехали они недолго. Неподалеку от Поганкиных палат машина притормозила.

— Я пройду, — сказал Грейфе. — Вы подождите здесь, Зонненберг.

Стрелки часов на приборной доске автомобиля показывали девять. Было темно, моросил весенний дождь. Из-за угла навстречу Грейфе вышел высокий костлявый человек

в широком пальто и в низко надвинутой на лоб шляпе. Грейфе сказал ему на ходу:

— Приезжайте в Ригу. Здесь нет возможности поговорить. Я вызову вас повесткой в свой кабинет, и вы явитесь незамедлительно. Вы ведь швейцарский подданный?

— Моя фамилия — Леруа, — ответил высокий и слегка приподнял шляпу.

А шофер Зонненберг записал в это время: «21 час. Встреча возле Поганкиных палат. Широкое пальто, длинный. Беседа не более минуты».

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

**—И** что ты все смалишь табаком и смалишь? — сказал Локотков, умело и ловко зашивая вошечной дратвой свой прохудившийся сапог. — Не умеете вы, девушки, курить, как я посмотрю...

Инга не ответила, накуривалась.

— Напишу твоему папаше, приедет — выпорет! — посулил Иван Егорович. — Даже смотреть неприятно, как ты себе здоровье портишь. Твой папаша — доктор?

Инга кивнула.

— От чего лечит?

— Он доктор не медицинский. Археолог.

— Тоже неплохо, — покладисто сказал Иван Егорович. — Эвакуирован, как талант?

— Командует артиллерийским полком, — сухо сказала Инга. — Они еще молодые, мои родители, им по двадцать было, когда я родилась. Почитать вам что-нибудь?

— Почитай, — согласился Локотков, — почитай. Стихи?

— Стихи.

— Кстати, ты не помнишь, чей это такой стих: «Как дело измены, как совесть тирана, осенняя ночь темна?»

— Не помню,— подумав, ответила сердитая переводчица.— Слышала, а не помню.

И погода спросила:

— Вы всегда про свои таинственные дела думаете? Или можете вдруг заметить, что уже весна, что птицы бывают разные, что они поют — война или не война, что нынче, например, жаркий был день?

Локотков еще раз с силой продернул дратву и сказал:

— Это я в газетах читал — была такая дискуссия про живого человека. Который водку пьет — тот живой, а который отказался — тот неживой. Так я, Инга, живой и даже еще совсем не старый, только с первой военной осени ревматизм заедает. Болезнь стариковская, а мне и тридцати нет, хоть, конечно, и тридцатый год — не мало. Ну и устаю, случается. Тебе смешно — вояж-вояж, а мне не до смеху.

Он протер воском дратву, вздохнул и велел:

— Читай стихи свои, оно лучше будет.

— Это про вас,— сказала Инга, и лукавая улыбка дрогнула в ее серых глазах.— Называется «Чекист».

Локотков с любопытством взглянул на свою переводчицу. А она начала тихо читать:

Молчи, скрывайся и таи  
И чувства и мечты свои!  
Пускай в душевной глубине  
И всходят и зайдут они  
Как звезды ясные в ночи.  
Любуйся ими и молчи...

— Это классическое,— перебил Локотков,— а что именно, врать не стану — не помню...

Инга шикнула на него и сказала:

— Вы слушайте! Это я так думаю:

Как сердцу высказать себя?  
Другому как понять тебя?

— Ладно,— с усмешкой произнес Иван Егорович,— кому надо, те понимают. Что надо — делают. И как надо. Выдумщица ты и фантазерка, Инга, вот что.

Он подергал дратву, полюбовался еще не оконченной работой и подумал о том, что хорошо бы съездить к семье в Саратовскую область, похлебать с сынами щей, передохнуть, поговорить с женой. А вслух произнес:

— «Молчи, скрывайся и тай», вот как, товарищ Шанина. Но не про чекиста. Чекист без народа — ноль без палочки. Ты в это вдумайся, сама, между прочим, в особом отделе работаешь...

После Шаниной Локоткова навестил Ерофеев, лучший подрывник бригады.

— Думал, спишь,— сказал он сверху, со ступенек,— там к тебе один гитлеровский паразит просится.

— Какой такой может быть паразит? — с силой продергивая дратву, осведомился Локотков.— Откуда у нас гитлеровские паразиты?

— Да ты что, спал, верно, что ли? — удивился Ерофеев.— Еще поутру они перешли — тридцать два солдата РОА и военнопленных штук под двести из лагеря да из гарнизона Межничек. Привел их парень молодой, изменник, сволочь, вот он и просится к тебе. Да где ж ты был, что ничего не знаешь?

— Где был, там меня нету,— сказал Иван Егорович,— а где нету, там побывал. Слышал такую присказку?

— И как тебя еще не убили?! — искренне удивился Ерофеев.— Ребята брешут, что ты и в Псков ходишь, и будто в самую Ригу навевывался.

— В Берлине давеча кофей с Гитлером пил,— сказал

Локотков. — Побеседовали о том о сем. Вот так я, а вот так Гитлер. И пирожками закусывали...

Он выслушал длинное повествование Ерофеева о том, как нынче переходили к партизанам изменники Родины, а погода зевнул и потянулся.

— Ладно вздор-то пороть, Ерофеич, — сказал он сквозь длинную зевоту, — я же сам их принимал нынешний день. Там и был, у обозначенного хутора. А ты как раз спал и все тут мне одни побрехушки рассказываешь. Отсыпь табачку и иди. У тебя табак всегда есть.

Оконфуженный Ерофеев ушел, сделав вид, что про табак забыл. А через несколько минут заскрипела дверь в землянку и чей-то голос, незнакомый и молодой, вежливо осведомился:

— Здесь размещается особый отдел?

Незнакомец еще не спустился в землянку, Ивану Егоровичу видны были пока только ноги в немецких разбитых ботинках.

— А ты зайди совсем, — сказал Локотков. — С головой взойди.

Он полюбовался окончательно зашитым сапогом и вскинул глаза на вошедшего. Это был человек лет двадцати двух, очень худой, с обветренным лицом и зорким взглядом светлых и дерзких глаз. Одет он был в немецкую шинель, но без орла со свастикой, на левом рукаве Иван Егорович разглядел знакомую эмблему боевого союза — трехцветный флаг, белый, синий и красный, с надписью «За Русь».

— Так, — сказал старший лейтенант и, аккуратно замотав портянку, обулся, — сам пришел или взяли?

— Бывший младший лейтенант Лазарев Александр Иванович, — спокойно и с каким-то странным облегчением в голосе представился вошедший. — Сдался сам. Привел солдат, тридцать два человека...

— С оружием?

— Так точно, с оружием. И военнопленных сто девяносто. А к вам явился с просьбой: или расстреляйте нынче же, или поверьте.

Локотков внимательно посмотрел на Лазарева.

— Быстрый, — сказал он. — Ультиматумы ставишь. Давай сначала ознакомлюсь, что ты за птица и какого полета. Расстрелять успеем. Садись.

— Прежде всего, вы мне должны поверить, — твердо произнес Лазарев. — Если вы мне не поверите...

Иван Егорович прервал гостя:

— «Верит — не верит, любит — не любит, любит — поцелует»... Это ты девушкам станешь говорить, — строго сказал он. — Здесь для такого разговора не место да и не время. Кто тебя сюда послал?

— Командир вашей бригады. Я уже четвертый раз прихожу, вас все нет да нет...

— Это вроде того, что я свои приемные часы не соблюдаю?

Лазарев промолчал. Теперь Локотков понял, что глаза у него не дерзкие, а веселые, но в данных обстоятельствах взгляд бывшего младшего лейтенанта, разумеется, выглядел дерзким.

— Чему радуешься? — спросил Иван Егорович.

— Домой пришел — вот и радуюсь.

— Думаешь, и впрямь будем тебя пряниками кормить?

— Дома и солома едома.

— Вострый. Рассказывай свои небылицы.

И Локотков положил на стол клочок дефицитной бумаги.

— Протокол писать будете?

— Зачем? Сразу же приговор.

— А что рассказывать?

— Все. По порядку. Только не ври ничего, — как бы даже попросил Иван Егорович. — Меня вруны утомляют,

и с ними я заканчиваю быстро. И что произошел ты из пролетарской семьи, не надо мне говорить, говори только дело.

— У вас закурить не найдется? — спросил Лазарев.

— Пока что нет, — сказал Локотков, — мы в партизанах живем небогато. С дружками делимся, а с неизвестными нет. Или ты, парень, располагал, что к нам вернешься и мы тебе за то хлеб-соль поднесем?

Лазарев по-прежнему дерзко-весело смотрел на Локоткова.

— Хотите — верьте, — сказал он, — хотите — нет. Я знал, на что шел. Но только думал, ужели судьба так ко мне обернется, что и умереть не даст человеком. Немцы нас все время убеждали, что тут всех расстреляют, кто вернется, я даже иногда верил. А иногда думал: что ж, пускай. Я рассуждал так...

— Послушай, Лазарев, — сказал Локотков, — рассуждать после победы станем. Ты подумай, в какой форме человек передо мной сидит. Подумай, что у него на рукаве нашито. И давай по делу говорить. Покороче. Когда, как, при каких обстоятельствах попал в плен?

— Струсил и попал.

Локотков растерянно поморгал: еще никогда и никто так ему не отвечал.

— Как это струсил?

— А очень просто, как люди пугаются внезапности. Они только про это не говорят, они все больше рассказывают, как ничего не боятся. А я вам говорю правду.

— Говори конкретнее.

— Поконкретнее — как нас из эшелона возле разъезда Гнилищи вытряхнули, путь дальше взорван был, и эшелону не удалось уйти, за нами они тоже линию взорвали, вот тут это и сделалось.

— Что сделалось?

— Болел я, понимаете, — сердясь, ответил Лазарев. —

Болея сильно желудком. И от этой болезни, и от стыда, что вроде, выходит, трушу, совсем был слабый. Физически сильно сдал. Думал, так пройдет, думал, война — еще не то придется выдержать. Совсем, короче говоря, стал плохой. А тут санинструкторша попала, я ей и поведал свои горести. Она мне три таблетки дала. И как рукой сняло. Но только совсем уж я был слабый. Думаю, хоть час посплю, единый час.

— Во сне и взяли? — догадался Локотков.

Лазарев удивился:

— А вы откуда знаете?

— Бывает, рассказывают.

— Значит, окончательно не верите?

— А ты не гоношись, — посоветовал Иван Егорович. — Опять напоминаю, какая на тебе форма, а какая на мне...

На это напоминание Лазарев не сдержался и произнес тихо:

— На вас-то вообще ничего не видно, никакой такой формы.

— Но-но! — возразил Локотков. — Все ж таки...

— Да что все ж таки?

Они помолчали. Иван Егорович сбросил с плеч ватник, одернул гимнастерку, привычным жестом заправил на спине складки. И подумал, что формы действительно на нем никакой особой нет. Нормальная партизанская одежда.

— Что же за таблетки были такие особые, что ты из-за них уснул? — продолжил он допрос.

— Впоследствии мне объяснили: с опиумом. А от опиума сон разбирает.

— Не отстреливался?

— Нет, — печально ответил Саша. — Я же спал. Они меня сонного прикладом огрели — долго башка трещала. И у сонного пистолет отобрали. Это как со Швейком, хуже быть не может.

— Ладно со Швейком, — прервал Иван Егорович, — дальше что было?

— Дальше санинструктора нашего увидел — девушку убитую. И словно она надо мной смеялась за те таблетки, что я выпил. Рванулся из колонны, побежал, ранили, но не убили. А я хотел, чтобы непременно убили.

— Для чего так?

— Смеетесь?

— Вопрос: для чего хотел, чтобы убили?

— Говорю, свой позор перенести не мог.

— А сейчас вполне можешь?

— Вы не так меня понимаете. Я себе войну с мальчишества представлял, как в кино. Непременно-де в ней красота, храбрость, удаля, и конники летят лавой с саблями наголо. А вышло так, что заболел я животом, ослабел, заснул и попал в плен. Теперь: я поначалу видел только внешнюю сторону своего пленения и хотел смерти. Я думал не о том, что пленен, а думал, *как некрасиво* я пленен. А потом вдруг я понял, что не в этом дело, и старался обязательно выжить, чтобы подвигом свой позор перекрыть. Я бы мог много раз с красивой позой погибнуть, но я мечтал как уютно жить для пользы Родины. А тогда дураком был, хотел, чтобы убили. Ну и тут не задалось, как нарочно. Палят и палят без толку.

— Так плохо фрицы стреляли, что даже и не подрали?

— Ранили.

— Куда?

— По ногам. И в бедро. Плечо еще, сволочи, пробрили. Но все в мясо, по костям не попадали.

— Везло! — иронически сказал Локотков.

— А я покажу, — взорвался вдруг Лазарев. — Любой врач подтвердит экспертизу. И если хотите знать, то я даже нашивки носил — два флюгпункта, это означало, что я бег-

лец, дважды пытался бежать, и что в меня надо стрелять без всяких предупреждений. Они меня и в РОА взяли, потому что считалось, нет храбрее меня Ивана во всем нашем лагере. Я их ни хрена не боялся, может потому и живой на сегодняшний день...

Глаза его сделались еще более дерзкими, совсем наглыми, и он спросил жестко, в упор:

— Что такое зондербехандлюнг — вам известно?

— Нет, не известно, — все тверже веря Лазареву и удивляясь этой вере, сказал Иван Егорович, — это кто такой?

— Не кто, а что; это «специальная обработка», «слом воли», это когда они решают не убить, а переломить. Убить — просто, а показать всем заключенным, что они переломили, покорили, — труднее. Например, карцер на сорок два дня с питанием один раз в трое суток. Без света, в темноте. Это не кто, это что, — повторил он, — это такое «что», которое очень надолго человек запоминает. Это забыть никогда нельзя, как их крики нельзя забыть...

И визгливым фальцетом, наверное очень похожим на то, что он слышал не раз, Саша Лазарев закричал так громко и холодно-яростно, что Иван Егорович при всей его выдержке даже слегка вздрогнул.

— Ахтунг! Мютцен аб! Штильгештанден! Фюнфцен пайче Вайтер! Цвай ур кникништейн!

— Ладно! Будет! Все равно не понимаю, — сказал Локотков.

— Не понимаете? Не понимаете, а не верите, — вдруг, видимо ужасно устав, произнес Лазарев. — Кто это выдержал, тому не верить нельзя. Это про шапки долой и что стоять смирно. Про плети и про штрафной спорт. Э, да что...

Молчали долго.

— Утомился? — спросил наконец Локотков. — Может, завтра продолжим?

— Зачем еще завтра жилы тянуть? Давайте сегодня,— с тяжелым вздохом сказал бывший лейтенант.— Мне знать надо, на каком я свете...

— Ладно, сегодня так сегодня,— миролюбиво согласился Иван Егорович.— Объясни, почему фрицы всех добивали, а тебя ранили и не доби́ли. Чем ты такой особенный?

Лазарев внезапно встал.

— Тогда не надо никакого разговора,— быстро и спокойно сказал он.— Если не верите, расстреливайте сразу. Я и жил-то только в надежде, что искуплю, что отомщу, а тут, конечно, никто не верит и не поверит...

Он даже и к ступенькам шагнул, но Локотков на него прикрикнул:

— Тебя я отпустил, что ли? Где находишься? Сядь на место и сиди. Он, видишь, нервный, а мы на курорте проживаем. Вопрос: почему они всех добивали, а тебя не доби́ли? И отвечай на поставленный вопрос.

— Я давеча уже докладывал: сломать хотели. И другим демонстрацию сделать,— видите, каких мы зубастых обламываем. Так я рассуждаю.

— Может, завербовали тебя, Лазарев, сразу?

— Небогатый вопрос,— тяжело взглянув на Локоткова, ответил Саша.— Не пойму, для чего.

Иван Егорович и сам понял, что вопрос «небогатый», да он как-то сам собой, по привычке выскочил. А бывший лейтенант, словно заметив мгновенное смущение Локоткова, зевнул и вновь поднялся.

— Пойду я,— сказал он.— Картина для меня ясная!

— А ты не нахальничай,— сурово приказал Иван Егорович.— Вопрос, видишь, ему не подошел. Я чекист, а ты пока что, *на данное еще время*,— подчеркнул он твердо,— изменник Родины. Ясно? Понятно тебе? И пока я не раз-

берусь согласно моей совести, мы с тобой, Лазарев, закуривать не станем.

При этом он совершенно не помнил, что табаку у него нет даже на одну завертку.

— Ладно, — согласился Лазарев, — вы извините. Опять мне красоты все представлялись: как приду сюда и меня встретят поздравлениями, что столько народу благополучно вернул Родине. Между прочим, товарищ начальник, покормить бы их не мешало, народ отоцал очень.

— А ты давно их видел?

— Порядочно.

— Почему же думаешь, что не кормлены?

Лазарев несколько смутился.

«Нахальный, — уважительно подумал Иван Егорович, — несколько свое достоинство не принижает. Злой, а не боится. Может, он и есть этот главный для меня человек?»

Мысль была такой неожиданной, что Локотков даже несколько оробел, не сболтнул ли он ее вслух. Но видимо, не сболтнул, потому что Лазарев возился со своим ботинком.

— Чего там копаешь? — спросил Иван Егорович.

— Товар принес, — сказал Саша.

— Какой еще такой товар?

На стол перед Иваном Егоровичем он положил большую ладанку из тонкой медицинской клеенки. Локотков подал Саше ножик и с радостью подумал, что стена, которая всегда стоит между подследственным и следователем, шаткая и что с каждой минутой их собеседования она все более и более разрушается.

Лазарев в это время протянул ему листки папиросной бумаги.

— Тут что? — отлично догадываясь по первому взгляду, «что тут», осведомился Иван Егорович.

— Всего понемногу, — стараясь поскромнее подать свою, действительно исключительную по мастерству и точ-

ности изображения работу, ответил Лазарев. — Все тут имеется. Где бывал — заносил разведданные.

— Расшифруй! — велел Локотков.

— Это проще всего, — сказал Саша, — сейчас мы вам всю картину в цветах и красках исполним...

И он пошел расписывать от Псковского озера на Валгу, от Печеры до Острова, оттуда на Невель, к Дну и Порхову.

— Эдак закружишься, — сказал Иван Егорович, — давай по порядку.

— А я по порядку как раз именно и запутаюсь, — ответил Лазарев. — У меня свой порядок, по мере того, как нашу роту фрицы гоняли. И вы меня не сбивайте, я и так свой мозговой аппарат перегрузил слишком...

Локотков принялся записывать. Данные Лазарева были и интересными, и иногда совсем неожиданными. Рассказывал бывший лейтенант действительно «в цветах и красках»; с каждым часом беседы Локоткову становилось все яснее, что глаз у его собеседника точный, словно учили его не на пехотинца, а на доброго разведчика. В уме он сопоставлял собственные сведения с лазаревскими и понимал, что парень ничего не врет, но лишь уточняет и порой сообщает неожиданные новости.

Часам к четырем ночи, когда оба они совсем извелись от усталости и Локотков убедился в том, что Лазарев нигде не подсунул ему дезинформацию, Иван Егорович подвел беседу к своему коньку — к школе в Печках, к Вафеншуле. Как бы мимоходом повернул он беседу на разведывательно-диверсионную школу.

— Кого здесь знаешь? — спросил Иван Егорович. — Кого можешь назвать из заброшенных фашистами на нашу территорию?

— Заброшен сюда, предполагаю, мой самый большой дружок — Купейко. Он имел планы, большие даже планы, рассчитывал, что сбросят его на нашу территорию в апреле.

— Сын фабриканта ваш Купейко?

— Сын... фабриканта? — с удивлением переспросил Лазарев. — А вы...

— Здесь я вопросы задаю! — обрезал своего собеседника Локотков. — Лично я. Понятно?

— Так точно, — все еще удивляясь, проговорил бывший лейтенант, — понятно.

Он немного помолчал, свыкаясь с мыслью, что мужиковатый его собеседник знает до чрезвычайности много. Но Локотков смотрел выжидательно, хоть и без особого любопытства, и Лазарев продолжал.

— Я тоже в эту школу имел намерение завербоваться, — продолжал он, — но меня туда не взяли из-за ног. А Купейко мой шибко пошел, он радист мозговитый, вообще к технике у него склонности от природы, если бы не война, наверное, в ученые бы подался, в академики самые наивысшие. Еще в лагере располагал после школы выброситься в советский тыл и, сдавшись, большую радиоигру сделать — принять на свою пресвятую троицу десант — в подарок нашему командованию...

— Уточните, какому «нашему» командованию? — жестко одернул Лазарева Локотков.

Лазарев мучительно порозовел.

— Нашему — советскому, — сказал он не сразу.

— Продолжайте показания.

— Продолжаю. Купейко совсем слабый был в лагере, боялись мы, что не выдержать ему ихнее испытание. На помоях, которыми нас кормили, он бы и не выдержал. Так мы половину своих пайков ему десять дней отдавали. Чтобы от всех нас один человек пользу принес.

— Вопрос: доверяли ему?

— Доверяли.

— Вопрос: обежал ваш Купейко плац?

Опять Саша Лазарев уставился на Локоткова: и про плац знает! Сам, что ли, там был?

— Отвечайте: обежал плац?

— Плохо обежал. Упал два раза. Но автобиографию мы сделали для него сильную, никуда не денешься. Мои были лично зафиксированы фантазии, вот это, как вы сказали, сын фабриканта. А на самом деле этот самый фабрикант знаменитый был карусельщик в Харькове на заводе.

— Вас кто в школу вербовал, персонально?

— Персонально Крупнэ.

— Живой этот Крупнэ, не слышали?

Он смотрел на Лазарева внимательно: если Крупнэ живой, вся та затея, которая вновь как бы пробудилась в Локоткове, обречена на провал.

— Не знаю, живой или откомандированный, они часто там людей меняют, — позевывая от усталости, ответил Лазарев. — Я бы его, пожалуй, сейчас и не признал, — сквозь длинную зевоту проговорил бывший лейтенант, — видел-то едва минуто, там, на плацу.

Иван Егорович будто и не слушал Лазарева. Это у него был такой маневр — самое главное и основное он вроде бы и пропускал мимо. Впрочем, он очень устал, почти обессилел. Мог же и он устать! Да и ноги болели, гудели больные ноги. Чертова медицина! Хвастаются-хващаются своими передовыми достижениями, а каплею от ревматизма не придумали!

— Купейку-то выдумал или в самом деле есть такой? — осведомился он.

Лазарев горячо ответил в утвердительном смысле и даже добавил что-то про то, как Купейко небось уже и выбросился со своими поддужными, и немецкий десант на себя принял, и как сдал его советскому командованию, а Локотков все думал свои думы про этого Купейку, о ко-

тором знал многие подробности и на которого даже когда-то рассчитывал. Но Купейко сорвался, не выдержал и жизнью своей заплатил за минутную горячность. И жизнь пропала, и дело сорвалось. «Этот, интересно, так же ли горяч?» — подумал Иван Егорович и внимательно взгляделся в лицо Лазарева, которому уже до всяких проверок и перепроверок успел поверить и на которого твердо рассчитывал в своем замысле...

Так беседовали они не раз и не два.

Теперь это были действительно собеседования, а не вопросы одного и ответы другого. Случалось, что отвечал и Локотков на горячие Сашины вопросы о сталинградской битве, о ленинградской блокаде, об американских и английских морских конвоях, о сроках дней победы.

И чем подробнее и дольше беседовали, тем более доверял Локотков дерзости открытого взгляда Саши Лазарева, тем глубже утверждался в своем мнении насчет намеченной им операции и тем серьезнее выверял, перепроверял и выяснял все, что связано было с разведывательно-диверсионной школой в Печках. Впрочем, Саша Лазарев даже приблизительно не был в курсе намерений Ивана Егоровича...

## ГЛАВА ПЯТАЯ

— Автомат мой дайте, — твердо, но не дерзко сказал Лазарев Локоткову. — Я с оружием сюда пришел и с полными дисками.

Солнце жарило их со всей щедростью погожего июньского дня. Инга стояла рядом с Лазаревым, на этот раз не курила, огромные ее глазищи тоже глядели на Локоткова кротко и даже просительно. Такого выражения глаз у Шаниной Иван Егорович никогда не наблюдал.

Черт бы их подрал! Разве мог он объяснить, что все эти ночи думал о Лазареве вовсе не как об автоматчике в лесном партизанском бою. Уложат горячего парня — и прощай весь план. А не дать?

— Продумаю, — сказал Иван Егорович и сам удивился, до чего похож его голос на голос какого-то знаменитого артиста, который в кино играл бюрократа. — Продумаю! — повторил он, едва не повторив «согласую» из той же кинокомедии. — Через часок наведайся...

Лазарев хотел что-то произнести, но лишь подавил вздох и зашагал к избе, в которой размещался его взвод. Теперь бригада заняла деревню, ту самую, где когда-то проживали Недоедовы и где Локотков застрелил пьяного полицая. И партизанский госпиталь был в избе, и штаб; комбриг жил роскошно — в мезонинчике, хоть многие еще и квартировали в землянках: две тысячи с лишком народищу! Немцы в этих районах не показывались, тут вновь правила Советская власть.

— Почему вы Лазареву не доверяете? — спросила из-за его плеча Инга.

— А почему ты решила, что не доверяю? — почти зло ответил он. И подумал, что ждал этого дурацкого вопроса с того мгновения, как понял, что Шанина идет за ним.

— Интуиция чекиста? — услышал он ее дерзкий голос.

Пожалуй, следовало ответить. И Иван Егорович обернулся к ней, чтобы «разъяснить», как он выражался, но ничего не ответил и не разъяснил. Он увидел ее лицо, лицо другой девушки, лицо не сердитой Инги, которая грубыми словами отбивалась от назойливых ухажеров и даже, случалось, дралась, царапаясь со свирепостью кошки, а подлинное лицо Инги — открытое, смущенное, печальное, с застенчивой и даже робкой улыбкой.

«Ну Лазарев! — внезапно перестав сердиться, подумал

Иван Егорович.— Ну парень хват!» — И, неосторожно усмехнувшись, спросил:

— А ты почему именно Лазареву в его преданности и патриотизме поверила? То все ребята тебе пустозвоны, хвастуны и хулиганы, то вдруг именно Лазареву давай оружие? Почему так?

Они шли медленно, за околицу, к леску, за которым начинался бор, к землянкам, в которых летними, знойными днями было не хуже, чем в деревне Дворищи.

— Почему? — растерянно произнесла Инга.— Не знаю, Иван Егорович. Но только... кажется... ему нельзя не верить...

Локотков сбоку взглянул на свою переводчицу. И заметил не только новое выражение ее лица, не только смиренно опущенные ресницы, но и прическу совсем иную, с пробором посредине, с туго свернутыми косами над ушами, с косами цвета спелой пшеницы, с косами, которые все эти длинные годы товарищ Шанина прятала либо под ушанкой, либо под пилоткой, во всяком случае, никогда до этого дня Локотков никаких кос у Инги не видел. Ему даже захотелось спросить ее про эти косы и как это она управлялась, так здорово их пряча, но для начальника такой вопрос выглядел бы несолидно, а именно сегодня Локоткову предстояло быть и солидным, и недосягаемым, и даже черствым — бюрократом...

Обгоняя их, не в ногу, подтягиваясь на ходу к большаку, ведущему на Развилье, прошло два взвода с автоматами, протрусила, ёкая селезенкой, знаменитая партизанская Роза, проволокла «тачанку-растачанку» с пулеметами и санинструктором Саней, та помахала рукой:

— Счастливо оставаться!

Инга беспокойно искала глазами. «Александра ищет», — подумал Локотков и вдруг с болью, словно он был не чекистом Локотковым, а Лазаревым, представил

себе, как Саша лежит сейчас один в пустой избе, откуда ребята ушли в бой, как смотрит в потолок и какими словами поносит перестраховщика, сухаря, заразу и зануду Локоткова, который и горя-то не видел, и фашизма на зуб не пробовал, а схватил за горло и душит, не дает продохнуть. «С его позиции правильно, — рассуждал Иван Егорович, — совершенно правильно, но только дальше авось раскумекает».

— Ты куда это шествуешь? — спросил он, вновь заметив Ингу возле своего плеча.

— Так, — ответила она, — просто иду. А что, разве идти нельзя?

— Значит, таким путем, — круто остановившись, сказал Локотков. — Слушаешь?

— Слушаю.

— Пройдешься сейчас с Лазаревым. Это тебе задание, как чекистке. И чтобы никаких этих настроений у него не было.

— Каких таких этих настроений? — неприязненно спросила Инга. — Если человеку оружие не доверяют, он кто? Кто в нем подразумевается?

— А это вопрос, который я через час ему объясню. Но только он должен знать по твоему отношению, что мы ему доверяем. И ты это пойми.

— «Молчи, скрывайся и таи», — зло начала она, но он перебил ее тем голосом киносекретаря, который недавно в себе обнаружил. Он произнес:

— У нас служебный разговор, товарищ Шанина, а не шуточный. Выполняйте!

— Слушаюсь! — удивленно, словно не узнавая Локоткова, произнесла Инга и повернула обратно.

Минут через сорок они заявили оба вместе. Лазарев заметно повеселел, но все-таки был более чем сдержан, Инга же, осведомившись, может ли быть свободной, по-

кинула землянку. Именно покинула, так вздернула она голову и так раздула крохотные ноздри своего курносого носа, когда Локотков своим новым голосом разрешил ей уйти.

— Ну так как? — спросил Иван Егорович Лазарева. — Обижаться будем, Саша?

Бывший лейтенант промолчал.

— Я тебя в бой не пущу, — сказал Иван Егорович, — и не потому, что тебе не доверяю. Ты мне тут нужен — живой и здоровый.

Лазарев внимательно посмотрел на Локоткова.

— Ты мне должен подробную карту выполнить. Нанести на нее все твои разведданные. Это занятие трудоемкое. И сподвижников своих внимательно опросишь...

— Сподвижники мои, как нормальные бойцы, уже воюют...

— Помолчи. Воевать у нас пока что есть кому. А карту делать именно ты должен. И в живом виде.

Саша все смотрел. Он был чисто выбрит, и пахло от него каким-то знакомым запахом. Этот запах преследовал Ивана Егоровича до самого конца собеседования. Только провожая Сашу из землянки, Локотков вспомнил: склянка таких духов, «Ландыш» что ли, была у Инги.

А вечером бойцы затеяли концерт самодеятельности, который превратился в сольный концерт Лазарева. Локотков сидел рядом с комбригом — суровым и умным другом Ивана Егоровича, и они только переглядывались, да подталкивали друг друга локтем. И не то чтобы такой уж замечательный голос был у Лазарева, нет, ничего особенного, а только рвали его песни душу, слышались в них и горькое горе, и такая отчаянная лихость и дерзость, и такая вдруг радость, что бойцы, развалившиеся на росистом лугу, даже «ура» вдруг закричали, а один принес артисту коробку немецкого сгущенного молока, чтобы тот

не надтрудил свое драгоценное «соловьиное» горло. «Бис» кричали бесконечное количество раз. Лазарев не кривлялся и не корчил из себя артиста, а когда уж очень уставал, вдруг рассказывал тихо и попросту, каков таков фашистский плен, и, рассказав, спрашивал погромче у тех, с кем вместе его хлебал:

— Ярошенко, правильно вспоминаю? Зубарев, так?

И из росистой, прохладной тьмы неслось:

— Правильно! Спой «Плен»!

— Спой.

И пел:

Ах ты, плен, ты, плен,  
Плен смертельный, злой...  
Друг убит вчера,  
Друг, товарищ мой...  
Чуть открыв глаза,  
Чуя смертный час,  
Он тогда же мне  
Отдал свой наказ...

— Политработник первого разряда, — сказал Ивану Егоровичу комбриг. — Хлопцев хоть сейчас в бой веди...

А Лазарев с посвистом выпевал уже концлагерные частушки:

Мне мила, как свет в окошке,  
Мой дружок, моя картошка.

Было смешно и страшно, и Инга Шанина в накинутаой на плечи шинели смотрела не отрываясь в его бледное, слегка откиннутое назад лицо, освещенное двумя трофейными немецкими лампами-бензинками, смотрела и не понимала, как мог человек, еще молодой, почти мальчик, выдержать все эти чудовищные испытания, выпавшие на его долю, и не сломиться, смотреть по-прежнему на мир дерзкими глазами юноши-школьника, петь, как запел он

нынче, превратив всю бригаду в хор, который подпевал ему грозно и мощно:

Там, где леса, болота и равнины,  
В жару и в стужу, в дождь или в туман  
Неодолимо и неутомимо  
Растут вокруг отряды партизан...

Потом, поздней ночью, почти до утра, она ходила с ним в густом тумане или сидела на поваленном и окоренном для партизанской постройки бревне, глядела вверх на далекие звезды, которые словно плыли за туманом, и было ей странно, что Лазарев даже не притронулся к ее локтю, не то что лезть обниматься, было странно, что не рассказывал ничего из пережитого им, было странно, что обращался к ней не по-здешнему, церемонно, на «вы» и все только пел кусочки каких-то позабытых, старых песен, со словами, которые нынче не произносят, да и не то что нынче, а и бабушки их, наверное, позабыли. Она сказала ему об этом, он устало улыбнулся:

— В лагере разные русские были. И не наши были...

— А какие?

— Которые не хотели против Советской власти воевать. Эмигрантские дети. Отцы драпанули в восемнадцатом или в девятнадцатом, а эти так и мыкаются.

И запел негромко, словно петь ему было проще, чем разговаривать:

Беседы долгие без слов,  
Отзывный звук любви напрасной,  
И тень июньских вечеров,  
И первый бред души неясной...

Она слушала, опустив голову, сжавшись под грубым сукном шинели, и просила спеть еще, потому что дела-

лось страшно, что кончится эта ночь, такая непохожая на все военные ночи, что уйдет с рассветом этот дерзко-скромный человек, понятия не имеющий ни о Гейне, ни о симфонической музыке, ни о древнегреческой архитектуре, не читавший Эрнеста Хемингуэя, путающий Лескова с Чеховым, уйдет и не вернется никогда, оставив ее, сердитую Шанину, девушкой-вдовой, и будет она снова допрашивать языков, писать плохим пером на плохой бумаге и ждать дня победы только для того, чтобы опять заниматься на романском факультете, который с этих дней потерял для нее интерес.

— Уснули? — спросил он вдруг издали.

— Нет, что вы! — ответила она и не узнала своего голоса, словно не огрубел он за эти годы, словно опять дома, в Ленинграде, на Кировой, вышла она из-за рояля в своей синей с белым комнате. — Нет, я не уснула...

— Пойдемте, простынете, — услышала Инга.

Она поднялась, чуть обиженная. Даже в школьные годы ей никто из ее тогдашних мальчиков не предлагал первым идти домой.

— Спать пора, — совсем сухо произнес Лазарев. — Провожу вас, да и сам лягу.

И добавил погодя:

— Не следует нам с вами прогуливаться. Мне автомата не доверяют, не то что...

— Не понимаю, — сказала она, — не понимаю, что вы имеете в виду.

— Многое, — ответил он уже жестко. — Пришлют новость что. Думаете, не догадываюсь? Как в книжке прокаженный со звонком ходил: идет прокаженный. Так и я — был в плену...

— Да вы что? — почти с отчаянием произнесла она. — Вы не должны так думать. Так даже жить нельзя...

— А разве я думаю, будто можно? — горько ответил он...

И, быстро повернувшись, зашагал к себе в избу, не прощавшись, не сказав доброго слова, словно и правда ему не верили...

А утром прилетел в бригаду подполковник Петушков, чтобы советовать и помогать Ивану Егоровичу в его повседневной, будней, военной, многотрудной работе, и его, повышенного за данное время в звании, на лесном аэродроме ожидал старший лейтенант, имевший крайне замкнутый и подтянутый вид. Встречал и комбриг, с которым Иван Егорович несколько отвел душу в ожидании самолета, потому что и комбриг недолюбливал Петушкова, даже обмолвившись как-то про него, что есть некоторые, у которых на грош амуниции и на полтину амбиции.

Здесь для ясности всего хода нашего повествования непременно надлежит отметить, что время, о котором идет речь, было тяжелым не только в смысле жестокой и страшной войны с небывалым во всей истории человечества протяжением фронтов — от Баренцева до Черного моря, но еще и потому, что годы культа личности Сталина, с его подозрительностью к людям, породили особый и, к несчастью, распространенный характер службиста, словно бы не замечающего огромного и животворящего духовного подъема нашей воюющей страны, службиста отупелой души, такого, который даже в самом прекрасном и высоком подозревал лишь низменное и ничтожное, такое, которое следовало брать на подозрение, стращать и карать.

К этой породе подозрительных службистов относился и подполковник Петушков, стремительно возвышающийся в званиях. Красивенький, с вьющимися волосами и топким овалом лица, на котором всегда алел здоровый и

крепкий румянец хорошо питающегося и соблюдающего должный физический режим пресловутого гармонического человека, каким несомненно мнил себя недруг Ивана Егоровича и его, как говорится, полный антипод — Петушков.

Никто не знал, какая из бабок того лихой памяти начальства ворожила Петушкову, перед кем он двери раскрывал в меру предупредительно и кому с солидностью, но и с проворством подавал спичку закурить. Не известно и по сей день, на какую из бабок смотрел он преданнейшим взглядом, в котором можно было прочесть, что он и жизнью не дорожит во имя обожаемой им бабоньки, но несомненно, что какая-то ворожила, и под локоток вела, и учила — ходи, дитяtko, ножками, топай — топ-топ — смелее, взойдешь в сок и силу, дадим тебе большой ход, а пока что старайся поближе к фрицу, там бывай, где многотрудно, мы же тебе будем питательницы и никогда тебя не оставим...

Было это именно так, потому что не делу старался Петушков, а лишь себе, исключительно для себя с тем, чтобы это добытое им в партизанском краю добро красиво показать в столице бабушкам, пройтись перед ними окрепшими ножками и порадовать сообразительностью, ходкостью и даже осторожной храбростью, дабы представление к ордену, например, шло из партизанского штаба, а не от самих бабонек, как они тому, наверное, учили своего провористого внучонка.

Сам подполковник Петушков считал себя человеком образованным и рекомендовал «образовываться» даже партизанам, утверждая, что ежели человек захочет, то и здесь, в глухих, лесных условиях, найдет время «поработать над собой», так как время — фактор невозвратимый и молодость мозговых извилин никому еще не удавалось восстановить. Имея широкий круг интересов, Петушков

игрывал подгулявшим своим бабкам на щипковых инструментах и пел цыганские романсы, не без комизма вертя бедрами и плечами, знал кое-какие простецкие куплеты с забористыми словами и однажды по рассеянности заявился даже в лесной край с плоеными волосами, пшенично-золотистый цвет которых особо выигрывал, когда дамский мастер плоил их специальными щипцами. Были злые языки, которые перешептывались, что эта плойка не малую роль сыграла в истории возвышения Петушкова, ибо он был отмечен спутницей жизни одной из бабок именно благодаря этим мягким и шелковистым кудрям. Впрочем, чего только не врут злые языки на удачливых своих сотоварищях; наверное, из зависти, потому что ведь никто не спорит по поводу, например, начитанности Петушкова или того, что он часто имел по некоторым вопросам свое особое мнение. Так, Петушков не раз говорил, что гремевшее в ту пору стихотворение Симонова «Жди меня» или нежно любимое воевавшими людьми сурковское «А до смерти четыре шага» его лично, подполковника Петушкова, никак не устраивают и устроить не могут.

— Симонов ударился в мистику, — с усталой улыбкой на красивых и полных губах утверждал подполковник, — ведь это, товарищи, не стихи, а колдовство, заклинание. Нет, не наше это, не наше. Я и Косте это сам говорил, сказал ему, что не те струны он задевает, не те. И Алеше говорил — пораженчество это и ничто иное, ты уж меня прости, я тебе попросту, по-солдатски. Но разве они, писатели эти пресловутые, поверят солдатскому слову? У них круговая порука, за доброго дружка не пожалеют и сладкого пирожка. И не стесняются, так и печатают; например, «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины» посвящается А. А. Суркову. Какая уж критика в таких условиях, даже смешно...

Композитора Шостаковича подполковник Петушков некоторым образом признал за его знаменитую Ленинградскую симфонию, но, однако же, с оговорками, что-де Митя, разумеется, сделал шаг вперед, но формализм, конечно, не изжил и вряд ли изживет, потому что вышеупомянутый Шостакович все-таки «не наш».

— Нет, не наш он, — со вздохом говаривал Петушков, — и словами, дорогие товарищи, тут ничего не объяснишь. Чувствовать надо.

Очень многих знаменитых людей он называл по именам, утверждая, что они лично ему читают свои произведения и исполняют сочиненную ими музыку. Некоторые этим рассказам Петушкова верили, другие не совсем, третьи улыбались, разумеется отворотясь. Любил Петушков и баечку-сказочку вернуть, которую и не проверить, и опять-таки находились такие, которые верили, но случались и Локотковы — эти совсем не верили и даже не считали нужным выразить какое-либо одобрение или восхищение ловкостью начальства.

Иногда Петушков читал оперативникам продолжительные нотации, отмечая их промахи и ошибки. Случалось, и похваливал. Но получалось как-то странно: хвалил он за нестоящие пустяки, а бранил за настоящую работу.

— Разбирается! — с легкой иронией говорили про него некоторые подчиненные.

Бывали и такие, что возражали. Этих Петушков выслушивал, изобразив на лице саркастическое выражение и слегка приподняв одну бровь, как любил делывать один известный ему чин. Только лишь выслушивал. Но во время выслушивания было заметно, что Петушков не слушает.

Большинство же помалкивало. Возражать Петушкову по причине его близости к начальству и злопамятности

не всякий решался. Многие понимали, что суждена красивенькому товарищу Петушкову большая и широкая дорога, в которую он может и с собой прихватить, и оставить, и просто плечом на обочину спихнуть, да так, что и не выберешься из придорожной канавы.

С Иваном Егоровичем у Петушкова при первом же знакомстве сложились, что называется, нездоровые отношения. Произошло это потому, что Локотков к инструктажу деятеля, понятия не имеющего о партизанской жизни, отнесся холодно и несколько не угодливо и советы его, данные в форме лаконических приказов, не только не выполнил, но даже как-то совсем непочтительно улыбнулся. Советы и впрямь были не ахти, но улыбаться Локоткову, конечно, не следовало, особенно после случая с тем старостой, которого он чуть не упустил, чем, по словам Петушкова, «едва» не подверг полному разгрому своих партизан.

— На войне «едва» не считается, — возразил Иван Егорович.

Второе сражение у них было по поводу уже упомянутого нами уворованного доктора Павла Петровича Знаменского, с которым Петушков возжелал ознакомиться лично и который Петушкову не понравился тем, что в беседе он был «неспокоен», а главное, своими дворянскими анкетными данными. Дед Павла Петровича был царским генералом, отец царским штабс-капитаном, а дядя с материнской стороны проживал «за рубежом» с девятьсот девятого года. Все это навело Петушкова на некоторые размышления, проанализировав которые, товарищ Петушков пришел к выводу, что доктор Знаменский заслан в бригаду фашистской разведкой.

— Вот это да! — удивился Локотков.

— Что да?

— Сильно!

— Я вас не понимаю, товарищ старший лейтенант.

— Что же тут не понимать? Я весь здесь!

— Мне непонятен ваш тон!

— А разве есть у меня какой-нибудь тон? Верно, был дед генерал, так его немцы аж в четырнадцатом году убили. Был папаша штабс-капитан, артиллерист, тоже немцы в семнадцатом убили. А мамаша итальянского происхождения — итальянка, и брат ее, как в девятьсот девятом году в Италии родился меньшим в семействе, так, естественно, там и проживает.

Петушков попытался съязвить:

— Вы все так обо всех на память знаете?

— Нет, не все,— спокойно ответил Локотков.— Но многое знаю.

— И Знаменскому доверяете?

— Как себе.

— В наше время, когда родному отцу...— взвился было Петушков, но Иван Егорович не дал ему досказать. Посерев лицом, он шагнул к начальству и сказал так, что Петушков даже вжался спиной в сырую стену землянки:

— Вы моего батю не цепляйте, товарищ майор, убедительно попрошу. И вообще муть эту, насчет...

Не договорив, он вышел прочь и долго не возвращался, охлаждая себя в сырости осеннего бора и стараясь не думать те злые думы, которые против воли возникали в нем, когда его, свидетеля и участника поразительных человеческих подвигов, *принуждали* думать о людях низко и дурно.

Но все эти мелкие и даже сравнительно крупные стычки и сраженьица вполне можно было считать за цветочки. Ягодки поспели попозже, совсем незадолго до появления в бригаде Саши Лазарева с приведенным им «войском».

Тут случились такие обстоятельства, что в отсутствие Ивана Егоровича, но в присутствии тогда еще майора

Петушкова на бригаду и, как нарочно, на самого Петушкова с его приезжими спутниками вышли сдаваться четверо хорошо вооруженных красноармейцев, попавших в свое время в немецкий плен. Вышли они с листовками-пропусками, чин-чинарем, да и кое-какие довольно существенные разведанные тоже припасли. Сам Петушков вызвался их оформлять, а когда Иван Егорович вернулся из своей нелегкой рекогносцировки, сделалось так, что пришедшие с пропусками только «после длительного сопротивления были разоружены и сдались».

— Ишь ты! — удивился Локотков, выслушав от своего подчиненного Кукушкина повествование о событии. — И ты там был?

Кукушкин там, разумеется, не был.

— А кто ж был?

Были исключительно приезжие.

— Молодцы какие ребята, — сказал про них Локотков Кукушкину. — Это надо же с pistolетешками против автоматов. И гранаты у тех были?

— Обязательно были, — сказал Кукушкин. — По две на рыло.

Приезжие версию своего шефа не подтвердили. Петушков их даже в нее не посвятил. И тут Иван Егорович внезапно пришел в ярость. С ним это случалось редко, так редко, что он даже не понимал, что это с ним делается, когда метался он в черном, тихом, мокром лесу, постанывал и кряхтел не от физической боли, а от нравственных невыносимых страданий. Мы уже писали, что «во время испуга» Иван Егорович нисколько даже не менялся в своем поведении. Но во время испытываемых им нравственных мучений, во время того, что именуется муками совести, Локотков никогда совладать с собой не мог. Он даже ругался матерно, чего терпеть не мог, даже всхлипывал и все ходил в черноте осенней партизанской ночи, пока

совершенно не утерять силы и не повалился кулем на гниющий ствол старой березы, на которой и измок до нитки под глухим, ровным дождем, ничего не слыша и не чувствуя, а только страдая душой, «переживая», как он сам аттестовал это свое состояние впоследствии. Какие-то зверюшки фыркали в сырой ночной тьме, должно быть, не поделили меж собою харчишки, мертвые деревья странно светились молочным светом, Локотков все вздыхал и думал, у него ведь жена была и сыновья подрастали, куда как непросто насмерть схватиться с таким, как майор, а все ж, вздыхая, решил схватиться, опять-таки исходя из размышлений о том, что войне полезно, а что и вредно.

Поутру он сказал Петушкову:

— Тут без пол-литра не разберешься. Какое может быть оказано сопротивление, когда у них и пропуска и разведданные. Я проверил — все точно. Очень даже похоже на ту историю, что я вам докладывал, в районе Вологды случай имел место.

Произнеся все это, он подождал взрыва начальственного гнева, но Петушков молчал. И не известно было, о чем говорить дальше.

После большой и довольно неловкой паузы Локотков осведомился:

— Так как же быть-то?

И опять ответа не последовало. Подполковник лишь загадочно глядел на Ивана Егоровича. Загадочно и безгневно. И увидев этот многообещающий и даже ласковый взгляд, распознав вдруг его смысл, Локотков окончательно понял, в какую ужасающую нравственную бездну тянет его подполковник. Личный подвиг — вот что нужно было этому красавчику.

— К вопросу о доверии, — сипловато произнес Петушков. — Им вы верите, а мне не верите?

— К вопросу о доверии, — ответил Иван Егорович. — Я привык проверять. Если они сами пришли — одна вина, вам известно это не хуже, чем мне. А если их взяли силой — другая, совсем другая и наказание большое, это вам тоже известно. Что же касается несправедливости, то я ее никак не могу допустить, потому что пропуска кидает моя Советская власть, и я за ее обещания несу ответственность, будучи коммунистом.

— А я кто? — крикнул Петушков.

— Не знаю, — слегка помедлив, ответил Иван Егорович и вышел, сжегши за собой мосты и оставив Петушкова в бешенстве и томлении духа.

«Еще спрашивает, кто он! — со злобой думал Иван Егорович. — Еще ответа требует! Нормальный трус — вот кто он, так и надо было ему сказать, трус, дескать, ты, подполковник, и никто больше!»

Каково же было его изумление, когда увидел он не более как через час после этой самой беседы подполковника во время налета на Дворищи штурмовой авиации немцев, решивших в этот день покончить с партизанским гнездом и загнать остатки бригады обратно в болотный лагерь. Штурмовики шли волнами и делали решительно что хотели: и бомбы кидали — те, что повыше, и пулеметами обстреливали — те, что шли бреющим, и из пушек били. А подполковник Петушков стоял перед избой, пылающей багровым, лютым пламенем, и со спокойным любопытством глядел на уничтожение Дворищ, нисколько, видимо, не опасаясь за свою жизнь. В руке у него был зачем-то пистолет, но он про него, наверное, позабыл. Красивое лицо его даже не посерело в этом крошечном аду, волосы лежали ровными волнами, взор выражал лишь любопытство и более ничего. А когда двумя часами позже каратели двинулись на Дворищи, чтобы ликвидировать, как они думали, остатки бригады, тот же ненави-

стный Локоткову Петушков, разжившись снайперской винтовкой, занял себе позицию на старой густолистой липе и оттуда расчетливо, не торопясь, хладнокровно и умело поклевывал фрицев, едва кто высунется, а к надлежащему времени слез на выжженную боем землю и побежал вместе с партизанами Евтюшко кончать опрокинутых карателей. Здесь, в осиннике, заметил Иван Егорович лицо своего недруга и запечатлел его надолго, словно сфотографировал выражение спокойного, злобного азарта и закушенную губу.

К ночи, когда все совсем стихло, даже пожары догорели и лишь смрадный дым напоминал о тяжком дне, они оба столкнулись возле кухни. «И зачем тебе жить бабкиным внуком? — подумал Иван Егорович. — Ведь человек бы мог из тебя произойти?» Но человек, конечно, из Петушкова не получался. И здесь, где не так и не такой поднесли ему борщ, заорал он на повара, и здесь дал понять, с кем они имеют дело, и здесь потребовал немедленного и строгого наказания виновных...

С тяжелым чувством душевной сумятицы Иван Егорович сел покурить возле колодца, у которого умывались еще недавно вышедшие из боя партизаны. Тут услышал он разговор о Саше Лазареве, который, вооружившись трехлинейной винтовкой, ввязался-таки в бой и теперь располагал уже двумя немецкими автоматами и несчетным количеством дисков, которые все перепрятывал в темноте, видимо не надеясь на регулярное снабжение в будущем.

— Как та собака костку перепрятывает, — со смешком услышал Локотков густой голос пулеметчика Хозрякова. — Заметит, что видим, другую яму копает.

Другой, незнакомый голос отозвался:

— Он еще гранат себе набрал — будь здоров, не кашляй. В грибной корзине таскал.

Попозже Иван Егорович провел краткое расследование. Саша во всем повинился, а про гранаты сказал, что да, было такое дело, имеется теперь резерв, лично ему принадлежащий, и что делиться ни с кем он не намерен, потому что немецкую фуру с боезапасом нашел он, а никто другой, и тайник покажет только в случае решительного приказа товарища Локоткова.

Ивану Егоровичу стало смешно, а Лазарев, и в темноте разобравшись в выражении лица Локоткова, испросил разрешения быть свободным, и тотчас же в горьком, дымном, душном воздухе Иван Егорович услышал его пение:

Не гулял с кистенем я в дремучем лесу,  
Не лежал я во рву в непроглядную ночь,—  
Я свой век загубил за девицу-красу,  
За девицу-красу, за дворянскую дочь...

Уже совсем ночью, направляясь к землянке, в которой содержались давеча перешедшие от немцев четыре солдата, Иван Егорович увидел Ингу. Измученная работой, она маялась во тьме возле партизанского госпиталя, курила козью ножку на крыльце и переговаривалась с таким же измученным Знаменским.

— Отдыхаете? — осведомился Локотков.

— Святу месту не быть пусту, — ответил гудящим басом доктор. — Еще утром радовались: опустели наши так называемые палаты. А сейчас только пошабашили. Посиди с нами, Иван Егорович.

— Я-то не пошабашил, — ответил Локотков.

Инга пошла его проводить. Когда случалась надобность, она работала при Знаменском медицинской сестрой и делала свою долю труда так ловко и старательно, что партизанский доктор не раз сердито советовал ей бросать романский факультет и идти на медицинский. Она не отвечала.

— Почему молчишь? — спросил Иван Егорович по-  
года. — Ведь знаю, для чего пошла.

— Нельзя ему больше не доверять! — твердо сказала  
Инга. — Вы ведь не знаете, как он нынче воевал. О нем  
только и говорят...

— А почему ты думаешь, что я ему не доверяю? —  
вдруг грустно и устало произнес Локотков. — Почему  
в твою голову не может прийти, что я ему как раз на-  
столько доверяю, что именно потому и не даю разрешения  
в бой лезть? Ты же чекистка, неужто сообразить сама  
не можешь?

Разумеется, этого не следовало говорить, но усталость  
от сегодняшнего дня взяла свое. Да и доверял он Инге,  
понимал, что, несмотря на трудный ее характер, лишнего  
она не скажет. Не проболтается никому, никогда...

— Но он-то этого не знает?

— Пока не знает. И надеюсь, от тебя не узнает. А со  
временем поймет.

Инга остановилась и сжала горячими пальцами за-  
пястье Локоткова.

— Иван Егорович, скажите ему хоть слово. Намек-  
ните. Он на смерть лезет, на рожон. Его случайно сегодня  
не убили, совершенно случайно.

— Ладно, — ответил он голосом того киногобу-  
крата. — Продумаю вопрос. Не враз Москва строилась...

Инга еще что-то хотела сказать, но он не стал слу-  
шать, ушел. Всю ночь побеседовал Иван Егорович в душ-  
ной землянке порознь со всей четверкой. Были это ре-  
бята, разумеется, далеко не такие, за которых можно  
душу отдать, но правда есть правда и закон есть закон,  
конец войны еще и не виделся за серыми тучами и  
смордными пожарищами, за бомбежками и артобстре-  
лами, все четверо на немцев были злы до остервенелости,  
нагляделись и нахлебались лиха предельно и, разумеется,

могли еще крепко повоевать, может и не до полного искупления своей тягчайшей вины, но с пользой военным операциям, проводимым бригадой, еще и учитывая то обстоятельство, что вся четверка основательно знала и немецкие военные ухватки, и здешние гарнизоны, и многое другое бесполезное в ведении войны. Короче говоря, этапировать их в тыл для суда над ними и последующего тюремного заключения было бы без пользы для дела, и именно это и следовало из документа, который, измученный идиотской этой передерягой, в конце концов и составил Иван Егорович.

Крепко выспавшись, хоть сон и был коротким, Иван Егорович зашагал к комбригу, который срочно вызвал его по неотложному делу. Погорев во время налета, комбриг вновь спустился с высот своего мезонина в прохладную землянку, в которой Локотков предполагал встретиться со своим недругом Петушковым, но вдруг оказался перед лицом человека, которого сразу и не узнал от неожиданности, а когда разглядел, то даже охнул и, нарушая всякую субординацию, сдал старика такими железными объятиями, что комбриг предупредил:

— Осторожнее бы, товарищ Локотков!

— Вы полегче, — чуть картавя и тенорком сказал неожиданный гость, — я в годах и не так чтобы очень здоров...

— Это ж с ума надо сойти, — сказал Локотков. — Мы ж вас давно захоронили, товарищ Ряхичев...

— Большевистский бог небось тоже есть, — со своей особой, совершенно не изменившейся улыбкой ответил Виктор Аркадьевич, — видите, жив и даже более или менее здоров, настолько, что признан годным к несению военной службы. Полковника получил...

И с милой гордостью он пошевелил узким плечом.

— Кто же вы теперь?

— А кем же мне быть, как не чекистом?

— После всего?

— После всего чего? — насторожился Ряхичев. — Или вы верили?

Глаза их встретились — режущий, сильный и острый взгляд Виктора Аркадьевича и смущенный Локоткова.

— Впрочем, были моменты, когда мне и самому казалось, что я враг Советской власти, — без улыбки, серьезно промолвил Ряхичев. — Убедительный у меня был следователь.

— Наговорили на себя?

— Нисколько даже. На досуге сомневался. И только чувство юмора спасло. Впрочем, об этом мы, Ваня, успеем. Побеседуем на досуге. История, которую не прочитаешь в «Мире приключений». Ничего не слышал?

— Где же нам в лесу слышать?

— Пню молитесь? Ладно, товарищ Локотков, не приbedняйтесь. Я тут уже беседовал с вашим комбригом, он высокого мнения о вашей деятельности...

— А с Петушковым вы еще не беседовали? — осведомился Иван Егорович с невеселой усмешкой. — Он вам не докладывал?

— Сбивчиво докладывал. Недоразумение какое-то разъяснял. Чего-то он недопонял, ошибку допустил.

Иван Егорович вынул из кармана свою докладную и протянул ее Ряхичеву.

— Может, выйдем? — спросил он. — Посидим на кислороде, а то тут и темно, и душно.

Вышли, сели на поваленный ствол сосны. Виктор Аркадьевич оседлал крупный нос старыми очками, видимо, уже отработавшими свой срок; читал Ряхичев на «всю руку» — держал бумагу от себя далеко. Локотков к нему присматривался: очень изменился бывший его учитель

или не очень? Решил, что постарел, но не слишком, войну вполне сдюжает, такие сухие телом старики лет до семидесяти вполне при полной нагрузке могут действовать.

— Так! — сказал он, дочитав. — Понятно мне, что осознал Петушков свою ошибку. Моя биография ему до некоторой степени известна и понимает он, что у меня пройти может, а что и не может. Закурите, Ваня, папиросу!

И Ряхичев раскрыл перед Локотковым нарядную коробку «Герцеговины флор».

— Сталин их курит! — почтительно сказал Иван Егорович.

— А я не знаю, что Сталин курит, — со странным выражением ответил полковник. — Никакого даже понятия не имею.

Некоторое время они молча покурили. Восточнее Дворищ, там, откуда вчера пришли каратели, затрещали автоматы. Локотков прислушался. Потом все смолкло. Пробежал кучерявый партизан, крикнул восторженно:

— Хлопцы, давайте ходом! Шебалковские дураки вместо фрицев лося убили, свежуют...

Ряхичев тихо улыбался.

— Часто такое?

— Случается.

— Особая у вас жизнь, ни на что не похожая. И разговоры, послушаешь, как у Майн-Рида. Например, «доживем до черной тропы». Это как понять?

— Означает: после осени зима, а там весна — черная тропа, — нравоучительно пояснил Локотков и смутился, что так разговаривает со своим учителем. — Вы разве впервой у партизан?

— Первый раз, — ответил Ряхичев, — для меня ведь война по-особому сложилась...

В молодом березнячке, за землянкой комбрига, молодые голоса жалостно пели:

Ты ж моя, ты ж моя  
Перепелочка...

— Глухомань! — передернув узкими плечами, произнес Виктор Аркадьевич.

— Сейчас что, сейчас цивилизация, — похвастался Локотков, — а вот раньше бы посмотрели, в сорок втором. Именно медвежий лагерь был.

— Это в каком же смысле?

— А в самом наипрямом. Первую свою базу выбрали мы по медвежьим следам, это точно так и было. Знают охотники, что медведь отроет себе берлогу в чащобе, чем глуше — тем ему лучше. Его не обманешь, медведя. Вот на берлогу и сориентировались. Так и называлась база — медвежья. Что касается до нынешней жизни, то теперь и самолеты к нам ходят, и связь у нас с Большой землей регулярная, и народищу — к трем тысячам приближаемся, и кроме главной базы еще три лагеря. Теперь немцу хуже. Он коммуникациями силен, так ведь и мы не спим. По существу, вся Псковщина под нами, его только ниточки, как на карте дороги, да города с гарнизонами. И не известно еще, кто кого гоняет: он нас или мы его. Бывает, Виктор Аркадьевич, что он от нас вроде бы в крепости сидит, а мы осаждающие. Бывает, как вчера, сунется большими силами, ну а мы теперь поднаучились, его и зажали в клещи. Не он нас в результате, а мы его.

— Почему такая внезапность? У вас тут никто не сидит из его агентуры? Из бежавших военнопленных, из...

— Много, — ответил Локотков, — не один, не два, не три. Искупают, и даже неплохо искупают, Виктор Аркадьевич...

— Не увлекаешься?

— Это не подполковник ли Петушков вам сигнализировал насчет моих увлечений?

Ряхичев промолчал.

— Думал, еще не виделись,— сказал Локотков,— но только наш пострел везде поспел. И зачем он все с черного хода толкается, мог бы и через парадное.

— А мог бы?

— Видел его вчера в бою. Верите ли, Виктор Аркадьевич, залюбовался. А у нас война не легкая.

— Бывает,— с коротким вздохом произнес полковник.— Я такие случаи не раз видел. В бою — орел, даже и помощнее, а встанет перед начальством или вообще в трудные обстоятельства попадет — и не то что орел, а даже и не курица. Бывает, к сожалению, чаще, чем мы думаем. Мне приходилось воочию с такими орлами-курами встречаться, один эдакий меня и посадил...

— Я же совершенно ничего не знаю,— сказал Локотков.— Исчезли вы тогда, и все. Было нам, курсантам, сказано: разоблачен как враг народа...

— Точно, разоблачили,— с невеселой улыбкой ответил полковник,— состряпали дельце, погоняли по камерам, все номера запомнил на всю жизнь.

И, не торопясь, раздумывая, глядя вдаль, в туманчик, Ряхичев рассказал о своей жизни в эти годы. После ареста, следствия и того, что он назвал «комедией суда», его отправили отбывать заключение, а когда в начале войны заключенных лагеря этапировали на восток, Виктору Аркадьевичу чудом удалось бежать. Кое-какие липовые документишки ему сварганили, с этими справочками и отправился он в военкомат.

— В качестве кого? — спросил Локотков.

— Красноармейца,— спокойно ответил Ряхичев.— Ну, а дальше пошло в соответствии с нехитрыми законами войны. Человек я смекалистый, огня в гражданскую еще

похлебал, на нервы никогда не жаловался, произвели в старшины, дали первый орден, и стали мои ребята называть меня папашей... Хворостова, кстати, не помните?

— Сергея? А жив он?

— Живой-здоровый. Так вот, вышли мы в Карелии из боя, в сорок втором было, в марте, все тогда высоты брали, ну и мы как раз взяли. Хоть и холодно было, но сильно запарились, кто живым остался. Переобучаюсь в немецком окопе, чуть не на голову мне Хворостов. Капитан, веселый, выбритый, он всегда щеголем был, Сергей-то. Я, разумеется, отворотился, но он меня опознал. «Неужели?» — спрашивает. Ну что мне отвечать? Я, дескать, не я? Куда денешься? Все ему и рассказал, попросил только: не лишайте возможности воевать. Он меня в контрразведку. Все докладывает своему начальству, а у самого слезы из глаз — горохом. Вообще, чувствительная произошла сцена. Рассказал мою биографию: он-де из числа ветеранов-чекистов, его Дзержинский хорошо знал по делу Поля Дюкса (помните, я вам докладывал на занятиях?), вспомнил приключения мои с Борисом Савиновым, Лациса вспомнил и все такое прочее. Чтобы антимонию не разводить, оставили меня при контрразведке. Языки-то я знаю, немецкий получше других. Вначале переводчиком. Народ у них подобрался стоящий, культурный, интересно работали, с выдумкой, с горячностью. Ну и начальник — мужик бесстрашный. Поверил мне абсолютно, доложил командующему все как есть, тот меня к себе пригласил...

Сухое лицо Ряхичева на мгновение исказилось, но он взял себя в руки, заговорил совсем короткими фразами, твердо, жестко:

— Командующий, оказывается, того же лиха, что и я, хлебал в ту же пору. Спросил меня, что я, как чекист, думаю. Я ответил: работа зарубежных специальных орга-

нов по истреблению наших кадров. Я и сейчас так думаю. Мы же их сведениям, на их радость, поверили. А своим людям в доверии отказали. На том и теперь стою. Пойдем отсюда, Ваня, что-то холодно, мерзнут старые кости!

Он поднялся — сухой, стройный, высокий, с серебряными висками, поежился, потом вздохнул:

— А жена у меня умерла. Теперь один на свете. И, знаете, странно как: думаю, отвоюемся, пойдет народ по домам, а где мой дом?

— Ко мне приедете, — сказал Локотков, — создадим вам условия.

День выдался не по-летнему холодный, даже мозглый. И запах пожарища не унимался, в сырости стал еще острее, горше. Но партизаны спозаранку повезли лес, строить: баньку, кухню получше, избу девчатам-партизанкам. И опять услышал Иван Егорович голос Саши Лазарева:

Вы скажите там матери милой,  
Вы скажите жене молодой,  
Что я жертвовал жизнью и силой  
В честь Отчизны своей дорогой,  
У меня от начальства отметки,  
Что со страхом я не был знаком,  
Что врагов я колол пулей меткой,  
Еще больше колол их штыком...

Ряхичев слушал улыбаясь, потом спросил:

— Кто певун?

— Лазарев. Я вам про него доложу в подробностях...

В землянке комбриг напоил их чаем с вонючим трофейным ромом. Виктор Аркадьевич выслушал историю Лазарева, потом замыслил Ивана Егоровича насчет разведывательно-диверсионной школы в Печках. Комбриг ушел провожать группу подрывников, разбираться в том, кто «сундучит» аммонит. Начинались дни знаменитой впоследствии «рельсовой войны».

— Откуда такие подробные сведения? — даже удивился Ряхичев.

— У меня туда свои люди посланы. В Печках толковый человек — у него и с курсантами знакомства, и с преподавателями. В Ассари, возле Риги, наборщик, литературу для немцев набирает, бланки для «Цепелина», замечательный человек, только на язык неводержан. Так разрешите продолжать?

Ряхичев кивнул, вновь закуривая:

— У них как дело поставлено? Вот, допустим, днем... такой есть у них педагог — Штримутка, так этот Штримутка скажет какому-нибудь курсанту наедине провокацию, допустим: «Наши дела идут на фронтах плохо». А ночью курсанта будят ударом нагайки по лицу. «Что тебе сказал Штримутка?» Курсант: «Ничего». Его опять нагайкой, сапогом под ребро, палкой, чем придется. Это они волю испытывают. Так вот мой парень в Печках о многом наслышан, и практика подтверждает, что они тренируют только физически. О моральной стороне дела не беспокоятся. У них главное — легенду на зубок знать, а практика моя подтверждает, что на выученной легенде далеко не уедешь. Если человек честный, он даже в правде на допросе нервничает, сбивается, а эти — как таблицу умножения. Все точно из кирпичиков выстроено, только если один кирпич вышибешь, постройка и рухнет. И никакого воображения у них нет, это точно, Виктор Аркадьевич, извините за такое слово — воображение, но иначе не скажешь. Как часы штампуют, так свою агентуру. Стандарт! И еще не понимают, что если наш человек в их так называемом тылу работает, то ему сочувствуют в сто раз больше людей, чем тамошних немцев, а если их агент у нас, то все против него. Их ловить и избличать нетрудно, если по-умному, а наших им очень трудно, если опять-таки наши по-умному действуют...

Он свернул своего табаку, сильно затанулся, потом сказал:

— Разведчик должен быть прежде всего человеком одаренным и инициативным, так я считаю. Это не аппарат фотографический, это голова с умом. Вот потому Лазарев для меня кандидатура подходящая. Он сам думает, а не только исполняет, чего велено. Вот глядите, карту он для меня вычертил, здесь уже. Это, конечно, я ему такое задание измыслил тут, чтобы в бой его не пускать, да не углядел, вчера показал он свои данные, а карта с мыслью сделана, даже с талантливой мыслью...

Вытащив из планшетки Сашино не законченное еще произведение, он разложил его перед полковником.

— Ладно, давайте сюда вашего Лазарева, — решил Виктор Аркадьевич. — Побеседуем, посмотрим. Вы так рассказали, что мне даже интересно стало, какой это такой мировой разведчик...

Лазарев явился тотчас же, выбритый, в начищенных чем-то чрезвычайно едким и вонючим сапогах, в немецкой пилотке, лихо посаженной на голову. Козырнул небрежно, обдал старого чекиста дерзким взглядом, сел чуть-чуть вольнее, чем ему бы следовало. Локотков следил за ним тревожным взглядом, как бы уговаривая: «Не куражься, дурак. Жизнь твоя решается, слышишь?»

Во всем остальном разговор пошел как надо. Лазаревские разведданные появились на столе во всем своем четком великолепии. Отвечал бывший младший лейтенант на вопросы сдержанно, ни в чем не запутался, дерзкое выражение глаз сменилось восторженным: Ряхичев и не таких зеленых умел покорять силой своей воли, веселыми огоньками в зрачках, внезапными смешными фразами, вдруг ласковой, доверительной интонацией.

— Так как? — осведомился Локотков, когда Лазарев ушел.

— Можно! — поднимаясь с лавки, ответил Ряхичев. — Вполне можно.

— Вы серьезно?

— В таких делах не шутят.

— А если...

— По всей строгости законов военного времени, — с медленной усмешкой произнес Виктор Аркадьевич. — Если предаст, будем отвечать вдвоем. Согласны?

Собеседование они не закончили, за Локотковым прибежал парень с красивой фамилией Златоустов: возле Больших Камней задержаны трое, что за люди, понять нельзя, документы вроде и настоящие, но вводят в сомнение. Похоже, что трое ждут еще кого-то; вообще, Птуха наказывал передать, что без товарища Локоткова ни за что поручиться не может.

— Ладно, идите, — сказал Ряхичев, — а с задержанными я побеседую пока что. У вас мнение положительное?

— Надеюсь, искупят, — довольно сердито ответил Иван Егорович. — А нет — застрелим, у нас ребята такие, разбираются. Верно говорю, Златоустов?

— Стараемся, — сдержанно ответил Златоустов...

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

**Б**ородатый Птуха соскучился ждать на хуторе Большие Камни и очень обрадовался тому, что прибыл сам Иван Егорович. Часам к двум дождливого, хмурого и ветреного дня Локотков уже беседовал с неким солдатом, по фамилии Ионов, и с двумя кротчайшего вида мужичками. Документы незнакомцев Иван Егорович разложил перед собой на просаленной хуторянами в довоен-

ное время столешнице, единственного уцелевшего во всей постройке, хоть и обгорелого, стола. Ни стекол тут не было, ни дверей, ни живых хозяйских душ, разумеется. И въедливо пахло жирной сажой, еще с октября прошлого года, когда, вышибленные партизанами, уходили отсюда фрицы.

— Поджидаете еще кого, господин Ионов? — зевая, спросил Локотков.

— Кого же нам поджидать? — угрюмо осведомился солдат.

— Мало ли...

— Мы к вам пришли, чтобы в ваших рядах...

— Для чего же костры на лужку разложили? В избе вот и печка не разрушена, могли вполне кушанье согреть на загнетке. Почему не устроились так, а враз несколько костров разложили?

— Согревались.

— Каждый у своего костра? Да и ночь-то была теплая.

И красноармейская книжка, и паспорта, и удостоверение — все было художественно исполнено типолитографией «Цеппелина», это Локотков по известным ему признакам распознал сразу и беседовал лишь для того, чтобы отдохнуть после утомительной ходьбы по топям и болотам.

Все трое схваченных были ребята сытые, упитанные, видать, в шпике и яйках с млеком себе не отказывали, при них локотковцы нашли денег семьдесят с лишком тысяч, наган и два коровинских пистолета. Наверное, было еще кое-что интересное, но для этого надо было кропотливо вспарывать одежду, сапоги, трясти исподнее, а Иван Егорович устал, сердился и лениво поигрывал с человеком, который выдавал себя за красноармейца по фамилии Ионов. Фотография в красноармейской книжке была исполнена на немецкой фотобумаге. Локотков давно знал, что немцы сулят «золотые горы и реки, полные вина» тому, кто им доставит русскую фотобумагу, и, кроме того, Ионova

сфотографировали с прической, а не стриженного, что тоже было характерной для фрицев ошибкой. И паспорта имели в себе постоянную и педантическую немецкую ошибку, ошибку, из-за которой фашисты потеряли сотни своих дорогостоящих агентов. Разглядывая документы, Иван Егорович улыбался, вспоминая почему-то знаменитое толстовское из «Война и мира»: «Айне колонне марширен».

Когда выходили из избы, Ионов пошел первым. Ноги его держали поначалу плохо, но потом он расшагался и шел не оглядываясь, только головой покручивал по сторонам, но вдруг, сообразив, что терять ему нечего и ожидает его лишь расстрел, извернувшись, сиганул в сторону, в густой лесок, и запетлял, словно слыша за спиной, как поднимается рука Локоткова с тяжелым трофейным пистолетом.

Мужички обмерли, когда увидели, как с ходу ткнулся лицом в желтый мох их начальник, господин Ионов. Иван Егорович выстрелил только раз, хлопцы автоматов и не подняли, они могли ошибиться и убить вражину, а Локотков стрелял не ошибаясь, кончить вражину каждый военный способен, а вот задержать выстрелом — это дело похитрее, и тут нужна верная рука Ивана Егоровича...

Пока шли к Ионову, он не двигался, а когда подошли близко, вывернул шею и сказал почти спокойно, словно торгуясь на базаре:

— Если добивать не станете, все расскажу. А я много знаю, право, очень даже много.

Пришлось волочить Ионова на себе. До расположения бригады тащились долго, и Локоткову было беспокойно, словно чувствовал то недоброе, что там за это время делалось.

А произошло там вот что: при всей своей вежливой деликатности Виктор Аркадьевич в работе был до чрезвычайности крут, особенно же в тех вопросах, которые с омер-

зением и гадливостью определял для себя емким понятием — шкурничество. Справедливо предположив про себя в истории с «бабкиным внуком» Петушковым именно эти понятия — шкурнические, то есть не ошибку и не завиральность, которая в молодости с кем не случается, а лишь желание «получить на грудь», для чего Петушков не погнушался сфабриковать дело, полковник Ряхичев вызвал товарища Петушкова и так по нем дал в землянке комбрига, что полностью очнулся, лишь увидев непривычно белое лицо с трясущейся челюстью. Разумеется, Виктор Аркадьевич не сказал ни единого непристойного или даже грубого слова, эти способы воздействия он презирал и ими брезговал, он даже и голоса не повысил, а только, что называется, вскрыл перед подполковником те мотивы, которые руководили его действиями, и дал Петушкову понять, что не погнушается и не поленится эту же картину изобразить там, где никакие бабки никаким внукам не помогут, ежели Петушков навсегда не забудет эти свои «штуки». Стоя перед полковником по команде «смирно» (а так он уже давно ни перед кем не стаивал), Петушков клятвенно заверил картавого и седого шефа, что подобная ошибка более не повторится, но тут же дал понять Ряхичеву, что если бы не склочный характер Локоткова, то вообще ничего бы не было, а именно Локотков издавна терпеть не может его, подполковника, и потому простую ошибку возвел чуть ли не в аморальный поступок...

— Между прочим, товарищ Петушков, — сдерживая голос, произнес Ряхичев, — между прочим, не могу вам не сообщить, что именно товарищ Локотков рассказал мне о вашем блестящем поведении во время вчерашнего боя. Именно он, а не кто иной, с радостью, повторяю, с радостью, более того, с удивлением, во всех подробностях рассказал мне и про то, как вы с дерева мастерски били, как вы в бой рванулись. Именно он, понимаете?

Петушков слегка порозовел.

— Очень ему признателен, — сказал он иронически.

И именно эта ироническая интонация вдруг совсем взбесила Ряхичева.

— И оба мы с ним, откровенно вам скажу, — совсем тихим от гнева голосом произнес полковник, — оба мы удивлялись, зачем вам в жизни обходные пути, когда можете вы шагать напрямик. Можете! Способны! Зачем же эти хитрости, которые до добра никогда не доводят? Ясно вам? Ну, а теперь идите, я немножко передохну...

Петушков отбыл.

И надо же было так случиться, что в землянку, где ужинал в одиночестве взбешенный и угнетенный всеми последними событиями, а главное, своей опрометчивостью Петушков, явился вдруг Лазарев. Да еще и не один, а с Ингой, про которую Петушкову было известно, что она работает тоже в особом отделе.

За прошедшее время, особенно за последние сутки, Лазарев совсем повеселел. Видимо, догадывался, что Локотков, поверив ему, успел и проверить, если не по всей чекистской форме, то уж зато по всему подлинному чекистскому существу и по совести. Этому порукой был тот факт, что его трофейный автомат (правда один, а не оба) остался у него. А это для Лазарева было не фактом, а целым событием. Наверное, потому дерзкий взгляд его смягчился, глубокие глаза вдруг стали смотреть по-мальчишески ясно и доверчиво, губы сами улыбались.

Не разглядев со света в сумерках землянки, какова перед ним ужинает персона, бывший лейтенант спросил Ивана Егоровича и уже хотел было уйти, но подполковник его остановил и раздраженно выговорил ему за неуместность имени и отчества вместо воинского звания и за то, что он не обратился к подполковнику с соответственным приветствием.

Лазарев ответил кротко:

— Виноват, товарищ подполковник.

— Я вам не товарищ! — рывкнул обозленный Петушков.

Он уже, разумеется, догадался, кто был перед ним, не раз слышал эту фамилию за вчерашний день.

И решил навести свой порядок, отомстив этим способом непоклончивому Локоткову. Что-что, а тут его рука — владыка, с этими либеральностями он покончит немедленно и навсегда. Изменник есть изменник, а он, Петушков, им не потатчик!

Оба собеседника побелели. И тот, который приказал немедленно Лазарева заключить под стражу, и тот, которого увели два суровых, ко всему приобвыкших партизана. Так, ничего решительно не понявший в сложной душевной жизни Лазарева, тугоухий к человековедению, красавец Петушков едва не сорвал весь замечательный план Локоткова.

Но Инга не ушла. Инга осталась.

— У вас что? — спросил Петушков, уже с сожалением понимая, что малость переборщил. — Вы по какому вопросу?

Шанина молчала.

— Вы ко мне? — ясно понимая, что она вовсе не к нему, осведомился подполковник.

И тогда она спросила совсем тихим, едва слышным голосом:

— Зачем вы это сделали?

— А затем, — начал объяснять он ей и тут же понял, что этой беседой ставит себя в нелепое положение. — Короче, идите, — сказал Петушков, — не ваше это дело. Впрочем, — смутно догадываясь об отношении Инги к Лазареву, остановил он ее, — впрочем, если вы, работая совместно с Локотковым, позволяете себе заводить шашни с...

Но договорить ему не удалось.

— Знаете что,— сказала Инга Шанина отдельно, негромко и внятно,— знаете что?..

Он вдруг совсем растерялся:

— Ну, что?

— Ничего,— сказала она,— просто очень стыдно. Стыдно, и все тут. А если вам не стыдно, то вас выгонят. Не завтра, так послезавтра. Потому что это не может быть.

И, повернувшись, она ушла.

А ему не было стыдно. Он только совсем испугался, что опять сделал глупость, опять все себе испортил, хотя мог же идти иной дорогой — прямой, как выразилась эта старая песочница. Но ведь разве одной прямой дойдешь куда надо? Разве так бывает?

Партизаны же к этому времени привели Лазарева в землянку-узилище и сдали, соответственно, караульному парнишке. Наступил вечер, дождь по-прежнему моросил нескончаемо. Караульный расхаживал над головой Лазарева, пел-свистал частушки.

Лазарев, не привыкший унывать, вздохнул раз, другой, поразмыслил и, представив себе всю картину полностью, что называется, вдруг сдал. Показалось ему все его дело так, что милый Сашиному сердцу Иван Егорович смещен и выгнан из-за того седого полковника, который только с виду казался добродушным, а по самой сути он и есть главная змея. Он, конечно, Лазареву не поверил ни в чем, счел его засланным, рассказ о побеге и всем прочем — легендой и за доверчивость приказал Локоткова наказать. Сашу же изолировать до времени этапирования в тыл, где его будут судить трибуналом, как офицера-изменника. Вот как искаженно представились Лазареву все имевшие место происшествия.

Пуще же всего страшило Лазарева молчание Инги. В измученном мозгу его внезапно созрело мнение, что Инге

поручили доставить Лазарева к подполковнику с тем, чтобы тот арестовал его, засадил в землянку-тюрьму, что она знала все наперед и именно потому ничему не удивилась и слова ему не сказала на прощание...

От этой мысли ему стало совсем худо и страшно, и, когда это все вместе у него окончательно сложилось и определилось, он решил немедленно своей смертью доказать им всем то, что уже никогда не сможет доказать подвигом, о котором так долго и так горячо мечтал.

Карандашик у него был, истертый кусок записной книжки тоже. Зная, что его тело обыщут впоследствии, он сел на корточки, слизнул языком вдруг выкатившуюся слезу и стал писать в книжке о доверии, без которого никакой, даже провинившийся, человек жить не может. Написал он и про Локоткова, чтобы того вдруг не обвинили в том, что Лазарев своей смертью его, Ивана Егоровича, грехи покрывает, написал в том смысле, что и Локотков ему не доверял, никто не поверил Лазареву, так получилось по его записке. Ингу же он не помянул вовсе, и не потому, что забыл ее, разумеется не забыл, а только потому, что слишком дорого обошлось ему ее нынешнее молчание, ругаться же на пороге смерти Лазареву не хотелось.

Отдохнув малость от своего прощания с жизнью, Саша ловкими, все умеющими руками смастерил из немецкого узкого ремешка петлю, примерил ее на шею и затаился от часового, который, спасаясь от внезапного ливня, вошел в землянку и сел на ступеньку сверху так, что были видны только его разбитые чоботы, подвязанные телеграфной проволокой.

Время шло — Саша ждал.

В землянке часовой петь стеснялся, теперь он, разумеется, должен был заснуть. Так и случилось. Нога юного часового соскользнула со ступеньки, румынская винтовка

съехала набок, караульный стал посвистывать носом. Под этот посвист и посапывание, под ровный, неумолчный шум ливня Саша Лазарев и повесился.

Но сделал это он недостаточно аккуратно. Тонкое бревно наката, которое еще и немцам служило, оказалось гнилым, под тяжестью Сашиного тела оно у стенки рассыпалось в труху, и Лазарев грянул спиной оземь. Упала скамья, за которую Лазарев схватился рукой, часовой прохватился от легкого сна и при свете каганца увидел своего заключенного, который, отряхиваясь и трясая головой, вновь прилаживал петлю.

— Ты это что? — спросил караульщик, скатываясь вниз.

— Уйди! — просипел Лазарев.

— Нет, ты что? — уже совсем обеспокоился часовой. — Ты как это так делаешь? Это не положено!

Лазарев караульщика отпихнул.

Они схватились драться.

Лазарев, который, конечно, был куда сильнее и ловчее своего часового, без всяких усилий выкрутил у него из рук винтовку румынского происхождения, и быть бы большой беде, если бы Саша не разглядел, что караульщиком ему был назначен мальчонка лет никак не более пятнадцати.

— Забирай свое вооружение и катись от меня, — велел Лазарев. — Слышишь, вались!

— А ты еще вешаться станешь? — размазывая по лицу слезы и сопли, сказал парнишка. — Вот я как стрельну сейчас, как сделаю тревогу на весь лагерь...

— Вались! — истерическим голосом крикнул Лазарев.

Повеситься он не смог, потому что немецкий ремешок из эрзац-кожи после первой попытки начал рваться, да и караульщик сменился, теперь пришел ражий детина, который сразу же своего заключенного предупредил:

— Я в курсе. И чтобы был порядочек.

Потом посоветовал:

— Ты, кум, зря в бутылку лезешь. Мало ли случаев бывает. Моя автобиография тоже жуткая, если вдуматься: опоздал на работу — заимел судимость. С судимостью приехал к тетке в Ленинград, вторую довели за нарушение паспортного режима. Две судимости — социально чуждый элемент. А комбриг не погнушался, вручили винтовку. Воевал небезуспешно, правительственную награду имею — орден Красной Звезды. И еще представлен. Войну закончим, тогда побеседуем, чуждый я социально или социально не чуждый...

Лазарев почти не слушал, дремал, привалившись к сырой стене, все ему было теперь все равно.

А Инга в это время ждала Локоткова. Она совсем промокла, промокла насквозь под этим ливнем, но именно она, а не кто другой, должна была предупредить Ивана Егоровича обо всем случившемся. Она все видела и все знала, и Локотков должен был знать всю правду не от подполковника, а от нее. Ведь шли они к Ивану Егоровичу затем, чтобы он принял от Сашы его тайник с гранатами, Инга убедила Сашу, что он кулак и по-кулацки заховал свои трофеи. И вот что из этого вышло...

Наконец, уже ночью, когда дождь прошел и небо вывездило, явился Иван Егорович со своими ведомыми и с теми, кого они там задержали на хуторе. Один стонал и жалостно охал, наверное раненный, его потащили в госпиталь, к Знаменскому. Двое других Инге почтительно отковыряли.

— Ну, чего тебе ночью потребовалось? — спросил Локотков.

Она доложила ему все с подробностями.

— Да ты что? — даже отшатнулся он от нее. — Как это взяли под стражу?

— Разве непонятно я рассказала? — спросила она.

Рот ее pokrивился, словно у девчонки, которая вот-вот заплачет. И голос сорвался.

— Но-но,— предостерег Иван Егорович суровым голо-сом, рукой же погладил ее по плечу.— Иди, девушка, спи. Разберемся. Слышишь?

Ее огромные, налитые злыми слезами глазищи неподвижно смотрели на него.

— Нехорошо,— сказала она, стараясь успокоиться.— Несправедливо. Стыдно так делать.

— Спать иди! — повторил он грозно.

В своей землянке услышал он от незваного постояльца Петушкова длинный и нудный выговор. Были, разумеется, и слова о гнилом либерализме, о потере бдительности, о потакании врагу, о санаторном режиме для изменников Родины и о том, что все будет, где надо и кому надо, доложено. Так Петушков расправлялся со своим непокорным подчиненным, так мстил он ему за седого Ряхичева, за свои испуганные мыслишки, ибо уж не так он был глуп, чтобы не понимать, как иногда бабка ворожит-ворожит, да вдруг и перестанет, ежели кто дойдет до самой Советской власти или, допустим, до Центрального Комитета. Да, в сущности, и бабки не так уж ворожили своему плоеному внучонку, как внучонок выучился на эту тему осторожно распространяться. И от страха, и от злобы, и от того, что здесь-то после отлета седого Виктора Аркадьевича он в безопасности, Петушков и кинулся нападать.

А для того, чтобы выговор звучал поосновательнее, для того, чтобы на Локоткова нагнать страху, подполковник распалял себя колоритными словами, которыми, по его мнению, непрестанно пользовались партизаны, то есть матерной бранью. Да почему и не ругаться на войне военному человеку, такому, как Петушков? Или не показал он себя в деле?

Локотков во время выговора стоял, подполковник сидел. Когда буйное красноречие внучонка поиссякло, Иван Егорович, ни в чем не оправдываясь, несколько не извиняясь и ничего, видимо, не испугавшись, попросил разрешения задать вопрос.

— В чем еще дело? — буркнул все еще разгневанный начальник. — Какой такой вопрос?

— Вопрос следующий: как это вы, человек, по вашим же собственным словам, образованный, по вашему собственному утверждению, интеллигентный, можете себе позволять матерными словами ругаться на военнослужащего, младшего вас в звании? На военнослужащего, который перед вами стоит, когда вы сидите, то есть несет свою службу, а не беседует с вами на равных? Как это может все быть в условиях нашей Советской Армии? Вот, прошу, ответьте мне на мой вопрос.

Измученный Иван Егорович был сейчас страшноват. Ноги не держали его, почерневшие от лихорадки губы спеклись. И светлые глаза словно бы пламенели гневным бесстрашием.

— Да вы, пожалуй, больны! — воскликнул «чуткий» Петушков. — Я вам доктора позову...

И он даже приподнялся, опасливо косясь на своего недруга, но тот не позволил ему позвать врача.

— Тогда сами туда пойдите, — перейдя на совсем мирный и даже дружественный тон, присоветовал подполковник. — Там и отлежитесь.

— Нет, я уж в своей землянке отдохну, — опускаясь на топчан, произнес Локотков. — Мне тут не дуется. А вам советую у начштаба разместиться, потому что я в простуде и сильно стану храпеть.

Петушков, что называется, не дал себя слишком уговаривать, а бессонный Локотков, едва хлипкая дверь захлопнулась за начальством, послал в узилище за Лазаревым.

Когда усохший лицом за этот день Саша был приведен, они впервые вместе закурили, Иван Егорович угостил Лазарева из своего кисета. Разговор двух мужчин слегка коснулся погоды, дождей и предполагаемой вслед за осенью зимы. О несправедливости старшего начальника они не беседовали, ибо оба были военнослужащими и знали, что к чему и что «этично», а что «неэтично».

— Слышал я, хотел ты нынче повеситься? — спросил Локотков, облизывая сохнувшие губы.

Лазарев промолчал.

— Глупо! — резюмировал это молчание Иван Егорович. — Какой в этом смысл? Тебе свои прегрешения делом искупать надо, а повеситься — это не дело, а собачья чепуха.

— Есенин же повесился, — заметил Саша.

— То было мирное время и, вообще, ситуация другая, — на низком регистре ответил Локотков и сам подумал про свои слова, что-де небогато. — Да и ты, брат, не Есенин, а пока что Лазарев.

Помолчали.

— Кушал? — осведомился Локотков.

— Нет, не кушал, — сказал Лазарев.

— Возьми там котелок, покушай.

— А вы?

— А я приболел малость, так полежу.

Лазарев съел картошку с комбижиром, потом попил воды. Теперь он понимал, что позвали его сюда и покушать, и «перекурить это дело», потому что ему верят. Не все верят пока что, но Локотков, пожалуй, верит. И, осмелев, Лазарев спросил:

— Вы теперь все про меня уяснили?

— Многое уяснил.

— И теперь вы мне окончательно поверили?

— Допустим, Лазарев, поверил.

— Через проверку?

— Предположим, так.

— А как же вы меня проверили?

— А так же, Лазарев, я тебя проверил, что, коли ежели эту войнишку переживем и до коммунизма доедем, хоть и к глубокой нашей старости, там тебе, в коммунизме, расскажу, как проверял и каким способом. А пока что рано еще нашу деятельность в ее подробностях раскрывать. Чужой услышать может...

— Кто чужой? — совершенно по-мальчишески оглядел Лазарев землянку. — Откуда?

Иван Егорович не ответил, лишь улыбнулся. И отослал Лазарева спать, наказав ему по пути к себе известить «товарища Шанину», что у него «все в порядке».

Саша молча смотрел на Ивана Егоровича.

— Делай, как сказано, — прикрикнул Локотков. — На военной службе, если не ошибаюсь, находитесь, Лазарев?

Саша вышел под ясные, крепко отмытые ливнем звезды. Дед Трофим, с бородой раскольника, с немецким автоматом на шее, с гранатами на поясе, узнал Сашу и поинтересовался, когда «обратно» будет концерт. Он и проводил Лазарева немножко по улице к обгорелой избе, где жили девушки. Какая-то ночная птица жутко гукала в чащобе за Дворищами, словно предвещающая беду.

— Классического у тебя бедновато в репертуаре, — посоветовал Саше на прощание дед Трофим, — занялся бы на досуге, например арию Демона из одноименной оперы...

— Ты ж откуда это знаешь, дед? — даже остановился от удивления Саша.

— Думал, пню молимся? Нет, друг дорогой, не лесные мы жители. Я лично — рабочий сцены, вот так. А бороду отпустил для партизанского виду. И уважения больше, чем вам, бритым. Никто не распорядится: одна нога здесь, другая там, давай, дед, на полусогнутых. Дед он дед и есть, а

что мне тридцать девять — это моя страшная и глубокая тайна...

Инга, конечно, не спала.

Накинув на плечи сухую шинель подружки, она выско-чила на крыльцо и замерла в полушаге от Лазарева.

— Все у меня в порядке, — сказал он, глядя прямо в ее мерцающие зрачки. — Локотков велел передать вам, товарищ Шанина, что все в порядке.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

**— Я** вам все скажу, только вы меня не торопите, — попросил Ионов. — Я должен все по порядку припомнить.

Локоткова по-прежнему была и корежила лихорадка. Доктор Знаменский, увидев Ивана Егоровича, хотел измерить ему температуру, но Локотков не дался, сказав, что после войны только и будем делать, что температуру измерять, а на сегодняшний день у него нет времени, да термометры и не лечат ни от чего. И уединился со своим накануне подстреленным вражиной.

— Расстрел мне будет? — осведомился Ионов.

— Как суд присудит, — вздохнул Иван Егорович.

— А не то что здесь сразу и шлепнут?

— Навряд ли здесь, — не слишком обнадежил своего шпиона Иван Егорович. — Теперь давай, освещай подробно все свое задание. Старшой ты?

— Я.

За дощатой перегородкой зашумел примус. Там была у Знаменского операционная. Керосин очень берегли, и если примус шумел, значит, Знаменский готовился оперировать.

— Кого привезли, Павел Петрович? — крикнул Локотков.

Но за шумом примуса ответа он не расслышал и стал записывать показания Ионова, держа свою выдавшую виды папку на колене. Сопутствующих Ионову мужичков он уже попервоначально допросил и сейчас испытывал от всего этого дела некоторое смешное чувство неловкости. Мужички порознь друг от друга сознались, зачем их сюда забросили, и Локоткову было и совестно, и вроде бы соромно копаться во всей этой глупой истории. Наверное, следовало бы передать всю тройку Игорю, но Игорь был занят, сидел на хуторе, поджидал ионовских дружков. Вообще, все складывалось до чрезвычайности глупо.

— Вопрос: кто с вами беседовал перед отправкой на выполнение задания?

— Сам господин Грейфе, — ответил пучеглазый Ионов. — Лично сам в своей резиденции в Ассари. Он нам сказал: убьете генерала — озабочусь вашей дальнейшей судьбой, потому что генерал этот...

— Вопрос, — поспешно перебил Ионова Иван Егорович, — кто вас экипировал, когда вы ждали отправления из Пскова?

— Это как?

— Одевал и снабжал кто?

— Хромой, — ответил Ионов. — Он всех провожает. С деревянной ногой, говорят — из матросов.

— Какой он с виду, этот «из матросов»?

— Конопатый — раз. Низкого росту — два. Старый...

— На сколько лет выглядит?

— Какого году?

— Ну, допустим.

— Году не менее как девяносто пятого. Люди говорят — с Эзеля он. Там и ногу потерял.

— Почему в такое доверие к немцам вошел, что один экипирует?

— Предполагаю, что из-за своей сильной искалеченности. Совсем едва ходит. И из каптерки своей никогда ни шагу. Ампутация у него слишком высокая...

— Старательно работает?

— А у него только и жизни что работа. Доложил вам, точно доложил, никогда не выходит. Деревяшку-то редко подвязывает. Все больше скачет. Скок-поскок. Да палкой упирается. Вообще-то очень внимательный господин. Одежда исключительно советская, трофейная, оружие там, прочая хурда-мурда, исподнее, ремень, шапка...

— Зажигалка, по-вашему, тоже советская?

— Зажигалки у него навалом на столе лежали. Я попросил.

— Вы понимали, что по этой зажигалке вас разоблачить могут?

Ионов помолчал.

— Зачем? — погодя спросил он. — Разве у солдата трофея быть не может?

— И таблетки он вам тоже дал после вашей просьбы?

— Таблетки сам отпустил. От простуды, сказал. Насыпал из банки в бумажку.

— Предупредил, что немецкие?

— А на них разве написано?

За перегородкой кто-то ухнул тяжело, как филин. Павел Петрович заругался: он не любил, когда ему мешали оперировать, а с наркозом в бригаде нынче было туго.

— Выполнение террористического акта кому лично было поручено? — стараясь говорить серьезно, спросил Локотков. — Вам, Серому или Козачкову?

— А это как случай выйдет, — с готовностью разъяснил Ионов. — Серый, например, был раньше поваром первой руки. У него имелось задание — взойти в доверие на кухне

и самому генералу готовить ихние порционные блюда. А для того случая — ампулы, что вы отобрали. Яд, четыре сбоку — ваших нет.

Иван Егорович отвернулся, чтобы скрыть улыбку.

— У вас какая была задача?

— Я шофер, — произнес Ионов. — Первого класса шофер, генералы же часто в шоферах нуждаются. Это господин Грейфе нам разъяснил. Козачков же для связи предназначенный, чтобы сообщение дать, когда дело будет сделано.

— Ну, а остальные, те, кого вы поджидали?

— Мы людей не поджидали, — после паузы произнес Ионов, — мы груз поджидали. Взрывчатку и еще различные детали, чтобы взорвать этого генерала-разведчика.

— И взорвали бы?

— Если скажу «нет», не поверите, — угрюмо произнес Ионов. — Теперь хоть лопни, никто не поверит, этого мы недоучли.

— Зачем же вы тогда убежали, если действительно повиниться хотели?

За дощатой перегородкой густой голос попросил:

— Ты бы полегче, Павел Петрович, я тебе не лошадь!

— Руками не цапай! — опять заругался Знаменский. — Объяснял же: инфекцию внесешь...

— Еще вопрос, — сказал Локотков, — какое этому матросу имя и отчество?

Террорист Ионов подумал и пожал плечами.

— Ни к чему мне было, — ответил он, — одел, вооружил, пищу-питание выдал — и будь здоров, не кашляй...

Но Иван Егорович матросом интересовался всерьез. Он и лампадных мужичков про матроса выспрашивал, и других прежних своих клиентов и пациентов, как любил обозначать словесно агентуру противника. Уже давно возникла у Локоткова концепция, которая всегда подтвержда-

лась. Матрос нарочно снабжал агентуру чем-либо немецким — часами ли, компасом ли, зажигалкой ли, а то и таблетками, и особой ампулкой немецкого происхождения: дескать, не зевайте там, други мои и корешки, за линией фронта, не сбежать мне, одноногому, а вот вам от меня знак — это агент, шпион, диверсант, обратите внимание на мелкую мелочь, не прозевайте, не прохлопайте!

С партизанами матрос связан не был, но имелись сведения, что связаться он желал. Но за той колючей проволокой, где было его обиталище и где находились немецкие каптерки и склады, за хромым следили во все глаза, о чем он даже дал понять человеку Локоткова, и на этом разговоре все вновь надолго оборвалось.

Обдумывая на ходу деятельность матроса, Иван Егорович направился к себе в землянку немного передохнуть. По пути услышал он голос Лазарева. Саша пел свою любимую, с коленцами и подсвистыванием, песню:

Прощайте, глазки голубые,  
Прощайте, русы волоса...

Здесь Александр засвистал кенарем. Локотков оглянулся: Саша шел к строящейся баньке и пел:

Прощайте, кудри навитье,  
Прощай, любимый, навсегда...

«Даст же природа одному человеку!» — подумал Локотков даже с удивлением. От этого звонкого, дерзкого, как все в Лазареве, голоса у Ивана Егоровича повеселело на душе, поганые террористы с их медовыми покаяниями словно бы растаяли и совсем уж неожиданно пришло в голову: «Непременно надо этому Лазареву человеком войну окончить. Ему бочком-петушком проскочить никак нельзя. Невозможно ему по среднему счету!»

Сам же Лазарев в это время как ни в чем не бывало, выбритый, стройный, очень краевый, даже немножко

слишком для партизана щеголеватый, явился к своей «артели напрасный труд», как он довольно метко их назвал, потому что лагерь вечно переезжал и плотники опять начинали все с самого начала, осведомился, почему-де не приветствуют, и закурил. Ребята рубили сруб для баньки, жала топоров посверкивали на лесном нежарком солнце.

— Работать надо с огоньком,— сказал Лазарев.— Так и видно по вас, что нестройной взвод! До смешного!

— Иди ты знаешь куда! — сказал ему рыжий плотник.— Учитель отыскался. Мы красные партизаны, и про нас былинники речистые ведут рассказ, а ты...

— Я, между прочим, вполне могу в морду врезать! — посулил Лазарев.

Плотник бросил топор, выпрямился.

Другой, огромный, бородатый, закричал старческим тоном:

— Эй, вы, ополоумели?

Рыжего ударила припадочная дрожь, ничего не слыша, он рванулся на Лазарева, тот отпихнул его одной рукой, но не сильно и попросил:

— Не вяжись. Прости, если не так сказал. Ты в моей шкуре не был, не знаешь!

Бородатый оттянул рыжего на себя, другие тоже ввязались, чтобы не проливать кровь. У рыжего фашисты спалили живьем всю семью, он не мог вдаваться ни в какие биографии. Лазарева же предупредили:

— Живи тише. На тебе печать, покуда не отмоешь — молчи в тряпочку.

— Это так,— согласился Лазарев,— я разве спорю? Про то и разговор. Обидно только бывает на свою судьбу. Моешь, моешь — никак не отстирать.

После замирения бородатый осведомился, за что Лазарев был подвергнут репрессии в виде ареста и содержания под стражей. Саша подумал и ответил: ввергли его в узи-

лице за дело, позволил себе нарушить принятый тут порядок, так пусть же все видят на его печальном примере суровое предупреждение для себя. Хоть тут и партизаны, но дисциплина у них гвардейская, в чем Лазарев и убедился на собственной шкуре.

Ответ понравился, даже рыжий молча кивнул головой.

Погодя Лазарев заявил, что верхний венец срублен неправильно, потом высчитал на обороте своей предсмертной записки о доверии высоту трубы, после, хоть и не был тут старшим, нарядил людей за глиной к оврагу и, наконец, сам взял в сильные руки топор и с красивой легкостью, словно напоказ, принялся тесать могучий ствол сосны.

— Да ты что, в самом деле плотник? — спросил у Лазарева проходивший мимо подрывник Ерофеев. — Или кто ты?

— Я, товарищ командир, плотник-медник-злой жестянщик, — ответил Саша, — а если желаете знать для дела, то я лучший в мире мотоциклист, да вот война помешала в гончики выйти...

— А давеча, я видел, автомат чинил, — сказал Ерофеев.

— И это могу, — воткнув топор в дерево, ответил Лазарев. — Я все могу. У меня руки золотые, зрение абсолютное, голова — другой такой не сыщешь и голосовые данные для Большого театра СССР.

— Это дает! — удивился Ерофеев.

— Думаете, шучу? — осведомился Саша серьезно и даже печально. — Я не хвастаю, честное слово. Такой уж я человек, на все способный. Одна была неудача — в плен попал, больше не будет.

— Убить еще могут, — садясь на ствол сосны рядом с Лазаревым, вздохнул Ерофеев. — Война не завтра окончится.

— Теперь меня убить нельзя, — со странным и веселым блеском в глазах ответил Лазарев. — Не для того я сюда пришел, чтобы меня убили. Я на большие дела пришел, вот увидите...

— Ишь какой! — опять удивился Ерофеев.

— А что? Обо мне, может, и статьи напишут, и стихи, и песни...

— Скромн ты, парень!

— Был скромн, весь вышел, — опять загадочно ответил Саша. — Надоело! Погодите, ещё прочитаете обо мне стишок.

Стишок не стишок, но документы о Саше Лазареве, документы малословные, точные, написанные жестким языком военного времени, положены на вечное хранение, а повесть эта пусть послужит памятью о жизни Александра Ивановича Лазарева, о котором мы ничего не знаем, кроме изложенного в этой повести. И очень будем благодарны тем читателям, которые вдруг что-либо вспомнят об этом примечательном человеке, родившемся в 1919 году в городе Павлове Горьковской области, чем и исчерпываются все наши биографические данные...

...Пошабашив на строительстве бани, Лазарев съел котелок супу с глухарем, одернул на себе германский китель и отправился без приглашения к Ивану Егоровичу.

Локоткова опять крутила ненавистная злая лихорадка, но, несмотря на недомогание, встретил он Сашу приветливо и велел ему присесть.

— Слышал, раздал свои кулацкие запасы гранат? — спросил он.

— Было такое дело, — чинно садясь, ответил Лазарев.

— По зову сердца или под нажимом?

— Товарищ Шанина воспитательную работу провела, — сухо произнес Лазарев. — Разъяснила про коллектив...

Он вдруг вспыхнул:

— Будто я сам не знал, что такое коллектив. А здесь, когда все законные, все военные, всем оружие и боеприпасы положены...

— Не шуми! — попросил Иван Егорович. — У меня температура.

И, помолчав, осведомился:

— Слышно, после победы собираешься в артисты податься, на оперную сцену? Будто голос у тебя прорезывается исключительный?

— В артисты навряд ли схожусь, — ответил Саша. — Уже совался. Говорят, у меня скованность движений. По радио петь буду, это возможно. А специальность себе выберу точную — дома людям строить, детясли там, больницы.

— В архитектуру прорвешься?

— Возможный вариант.

Отвечал на вопросы Лазарев тщательно, но что-то его тревожило.

— Ты за делом зашел? — спросил Локотков.

— Да вроде бы оно и не дело. Скорее просьба. У меня, видите ли, товарищ Локотков, есть один друг...

— Девушка? — вдруг огорчившись за Ингу, спросил Иван Егорович...

— Зачем девушка? Мужчина, товарищ. Он ко мне хорош был, много мне дал, если так можно выразиться. И, наверное, сильно переживал за меня... Это ведь называется «пропавший без вести». Так вот, хотел бы я отправить ему письмо.

— Письмо рано, — перемогшись от приступа озноба, произнес Иван Егорович. — Погоди с письмами...

— С чем же мне не погодить? — спросил Лазарев. — Разве есть хоть что-либо, с чем мне можно не годить?

Голос его задрожал.

— Фамилия-то давешнего подполковника — Петушков? — яростно осведомился Саша. — Точно, Петушков. Так знаете, как оно все называется? Петушковщина, — словно выругался он и тотчас же повторил: — Петушковщина. Один больше ею начинен, этой петушковщиной, другой меньше, но все едино — петушковщина, от которой уже и дышать вовсе невозможно. Сделайте рентген такой, посмотрите насквозь, ведь и мы люди, дайте нам полностью оправдать...

— Что ты именуешь «полностью оправдать»?

— Именуую, если подвиг, но как его осуществить, опять-таки, без доверия? Как?

— Поживешь — увидишь.

— Живу, да не вижу.

— А тебе пока и не положено видеть. Выйдет время, разглядишь и стыдно тебе покажется, что ты меня петушковщиной какой-то попрекал. Письмо другу напишешь, а что в нем? Что? Ты его потом, после всего напиши, когда будет про что. Петушковщина... Дурак ты, вот кто! Я тебя на большое дело готовлю, а ты мне темную муру лопочешь про недоверие. Ты мне на серьезную работу необходим, а автоматчиков пока мы имеем не бедное число. Автомат ему не доверили! Петушковщина... или как там... Я тебе во втором эшелоне и вообще на подхвате не дам в люди выйти. И мелкими стычками с противником — не дам. Оно конечно, оно так, как ты в песне поешь, — жалко «солнышка на небе да любви на земле», но подлецу, Сашка, и солнышко не светит, и любовь вроде не в любовь. Так что я тебя из этого переплета иначе как с большим орденом не выпущу, и не надейся, тем более что хоть оно дело и не мое, но, как предполагаю, «любовь на земле» тоже у тебя на подходах...

— Это вы про что? — не оборачиваясь к Локоткову, спросил Саша.

— Может, и сам догадаешься? Только предупреждаю: шуточки тут места иметь не могут. Она девушка замечательная, ты в себе прежде разберись...

— А может, это мое личное дело? — показал зубы Лазарев. — В крайнем случае, мое да ее? Или теперь вся моя жизнь под рентгеном пройдет?

Они помолчали. Слишком уж крут сделался разговор.

— Что же касается подвига, — смягчившись, но все еще сурово произнес Лазарев, — то в нестроевом взводе его осуществить трудновато. Баньку, например, отстроим, попаримся, а дальше?

Локотков усмехнулся:

— У тебя другая банька будет! И не без пара.

Его опять стала выкручивать лихорадка, так, что даже он не сдюжал и со стоном накрылся старым полушубком. И ноги болели, и голова гудела, и холод проносился по всему телу...

— Может, покурите? — спросил Саша.

— Сверни.

Лазарев свернул, прикурил, затянулся и отдал козью ножку Ивану Егоровичу. Но себе свернуть постеснялся, хоть курить ему хотелось до одури.

— Свернул, так сам и кури, — распорядился Локотков. — И про полковника Кротова расскажи, какие вы там друзья-товарищи.

Саша даже закашлялся, услышав имя Кротова. Откуда Иван Егорович мог про Кротова дознаться?

— А он жив?

— Воюет, не то что просто жив. И хорошо воюет, даже в приказах, бывает, поминается.

Саша слегка присвистнул.

— И доверяют ему?

— Если командует, значит, доверяют.

— Ничего это еще не значит, — сказал Лазарев. — Вои

царским военспецам не доверяли, однако же они командовали?

Локотков на это ничего не ответил. Спросил сам:

— Почему ты мне про полковника Кротова не заявил, что спас его?

— Потому что вы мне в ту пору все равно бы не поверили.

— А позже?

— Позже и без Кротова поверили, и тогда бы вышло, что я хвастун.

— А ты ох скромник!

— Я чистосердечный. Что во мне положительное, то не скрываю, но и недостатки, конечно, имеются, с ними борюсь... Борьба с собственными недостатками труднее, чем с чужими, это все знают...

Иван Егорович слушал улыбаясь: совсем еще мальчик.

— Как же у тебя, например, недостатки?

— Мало ли... В молодости, в школе, я их даже на бумажку записывал, чтобы, изучив себя, бороться со своими слабостями и недоработками в характере. Потом бросил, самокопание получалось, оставил эту затею...

— Ладно с самокопанием. Вернемся к Кротову. Ты ему свои костыли отдал, чтобы его приняли за тебя? Было это?

— Что-то было вроде этого. Потом сильно меня били, Иван Егорович. Памороки отбили. Долго и не помнил ничего, и руки дрожали, кушать не мог.

— А с Купейко со своим ты сильно дружен был?

— Был. А что? — напряженно осведомился Лазарев.

Голос Локоткова тоже напрягся. Но он готовил Лазарева, закалял, его и жалеть сейчас было неуместно.

— Сильно дружили?

— Как один человек! — воскликнул Лазарев. — У нас все напополам было. Я за него, как и он за меня...

Иван Егорович молча смотрел на Сашу. Такие раны

не легко наносить. Но он должен был это сделать сейчас, а не после. Пусть идет к ним, вооруженный и этим горем: без горя какая ненависть! Чем больше горя, тем сильнее ненависть. А она поможет!

— Вы про Купейко узнали что-нибудь? — спросил Лазарев. — Да? Что? Только, если подлость, вы не верьте! Он подлость не мог сделать...

— Убили твоего дружка, — сурово и прямо произнес Иван Егорович, — застрелили за агитацию против фашистов. Перед строем застрелили.

Лазарев не шелохнулся.

— Где? — только и спросил он.

— В Печках, в школе, куда ты хотел с ним попасть. Давно уже убили...

— Так, значит, — тихо сказал Лазарев и поднялся.

— Нет, посиди, — велел Иван Егорович, — посиди, говорить будем о деле. Физически как себя чувствуешь?

Лазарев ответил с недоумением:

— Как? Нормально.

— Можешь задание выполнить?

Лазарев как бы даже задохнулся. Потом, словно бы опомнившись и испугавшись своей радости, сказал:

— Вроде насчет бани задание?

— Нет, задание настоящее.

Локотков сел на своем лежаке, попил из кружки воды и заговорил, видимо совсем справившись со своей хворью:

— Запоминай!

— Есть запоминать, — с придыханием сказал Саша. — Все запомню.

— Шесть пунктов, — густым, как бы даже сердитым голосом, словно диктуя по книге, заговорил Иван Егорович. — Слушай внимательно, потом повторять станешь. Значит, первый пункт: направиться в город Псков и вместе с жителями Пскова эвакуироваться в Эстонию, где изучить

обстановку. Второй пункт: после изучения обстановки в Эстонии проникнуть ближе к местечку Печки, устроиться на одном из хуторов работать и жить и при этом пройти регистрацию у немцев, как эвакуированному...

— Эвакуированному,— словно эхо повторил Лазарев.

— Третий пункт: зарекомендовав себя перед жителями и старостой, заручившись положительными отзывами о работе и поведении, поступить на службу в группу эстонской самообороны, затем в охрану гарнизона, располагающегося в Печках. Ясно?

— Пока ясно.

— Четвертый: проникнув на службу в охрану гарнизона, установить руководящий состав школы...

— Так это ж там они Зину и убили,— вдруг все понял и сообразил Лазарев.— Именно там?

— Какую еще Зину?

— Да Купейко. Его Зиновием звали. Значит, туда мне задание?

— Туда, где твоего друга убили,— ничего не смягчая и не «подрессоривая», жестким голосом продолжал Локотков.— Установишь точно цель и задачи школы, состав слушателей, местожительство руководства. Ясно?

— Ясно.

— Пятое: изучишь режим охраны домов руководящих работников школы, пути подхода к жилым помещениям, расположение постов охраны. И шестое: установить пароль на каждый день при входе в расположение гарнизона и выходе из него. Запомнил?

— В общих чертах...

— Общие черты в нашем деле копейку стоят. Давай запоминай конкретно и слово в слово.

Через полчаса Лазарев все запомнил, по его словам, навечно. А запомнив, осведомился:

— И это все?

— Дальнейшие задания будешь получать на месте, через нашего человека, который назовется тебе Марусей.

Его опять тряхнул озноб, он плотнее укутался полушубком и добавил:

— Маруся укажет тебе лесной тайник, где будут конкретные задания. Шифр простой, займемся, обмозгуем...

К ночи и с шифром было покончено.

— Срок тебе до первого января сорок четвертого года, — сказал Локотков. — Управишься?

— Раньше управлюсь! — азартно ответил Лазарев. — Вы ни о чем даже не думайте. Все сделаю и с песней домой приду.

Иван Егорович внимательно и быстро взглянул в Сашино лицо, едва освещенное пламенем коптилки. Что это — молодость или просто радуется, что вырвался от чекиста Локоткова к своим хозяевам — абверу?

«Нет, так нельзя рассуждать, — сурово оборвал себя Иван Егорович. — С такими рассуждениями живо Петушковым станешь. Нет, это отчаянная молодость в Саше кипит, не иначе. Думать по-другому действительно петушковщина».

Но петушковщина не такой уж легко победимый враг. И не без труда отряхнул ее Иван Егорович, прощаясь с Сашей.

— О том, что уйду от вас, никто знать не должен? — уже поднявшись с лавки, осведомился Лазарев.

— Никто, конечно.

— Ни один человек?

— Ни один. Да ты что, шуточки шутишь? — вдруг рассердился Иван Егорович. — Ты как об этом рассуждаешь?

— А так я и рассуждаю, что имею право просить про одного лишь человека. Имею право, чтобы он не предположил, будто Лазарев сбежал обратно к фюреру. Или и этого права у меня нет?

— Надейся на меня, — ответил Локотков.

— Твердо?

— Надейся.

— Я и надеюсь, да только жутковато, товарищ Локотков: вдруг позабудете. Возьмете и позабудете. Все бывает...

— Закрой дверь с той стороны! — велел Локотков.

Саша вышел легкой походкой, а Иван Егорович, коря себя петушковщиной, все-таки стал дотошно и педантично умственным взором выверять все это время, все собеседования с Сашей, все проверки и перепроверки и все свои расчеты для грядущей рискованной и нисколько не одобренной подполковником Петушковым операции. А если бы осторожный Петушков еще подозревал, кто будет в этой затее главным действующим? На кого надежды? А если главный действующий вдруг как высочайшей награды ждет именно такое поручение, чтобы на блюде подать его немецкой разведке и получить за свою деятельность Железный рыцарский крест?

Вновь встряхнул тяжелой, усталой головой Иван Егорович. И опять с тоской и болью подумал о том, сколько не сделано того, что могло бы быть с пользой сделано, если бы не остерегались верить в тех людей, которые на поле славы и чести беззаветностью своего поведения заставляли раскаиваться неверящих, к сожалению тогда, когда все было совсем поздно. Был такой летчик, татарин Хайруллин, еще в те тягчайшие дни, когда выводил Локотков болотами окруженцев. Воевал Хайруллин в пехоте, самолет ему почему-то не доверили, было нечто за ним записано такое, что давило его, как петля, и, дабы эту петлю сбросить, он с дюжиной своих дружков внезапно кинулся на немецкий разъезд с ножами. Немцы от бешеного натиска опрокинулись и, как писалось в старину, наголову были разбиты, но на их стрельбу и вопли кинулись броне-

транспортеры и побили очередями из автоматов всех смельчаков во главе с отстраненным летчиком. Быть бы и окруженцам конченными в своем болоте, если бы не отчаянная, совсем уж невозможная храбрость Хайруллина, который, заливаясь кровью, один принял немецкое подкрепление на свой пулемет. Все это дело было совершеннейшим самоубийством, но, когда умирающему у него на руках Хайруллина Локотков это сказал, тот ответил:

— Пусть знает, сволочь, какой я пятьдесят восемь — десять.

— Кто? — спросил Иван Егорович, склоняясь в тоске к заливаемому смертной синевой лицу летчика. — Кто должен знать?

— Кто? Следователь мой...

Фамилию Иван Егорович уже не расслышал. А очень желал расслышать и запомнить, потому что понимал: придет время и не дрогнет его рука, когда вынесен будет справедливый приговор этим бабкиным внукам, позорящим звание «чекист», бабкиным внукам, один из которых мог измарать сотню честных и чистых духом людей.

Нет, не верить Локотков не мог!

В его вере поддержал Ивана Егоровича и старый Ряхичев.

И все же верить было совсем не так просто.

План операции похищения начальника разведывательно-диверсионной школы в Печках Иван Егорович разработал давно и со всеми подробностями. Некоторые детали он изменял, кое-что подвергал сомнению и перестраивал бессонными ночами, но одно было несомненно: риск. Риск человеческими жизнями, жизнями людей честных, отважных и чистых, риск такими людьми, которым Локотков доверял, как себе. Они еще ничего не знали, все те друзья-товарищи, которым надлежало осуществить операцию, но он-то знал, что у них есть и жены, и дети, и матери, и

отцы. Он знал, как бесславно и жестоко могут они погибнуть, если «его» человек их предаст. Он-то знал, каким пыткам их подвергнут, если операция сорвется, да и свою судьбу он тоже предугадывал: сам Петушков со своими поддужными не оставит Ивана Егоровича милостивым вниманием, по первому классу будут его судить и непременно осудят. Будучи, хоть по малости, юристом, Иван Егорович отлично знал, как судят, когда господствует формула «Пусть докажет свою невиновность». Вот и доказывай, что хотел как лучше, верил человеку...

— Верил?! — удивится ему.

И не только он с боевыми своими друзьями расплатится за то, что поверил, расплатится и супруга, и даже сыны, несмотря на свое малолетство.

Так наступала петушковщина, а что делать? Что с ней, с проклятой, делать, какие от нее есть лекарства? Что сделать с собой, чтобы очистить мозги от приступов этой действительно болезни?

Если бы он сам был способен выполнить то задание, которое поручил Лазареву... Вот выход. Но Саша и поет, и мастер на все руки, и по-немецки знает, и связи там, конечно, имеет. Саша — проникнет.

А он?

Он сам, Локотков?

Он может только командовать прикрытием, руководить обеспечением максимальной безопасности этой операции, но какая, к черту, в таких делах безопасность?

Огонь на себя?

Красиво, да толку что? Что проку, когда их с возницей четверо, а в школе двести курсантов, да полсотни охраны, да ворота, да сигнализация, да проволока под током, да в километре батальон особых войск, которые обеспечивают фельдмаршала, когда тот приезжает охотиться...

Ночь была на исходе, когда Иван Егорович занялся подготовкой экипировки Лазарева. Делал он эту работу сам, ни на кого решительно не полагаясь не из природной недоверчивости, а лишь потому, что был в таких делах абсолютно педантичным, считая, что самая мелочная ошибка может погубить большое задание и людей обречь на смерть из-за рассеянности и совершенного пустяка.

В маленьком партизанском вещевом складе он долго рылся, навывбирал разного и отнес к себе, а у себя уже, запершись, из отобранного повывдергивал брюки-полугалифе, бельишко, кирзовые побитые сапоги, отыскал пиджак московшевеевского происхождения, выпущенный притом не ранее сорокового года и не позже сорок первого. Был и свитерочек поношенный, со штопкой.

Потом Локотков занялся документами.

Это уже была большая работа, требующая не только умения, но и знаний, и расчетливой аккуратности по той причине, что чистые немецкие бланки на полу не валялись и представляли собой огромную, ничем не выразимую ценность для разведчиков. Шли эти бланки разве что по цене человеческих жизней, и потому при заполнении их ошибиться было никак нельзя.

Лазарев в бумагах, изготовленных Локотковым, сделался Лизаревым, чтобы спросонья при проверке не оплошал; имя с отчеством Локотков ему сохранил прежние; на чистых драгоценных немецких бланках было тоже кое-что Иваном Егоровичем изображено; от усердия и мелкости работы Локотков даже взмок. Затем отсчитал он из казны сколько-то немецких марок и сколько-то советских сотенных, отметив дотошно в своем секретном талмуде сумму. Погодя пробежал усталыми глазами перечень дел по лазаревскому заданию, аккуратно сжег бумажку в печурке и занялся опять с утра надолго с Сашей и опять ни словом

единым не обмолвился обо всей совокупной сути задания. О покраже начальника разведывательно-диверсионной школы майора Хорвата Лазарев должен был узнать через связного, совсем незадолго до самой операции, по плану — за сутки.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

**В**стреча была назначена на военном кладбище в Риге седьмого августа сорок третьего года, в восемнадцать часов. Швейцарский подданный запаздывал, и Грейфе, похаживая меж рядами бетонированных могил, раздражался. В сорок втором швейцарец не осмелился бы опоздать, более того, он бы явился раньше. Впрочем, теперь это не имело значения, лишь бы в конце концов пришел.

И он пришел почти на двадцать минут позже обозначенного времени. Высокий, костистый, злой. Не посчитав нужным извиниться, он обругал порядки в Риге. По его словам, трамваи едва ходили. И вообще тут делалось черт знает что, в далеком от фронта тыловом городе ни за какие деньги невозможно нанять такси. А рестораны? Он совершенно не в состоянии есть в этом городе, издавна знаменитом своей кухней. На чем они теперь жарят? Изжога просто извела швейцарца!

Они оба были в штатском — и оберштурмбанфюрер доктор Грейфе и швейцарский гражданин с отнюдь не швейцарским именем Мэлвин Дж. Стайн. Только Грейфе был одет похуже — в светло-сиреневом костюме моды весны тридцать девятого года; на швейцарце же был великолепный твидовый пиджак, светлые брюки и башмаки фасона «мокасины моего деда» — очень дорогие; доктор Грейфе

знал и магазин в Нью-Йорке, в котором торгуют всякой эдакой ерундой за бешеные деньги. Что ж! Кому повезло в игре, у того не спрашивают, как он начал...

Начальник группы «VI.C» усмехнулся своим мыслям. Неужели швейцарец будет молчать до тех пор, пока Грейфе сам не предложит свой товар? Неужели до этого дошла их самоуверенность? Неужели, с точки зрения их разведки, война выиграна одними русскими до открытия второго фронта? Нет, к счастью, начал Мэлвин Дж. Стайн.

— У вас их много? — спросил он без всяких околичностей.

— Кого их? — попробовал притвориться недоумевающим Грейфе.

— Вы понимаете.

— Нет.

— Речь идет только об агентуре, заброшенной на длительное оседание. Другой товар меня не интересует.

— Вы желали бы знать общее число?

— На это вы мне не ответите, а если и ответите, то только частью правды. Вы, по всей вероятности, уверены, что для такого рода информации еще не наступило время. Ваше право — так думать. Но мое право — знать количество единиц, которыми вы располагаете сегодня, сейчас...

— Лично я?

Грейфе тянул время. Мэлвин Дж. Стайн желал знать бесплатно то, что стоило денег. Лгать же было бессмысленно: швейцарский гражданин был, несомненно, человеком осведомленным.

— Лично я сейчас не могу вам ответить на ваш вопрос даже приблизительно. Я не готов.

Швейцарец усмехнулся.

— Допустим, — сказал он, весело глядя на оберштурмбанфюрера. — Ну, а качество подготовки этих ваших агентов? Это серьезные ребята? На них вполне можно будет

положиться? Если мы приобретем у вас вашу агентуру, то мы должны знать ее качественный состав, степень ее подготовленности, сумму знаний; мы не можем платить за kota в мешке, вернее, за список кличек. В этом-то вопросе, надеюсь, вы осведомлены?

— Сядем! — предложил Грейфе.

Скамья была ветхая, подгнившая, но выдержала их обоих. Швейцарец вытянул бесконечно длинные ноги и набил трубку голландским, темным табаком. Немец обрезал сигарку.

— Меня не имеет смысла стесняться, — произнес Дж. Стайн. — Я свой человек. Если бы ваша доктрина осуществлялась менее истерическими способами и если бы не авантюристические склонности некоторых лиц, которых я не хочу называть, такие парни, как я, были бы с вами. Но теперь, когда ваше дело проиграно, у нас свои планы. Наиболее деловитых ребят из вашего состава мы заберем к себе. И вам будет у нас недурно, а главное — безопасно...

Грейфе немного коробил стиль этого швейцарца. Он не привык к словам «ребята», «парни», «kota в мешке», «вам будет недурно». Язык официантов или грузчиков. Классический национал-социализм был более всего приучен к патетике. Впрочем, рассказывают, что сейчас сам фюрер ругается непристойными словами, даже в своем кабинете...

Грейфе вздохнул.

— Что вы называете недурно?

— Прежде всего, с получением иного гражданства и нового имени будет забыто ваше прошлое.

— Кто это гарантирует?

— Мы.

— А кто, собственно, вы?

— Для того чтобы меня понять, не требуется особая проницательность, мистер Грейфе.

— Понимать-то я вас вполне понимаю, но наше взаимопонимание еще ничего мне не гарантирует.

Мэлвин Дж. Стайн широко и дружески улыбнулся. Так, улыбаясь, они обычно хлопают собеседника по плечу. Но швейцарец не хлопнул Грейфе. Он спросил, взглядываясь в него своими светло-табачными зрачками:

— Сначала товар, старина. А потом уже гарантии. Как они обучены, эти ваши мальчишки? И бога ради, перестаньте кокетничать, я достаточно много знаю для того, чтобы не терять времени для уговоров. Мне нужен ваш контингент с подробностями, понимаете? Если специальный курс для длительного оседания занимает у вас всего полтора месяца, то это слабая подготовка...

— Гораздо больше! — быстро солгал Грейфе.

— Вы убеждены?

Оберштурмбанфюрер сделал лицо слегка обиженного человека. Это ему легко удалось: в те дни, когда он с утра не начинал принимать свой серый порошок, брюзгливое настроение не оставляло его. Нынче на всякий случай, чтобы вполне и во всем отвечать за себя, он пил только бразильский кофе. И потому настроение у него было отвратительное.

— У меня есть приятель среди ваших ребят, — медленно начал швейцарец, — не знаю, есть ли еще и сейчас, но во всяком случае был. Тогда вы готовили свою агентуру вполне ответственно и серьезно. А сейчас вы начали торопиться. Вам это не кажется, мистер Грейфе? Вы стали более заниматься количеством, нежели качеством, я ведь внимательно ко всему приглядываюсь, такая уж у меня служба...

Он сильно прижал табак в трубке большим пальцем и несколько раз пыхнул душистым дымом.

— Может быть, этот мой друг в Англии, а может быть, тамошний судья уже успел надеть на себя черную ша-

почку и моего приятеля повесили в Пентонвильской тюрьме: ваших парней англичане больше всего вешают именно там. Вот его готовили серьезно, ничего не скажешь...

— Я не знаю, о какой именно подготовке идет речь,— с некоторым раздражением произнес Грейфе.— Может быть, вы будете так любезны и расскажете суть этой подготовки?

— Буду. Расскажу,— пообещал швейцарец и еще немножко попыхтел трубкой.— Правда, это было в конце сорок первого, вы еще тогда не так завязли в России и могли себе позволять некоторую роскошь...

«А если я тебя увезу в гестапо,— подумал вдруг Грейфе.— А там быстро выяснят, какой именно страны ты подданный! Впрочем, вряд ли они станут выяснять. Просто все мое уйдет к ним. Он предложит им то, что должно принадлежать по праву мне».

И не в силах более сопротивляться своему недугу, Грейфе вынул из жилетного кармана порошок.

— Что это? — осведомился швейцарец.

— Вульгарная язва,— ответил оберштурмбанфюрер.— Вы сами ругали стол в Риге.

Через несколько минут глаза его заблестели, а через четверть часа швейцарца слушал не скучный Грейфе, а вдохновенный Лойола.

— И дальше? — спросил Лойола.

— Он дал обязательство забыть о существовании своей семьи. Навсегда. Вернее, до тех пор, пока ему не напомнят об этом, то есть тогда, когда его служба окончится. Затем наступил ряд решающих испытаний. Первое, я помню, заключалось в том, что он должен был приехать из Гамбурга в Штутгарт без единого документа. Это в вашей-то нацистской Германии, где шага не ступишь без проверки документов. Кроме того, во Франкфурте, в вокзальном ресто-

ране, ему надлежало вывинтить электрическую лампочку из бра на, допустим, третьем столике справа от входной двери.

— И это, конечно, было выполнено?

— Представьте себе, было. Затем в школе в Штутгарте он на протяжении еще двух месяцев не знал, что это за школа и кого, вернее, для чего в ней учат. Два месяца мой друг подвергался не столько экзаменам, сколько экспериментам, выдержит он эту дьявольскую нагрузку или надорвется. Вообще-то, ничего особенного, например подъем по тревоге, конечно ночью, бег в крошечной тьме к шумящему морю и приказ прыгать вниз. Вниз — вероятно, с огромной вышины в штормовые волны...

— Старые приемы, — перебил Грейфе, — еще в бытность мою...

— Не мешайте, — грубо и властно приказал швейцарец. — Бытность ваша тут ни при чем. Из тридцати парней по первой команде не прыгнули двое, они были отчислены, так и не зная, к чему их готовили. А другие прыгнули, над морем была еще терраса всего в метре от обрыва. Помните, мой приятель называл эту систему школой немецкого мужества по методу Опладена. Так?

— Так, — кивнул Грейфе, — мы изучаем ее.

— Теоретическое изучение не стоит ничего, — произнес швейцарец, — я вам рассказываю практику. Наутро, опять по сигналу тревоги, их уложили на плац группами по девять-десять человек. В центры воображаемых кругов диаметром не более четырех метров устанавливались гранаты. Затем команда: выдернуть предохранительную чеку! Взрыв, осколки летят над испытуемыми...

— Разумеется, не все, но многое, — начал было Грейфе, — многое из школы немецкого мужества мы используем, конечно, обогатив опытом войны. Наша агентура, предназначенная на длительное оседание, вербуются из

ярых врагов системы Советского государства. Кроме того, они все абсолютно скомпрометированы своими поступками перед советским строем — здесь, за время пленения. Мы храним их фотографии, как они расстреливают своих же сотоварищей, как они выламывают золотые зубы своим жертвам...

— Вашим, вашим жертвам, — с усмешкой поправил Грейфе Мэлвин Дж. Стайн. — Здесь надо быть точным. Впрочем, все это элементарно. Ну что ж, будем откровенны, Грейфе. — Он уже не добавил «мистер», он стал разговаривать с оберштурмбанфюрером, как со своим секретарем или, того хуже, лакеем. — Будем откровенны. Ваша агентура сейчас не такого уж качества, какой вы готовили ее раньше. Один только страх перед возмездием — этого же мало, старина, неужели вам это нужно объяснять? Половину, нет, что половину, две трети ваших агентов мы можем списать сейчас же. В самом лучшем случае остается треть. Треть посредственных работников, жалких убийц, не имеющих никакой руководящей идеи. Три десятка из сотни.

— Но, мистер Стайн, — оскорбился было Грейфе...

— Так почему же они у вас ценятся? — словно не заметив блестящих значков Лойолы, деловой скороговоркой осведомился швейцарец. — Почему за десяток, за дюжину, за штуку, как мы будем договариваться?

Где-то совсем близко, за их спинами, хрустнула сухая ветка, Грейфе обернулся и узнал своего шофера Зонненберга. Тот прогуливался, напевая:

Лотхен, Лотхен, ты стрела в моем сердце,  
Лотхен, Лотхен, воют метели в России...

— Хорошо, — вставая, произнес Грейфе, — мы еще увидимся...

— Только не вздумайте меня пугать, старина, — оставаясь сидеть и еще сильнее вытянув ноги, ответил Мэлвин

Дж. Стайн.— Если вы забудете, что у нас с вами джентльменское соглашение, я пожалуюсь кое-кому в Берлине. У меня есть связи, как это ни странно. Не правда ли, это странно? И если они будут пущены в ход, вам не сдобровать. В вашей симпатичной стране головы летят довольно быстро, не так ли?

Протянув Грейфе руку, он спросил на прощание:

— А как этот русский генерал-чекист Локоткофф? В прошлый раз вы говорили, что с ним покончено. Это подтвердилось?

— Нет,— жестко ответил Грейфе,— впрочем, я ничего еще не знаю. Тут не так просто, мистер Стайн, тут совсем не так просто, как это может показаться гражданину невоющего государства, вроде Швейцарии. Некоторые американцы это хорошо знают на своей шкуре, некоторые господа в годах. Была такая авантюра в Сибири, и генерал Грэвс, мистер Грэвс, ею командовал. Это было, как принято выражаться, еще у колыбели Советской власти. Но и тогда, даже тогда американцы поняли, что это такое — пытаться завоевать Россию.

— Трудно? — захохотал швейцарец.— Очень трудно? Но ведь вы изучили ошибки этих глупых янки? Вы-то воюете иначе?

Так под смех швейцарца Грейфе и ушел.

— Чем скорее, тем лучше,— в спину ему произнес Мэлвин Дж. Стайн.— Я буду тут после нового года, не позже. К этому времени товар будет готов, не правда ли?

— Хайль Гитлер! — повернувшись к швейцарцу, произнес Грейфе.

— Хайль-хайль,— с усмешкой ответил тот,— я приеду и отыщу вас. Если вы будете еще здесь.

— А где же? — сурово спросил оберштурмбанфюрер.— Где же мне быть?

— Бог мой, восточнее! — воскликнул швейцарский под-

данный.— Разумеется, восточнее. «Цепелин» работает на Россию, значит, его место в Москве...

На этом они и расстались.

Садясь в машину, Грейфе обтер платком лоб. Зонненберг на него внимательно посмотрел, пожалуй, внимательнее, чем обычно.

— В Ассари! — сказал ему шеф.— И не таскайтесь за мной следом, когда вас об этом не просят.

— Господин оберштурмбанфюрер забыл, что я и охраняю вас в тех случаях, когда вас не сопровождают автоматчики,— сказал шофер.— Это входит в мои прямые обязанности. Я несу за вас ответственность.

Грейфе вдруг почувствовал усталость. Ужасную усталость. Серый порошок отработал свое. Теперь следовала расплата... или еще порошок...

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

**С** террористами — Ионовым и его лампадными мужичками Серым и Козачковым в дальнейшем занимался Игорь. Ивану Егоровичу было неловко самому расследовать эту дурацкую, с его точки зрения, затею.

Был и смех и грех.

Однажды во время разговора Игоря с Ионовым в землянку чекистов заглянул бородатый и косматый партизанский дед Трофим. Понадобился ему начальник за каким-то охотничьим советом. Ионов, завидев деда, посерел лицом и отпрянул подальше, почти вдавился спиной в песчаную стену землянки.

— Вроде, здоровенный лось ходит,— сказал дед Трофим.— И сердитого нраву, не то что здешние лесные

коровы. Собраться бы — застрелить... Польза хорошая, мясо дюже жирное...

— Ладно, потом зайдете, — ответил Игорь.

Когда дед ушел, Ионов произнес испуганным голосом:

— Он. Точно он.

— Кто он?

— Генерал Локотков. Его именно так господин Грейфе описывал. Борода с едва заметной проседью, шевелюра густая, говорит просто...

Игорь, с трудом подавив улыбку, стал записывать протокол дальше. Было ясно, в «Цепелине» ничего толком про Ивана Егоровича не знали, а если там и опрашивали пленных, то те выдумали им бородатого и косматого генерала.

— Да ну их к лешему, — добродушно отозвался Иван Егорович, когда Игорь рассказал ему комическое происшествие с дедом Трофимом, — давай, Игорешка, отправляй их на Большую землю. У нас тут дела поважнее есть...

И подарил своему заместителю пачку папирос «Северная Пальмира» из посылки, которую получил от Ряхичева. Подарил еще и новомодный целлулоидовый подворотничок, второй же оставил для Лазарева: пусть походит последние дни здесь франтом. Ему он тоже дал пачку «Северной Пальмиры», а Инге подарил полученный от Виктора Аркадьевича одеколон «Мои грезы» и плитку шоколаду: будет прогуливаться с Сашей, погрызет.

Но Саша подворотничок не подшил, папиросу не закурил, спрятал и то и другое, по его словам, на потом. Разжившись у подрывников трофейной гитарой, пел полюбившийся ему в эти дни чувствительный романс:

Там, под черной сосной,  
Под шумящей волной,  
Друга спать навсегда положите...

И после бурного аккорда переходил к совсем уж рвущим душу словам:

Он взглянул потухающим взором  
На дышащие негой леса,  
А в пространстве высот кругозором  
Там сияли над ним небеса...

Пел он, что называется, сквозь слезы, но все-таки казалось, что Саша подсмеивается и над чувствительными словами, и над рыдающей музыкой, и над своими угрюмыми и томящимися слушателями:

Он сказал с нап-р-р-ряженным усиьем,  
Обращаясь к пер-р-р-натым певцам:  
«Наслаждайтесь свободой, весельем,  
Я же скоро уйду к праотцам...»

— Репертуарчик бы надо освежить, — сказал дед Трофим, — к нам какие-никакие эстрадники приезжали, а такую муру никто не пел... Впрочем, один прибыл перед войной незадолго, так по нем так областной орган печати дал, что даже слишком резко, вроде «разнузданное мещанство»!

— Пой, Александр, не слушай деда, — велел Златоустов, — он чересчур в искусстве силён. После войны руководить всем пением станет, а пока наша власть.

Вечером, попозже, Лазарев сидел с Ингой на крыльце и рассказывал ей негромко, словно стесняясь:

— Что били, это пустяки, это перенести можно: только у них другие ухищрения имелись, это я, правда, не видел, это мне рассказывали ребята наши. Вот дело нужно слепить — групповой побег. Или подпольная организация нащупана, а выловить-ликвидировать не могут, никто имен не называет. Тогда из другого лагеря привозят жену и сынишку. И вот сынишку и жену пытаются всякими пытками на глазах у мужа и отца, который знает имена и не называет.

— Ладно, перестаньте, — попросила Инга.

— Для нервных неприятно, что говорить, — согласился Лазарев, и глаза его вдруг блеснули во тьме. — И больше того, Инга, минует война, справят люди День победы с вином и закуской и постараются это дело начать забывать. Они все нервные, все с переживаниями. И даже еще так скажут: у этих самых палачей тоже жены с детьми имелись, если бы они своего оберфюрера или кого там не слушались, и их бы в газовые камеры согнали. Один у нас в лагере был, такой кроткий житель-проживатель, утверждал, что надо понять, а тогда можно и простить. А ежели я, некто Лазарев Александр Иванович, понять не желаю, тогда как? Не знаю, какие у вас взгляды, но я так рассуждаю: всех их, которые к делу пыток и этих ужасов были причастны хоть боком, надо уничтожить, чтобы никогда больше человечеству такое неповадно было...

Она положила теплую руку на его запястье, он посмотрел на Ингу сбоку, словно удивился, кто это рядом с ним сидит, и попросил, вставая:

— Извините!

— Куда вы?! — удивилась Инга. — Рано еще.

— Худо мне с людьми, Инга, — пожаловался он, — не могу ничего не делать, ожидать: слишком, видно, долго ожидал...

— А один вы разве не ждете? — спросила Шанина. — Ведь вы же думаете?

— Раньше думал, теперь бросил, — с коротким вздохом произнес Саша. — Только маюсь и ровно ничего больше...

Недели две он скрывался. Локотков сказал Инге очень нехотя, что Саша «на дальней базе». Потом она увидела его, за это время он отрастил себе полубакенбардики и усишки фасонной формы, отчего лицо его приобрело

мерзейшее выражение уездного кавалера и души общества конца прошлого века.

— Для чего это вы? — удивилась Шанина, и в голосе ее Саше почудилась обида.

— А разве не идет?

— Вы думаете, идет?

— Уверен даже, — сладко улыбаясь, ответил Лазарев. — Любая дамочка с ума сойдет...

— Я не знала, что вы просто пошляк! — удивилась Инга, и губы ее дрогнули, словно она собиралась заплакать.

— Пошляк-пошляковский, — совсем засиял белыми зубами Саша. — В жизни живем мы только раз...

Когда Инга ушла, Локотков сказал:

— Для чего огорчил человека?

— А разве огорчил? — обеспокоился Лазарев.

Новая внешность Лазарева заставила Ивана Егоровича изменить ему биографию: теперь он сделался ленинградским торговым работником, судимым в Токсово за крупную недостачу в хозяйственном магазине. В лагере же, отбывая заключение, он научился шоферить. Происхождение — из рабочих, бывший член ВЛКСМ.

И эту легенду, а также все подробности, с ней связанные, Саша запомнил к утру. На рассвете Иван Егорович заговорил с Сашей об одноногом матросе. Лазарев слушал внимательно.

— Посетишь его. Он разговаривать будет скрытно, очень даже, возможно, резко. Ты не сдавайся и вдруг скажи фамилию Недоедов. От Недоедова ты. И еще скажи: с полиграфическим приветом.

— С полиграфическим приветом, — повторил Лазарев.

— Недоедов.

— Недоедов, запомнил.

— Ошибиться нельзя. Матрос этого не любит.

— А как отыщу?

— Помогут. Из Лопатихи доведут.

— Это с ума сойти, какая у вас организация! — восхищенно сказал Саша. — Все насквозь пронизано.

Локотков промолчал: говорить ему не хотелось и на душе было скверновато. Если бы Лазарев хоть немного страшился грядущего, Иван Егорович чувствовал бы себя лучше. А он готовился к уходу, как к празднику. Что же это? Служит им или вправду так чист сердцем и бесстрашен?

Отпускать или погодить?

В молчании они посидели, покурили табаку из лазаревского кисета, теперь Саша угостил Ивана Егоровича.

— Ну, что ж, — сказал Локотков, поднимаясь.

Встал и Саша.

— Желаю удачи! — произнес Локотков. — Действуй, Александр Иванович.

Саша не ответил. Из землянки они вышли вместе, бок о бок зашагали по базе. И тут Иван Егорович плечом ощутил, как вздрагивает Лазарев, и тотчас же понял: волнуется. Очень волнуется. И не будущего он боится, а чувствует это последнее перед расставанием недоверие. Тогда, придерживав Лазарева плечом, Локотков сказал негромко, но так, что Лазарев расслышал каждое его слово, каждое, бесконечно нужное ему сейчас слово:

— Будь здоров, товарищ лейтенант!

Лазарев коротко вздохнул. Его горячая рука была крепко стиснута огромной рукой Локоткова. Было так темно, что они не видели даже лиц друг друга, и такая тишина стояла, что оба слышали чистый и тихий шелест густо падающего сухого снега. И наверное, это было очень хорошо — и тишина, и тьма, и снег, потому что иначе Лазарев бы не выдержал. Ведь ему сейчас, сию секунду вернули звание, его воинское звание, он знал уже:

не такой мужик Локотков, чтобы оговориться, он не оговорился, он вернул Лазареву его честь, чтобы тот шел выполнять свою воинскую работу, как положено солдату, военному человеку, воину.

Так постояли они во тьме, в чистоте и в тишине недолго; потом каждый зашагал в свою сторону — Иван Егорович к Дворищам, а Лазарев через многие километры к селу, на далекое собачье тьявканье, туда, где фашисты играли на губных гармониках, где они пели баварские, или мюнхенские, или берлинские песни, жарили на свой манер гусей, стряпали свою любимую кровяную колбасу...

Эту ночь Локотков проспал спокойно, а вскорости начали поступать сведения от связных, которые, не зная, зачем они это делают, проверяли и перепроверяли поведение Лазарева на территории, временно оккупированной немецкими захватчиками.

Первое сообщение Иван Егорович получил из Пскова. Разведчица Г. сообщила оттуда, что «Л. вел себя вне всяких подозрений», «ни в какие помещения» не заходил, «кроме назначенного», после чего посетил рынок, где купил табаку, молока и бутылку водки; молоко выпил, закурил, а водку спрятал, с чем и отправился на вокзал, где находились в большом количестве мирные жители, угоняемые немцами на Запад. На станции «Л. познакомился с девушкой, а 27 октября вместе с ней сел в вагон и выбыл из Пскова в направлении Эстонии».

Читая это сообщение, Локотков невесело усмехался. Ему было неприятно, что он проверяет Лазарева так до тошно, но иначе поступить он не мог. Если бы риску подвергалась его жизнь, он бы, конечно, не стал устраивать Лазареву эдакое вокзальное знакомство, но некоторое время он был обязан «пасти» Лазарева, чтобы убедиться наверняка в его верности и преданности делу...

Несколько позже прибыла бумага о том, как Лазарев достиг Пскова. Как и было намечено заранее, Саша останавливался дважды — в Козловичах и Лопатихе. В Псков он вошел спокойно, никто его не задерживал. Документы, видимо, в полном порядке, потому что на немецком КПК Л. был пропущен быстро, без осложнений.

Вскорости к Ивану Егоровичу заявила разведчица. Олена и была той девушкой, с которой Лазарев «вместе сел в вагон и выбыл из Пскова в направлении Эстонии». Ее всю трясло: она попала в перестрелку между карателями и группой подрывников, «набралась страху», по ее словам, — и доложила, что Лазарев — «продажный гад».

Локотков вопросительно на нее глядел.

— И недели у эстонцев не батрачил, — быстро тараторила Олена, — пошел перед фрицами хвостом вертеть. Там, в Печках, у фрицев училище или чего такое, забор высоченный, не углядишь, и с дороги прогоняют. Он в эту школу и наладился. Я ишачу на кулаков, я дня-ночи не вижу, а он ручкой мне помахал и на завтра уже в лягушачьей форме. В охранники заделался лагерные.

— Сволочь! — веселым басом сказал Локотков.

— Гад продажный! — блестя глазами, повторила Олена. — И не стыдится. Довольный, аж прямо сияет. Пистолет при нем, усы закручены, фуражка немецкая с долгим козырьком — разжился, сатана хитрая, шоколадки для угощения по карманам распихнуты. Конечно, ему житье разлюли-малина. Даже песни поет.

— Да что ты! — удивился Локотков.

— Точно говорю! Что ни день, то он с ними дружнее. Они в Халаханью шастают на учение, курсанты эти, изменники, и он при них. Давеча, сама видела, яблоки моченые повез начальнику, целый бочонок.

— Ничего, рассчитаемся,— деловито посулил Локотков, впрочем без всякого гнева.— Будет и на нашей улице праздник — повесим гада!

Потом заглянула к Локоткову Инга, совсем тихая, молчаливая. Она ни о чем не спрашивала, догадывалась: Лазарев ушел на задание. Исполнилось то, о чем он так мучительно, так жадно мечтал, он делает дело. Но где? Какое? Инга не спрашивала, знала: все равно ответа не будет.

Впрочем, в бригаде вообще было не положено спрашивать, кто где.

Потом надолго наступило в новостях затишье.

Иван Егорович ходил с подрывниками на железную дорогу, побывал два раза в Пскове под видом зайки-полудурка, встречался со своими людьми, изготавливал документы, нужные для дела, затем долго охотился за провокатором Пучеком — чудовищным выродком, давно запродавшимся немцам...

Этот Пучек снабжал желающих уйти к партизанам винтовками со спиленными бойками для того, чтобы немцы забирали этих людей «с оружием в руках». Он же выдал жандармерии двух немецких солдат за то, что они «давали слушать русское радио местным обывателям». Солдат увезли, а обывателей постреляли без суда.

Пучек был казнен. Потом Локотков с Игорем зажали в погребе группу карателей и рванули их там гранатой; в общем, без дела не сидел, но думал все время о своем Лазареве. Наконец тринадцатого декабря, то есть за семнадцать дней до намеченного срока, разведчица, именуемая Е., доставила записку, датированную еще серединой ноября: «Намеченной цели достиг, ваше задание выполнено полностью, прилагаю схему постов «Ш», а также фамилии и их установочные данные. Жду ваших указаний на дальнейшие действия».

Схема-план была точной с приложением масштаба. Хорват и Лашков-Гурьянов жили в отдельных коттеджах на территории школы, расстояние между домиками — 300 метров, охраны особой нет, обслуживаются вестовыми, место проживания вестовых обозначено синими квадратами. Лашков и Хорват имеют верховых лошадей — конюшня обозначена синим треугольником. Посты охраны территории школы обозначены...

Е. хлебала суп из пшенички. Над партизанскими Дворищами в студеном зимнем небе крутился «хейнкель», никак не мог точно засечь партизан. Локотков писал Лазареву, шепотом диктуя себе:

«...какая будет операция, известим впоследствии. Однако же в назначенную для нее ночь ответственным дежурным по школе надлежит быть вам, а заместителем — человеку, который вам известен и несомненно вашим приказам подчинится. Во время этого ответственного дежурства вы должны знать точно, где находится личный состав школы, а также его руководящие лица, как охраняется территория школы и кто размещен на посты охраны. К моменту подхода к школе наших людей вы должны находиться в караульном помещении и исполнять свои обязанности, ваш же заместитель должен отдыхать...»

Е. доела холодный суп и попросила закурить.

— Иначе засну,— пригрозилась она.— Устала я до безумия.

— А ты поспи, девушка,— посоветовал Иван Егорович,— обувку скинь и приляг под тулуп. Я писатель замедленный, мне писание таких бумаг соленым потом дается.

Разведчица заснула быстро и во сне сразу заплакала. А Локотков все писал и писал:

«Вы будете должны создать перед своим замом по охране видимость вызова по телефону, если тот будет

крепко спать в то время, которое вам назначат позвонить по телефону. Разговора ни с кем вести не нужно, а когда будет звонок-отбой при нажатом контакте, вы должны создать видимость беседы с начальником школы и якобы повторить его распоряжения, сводящиеся к тому, чтобы подать к дому Хорвата упряжку лошадей. После этого вы выходите из помещения, но предварительно пробуждаете...»

Тут Локотков подумал и переправил «пробуждаете» на «будите». Но и это ему не понравилось, тогда он написал «разбуживаете».

«...предварительно разбуживаете своего зама и, передав ему приказание Хорвата, запрягаете двух коней и выезжаете из территории школы для встречи трех наших представителей, которые произносят вам условный пароль. Офицеры эти будут в форме гестапо. Вы въезжаете с ними в ворота и выполняете их приказания. После завершения операции вы следуете вместе с вышеуказанными офицерами в назначенное ими место».

Перебелив письмо и оформив его, как было условлено с Лазаревым, Локотков разбудил разведчицу, порасспрашивал ее по интересующим вопросам и проводил своей тропкой к особо секретному выходу из лагеря, откуда провозжать ее вышел Игорь. Е. благополучно добралась до Печек и уже через неделю доставила ответ от Саши. В этот раз она пришла совсем замученная, до того, что Иван Егорович сразу сдал ее доктору Знаменскому на особое питание и с надеждой, что Павел Петрович хоть какие-никакие «уколышки» сделает разведчице, потому что ее и ноги не держали, и плакала она по пустякам, и дергалась, словно контуженная.

— Водочки ей надо выпить,— угрюмо сказал Знаменский.— В общем, сделаем.

На этот раз Саша писал так:

«Согласно вашему заданию, полученному мною от девушки 17 декабря ночью, будет, конечно, сделано все. Прилагаю декадный пароль, список руководящих лиц школы и др. В настоящий период вхожу в авторитет у командования, назначен командиром взвода охраны школы, имею обильные знакомства. Во мне прошу не сомневаться. С приветом, ваш Л.»

Пока Е. спала в новом партизанском госпитале, Иван Егорович опять писал свое письмо-инструкцию Лазареву. Здесь уже было сказано без обиняков, какая именно предстоит операция, и было еще назначено время в ночь на первое января 1944 года. В эту бесшабашную и гулливую пору Лазареву будет легче всего заменить какого-либо начальника караула по-товарищески, да и авось многие будут в подпитии, что, разумеется, поможет делу. Было в письме указано и место встречи с «офицерами гестапо», был и их пароль, было и задание Лазареву: обеспечить немецкий пароль на новогоднюю ночь. Оформлял письмо Локотков до утра и, провожая в этот студеной день разведчицу Е., сказал ей, что теперь они встретятся в сорока километрах от Печек, где Иван Егорович будет ждать девушку в условленном месте, потому что ей еще одну такую ходку не сдюжить.

— Так фрицы вас там переймут,— сказала Е., вскидывая на Локоткова печальный взгляд.— Это ж самое логово.

— Ничего, выгребусь,— спокойно ответил Локотков.— Я не раз бывал в логовах, друг-товарищ.

С этого самого двадцать первого декабря даже привычное для всех окружающих наружное спокойствие оставило Ивана Егоровича. То ли все пережитое в войне дало себя знать именно в эти дни, то ли Лазарев забрал у него изрядно душевных сил и уверенности в себе, то ли огромные, горестные и замученные тревогой глаза Инги

довели его до предела своим постоянным выражением вопроса, но, в общем, Локотков сам заметил, что порою овладевает им то, что называл он про себя петушковщиной. Теперь он все время, неотступно, и днем и ночью выверял предпринятые им действия, выверял и свои поступки и проверял сам — придирчиво, шаг за шагом, час за часом. Все будто бы получалось правильно, без просчетов и мельтешни, но и то, что получалось правильно, тоже тревожило Локоткова: ежели все больно ловко и складно, то еще раз следует выверить, потом поздно станет выправлять слабинку.

Самым трудным ему представлялось то обстоятельство, что он оказался в этом деле один, не мог решительно ни с кем посоветоваться, не мог ни у кого перепровериться. И спрашивал, и отвечал, и контролировал вопросы и ответы только он, никто больше.

Двадцать третьего были к нему доставлены «гестаповские офицеры» — два эстонца и латыш, немного знающие по-немецки, а главное, умеющие выглядеть «иностранцами». Эту пресвятую троицу Иван Егорович уже давно углядел в дальнем подразделении бригады, бывая там по служебной надобности, но совсем их не знал и только нынче познакомился. Латышу было под сорок, его звали товарищ Вицбул, а эстонцев звали одного — Виллем, а другого — Иоханн. Все трое были тощие и измученные боями, из которых только что выскочили их части, и Локотков сразу отвел своих гостей в госпиталь, где молчаливый Знаменский должен был в самый кратчайший срок «довести ребят до кондиции», то есть нагнать им жиру и представительности, чтобы «не гремели костями».

— Салом их кормить? — спросил Павел Петрович.

— А хоть бы и салом.

— Фрукты свежие давать?

— И фрукты можно! Не жалея друзьям-товарищам, доктор, ничего!

— А чашка крепкого бульона не подкрепила бы их силы? — книжным голосом осведомился Знаменский. — Так вы имейте в виду, Иван Егорович, я, кроме как мороженой картошкой и немецкими сардинами, ничем не располагаю.

— К утру все будет, — пообещал Локотков, — а пока не жалея, доктор, сардин. И чего еще в загашнике запрятано, не жалея. Подможем!

Он иногда любил так выражаться, Локотков, будто он закоснелый доставала. И за ночь чекисты действительно спроворили поросенка. Будущие «гестаповцы» лежали в своей тихой и тайной палате, словно работали, и ели, словно работали, и спали-отсыпались, наверное, за всю войну так, будто трудились. Раз в сутки Локотков делал им инспекторский смотр и выговаривал вежливо:

— Слабо жиреете, господа гестаповцы. Щеки нужны, розовость, сытость во взгляде. Может, еще сардин желаете?

«Гестаповцы» желали всего и от обжорства нещадно маялись непривычными к богатой и жирной пище животами.

— Не мешайтесь вы в мою науку, — попросил как-то доктор Павел Петрович Локоткова. — С такой системочкой все прахом пойдет.

Еще «гестаповцы» репетировали свой не слишком хороший немецкий язык, и тут, к сожалению, Иван Егорович ни в чем не мог им помочь. Он лишь шпаргалку им русскую сочинил — тему будущей краткой беседы с начальником школы Хорватом. Написано это было так:

«Вы. Мы из гестапо. Вы господин Хорват?»

Он. Что-нибудь вам отвечает, вроде «так точно, Хорват».

Вы. Господин Хорват, вы арестованы органами СС. Предъявите ваше оружие.

Он. Вот, пожалуйста, мое оружие.

(А если он сопротивляется, то вы арестовываете его силой и забиваете ему в рот тряпку, чтобы не верещал. Потом забираете все, какие есть, документы и вместе с Хорватом доставляете в наше расположение. А если не сопротивляется и не скандалит, тогда беседа ваша продолжается.)

Вы. Где находятся ваши документы? Где находятся документы школы? Все ли это документы? Если вы подымете шум, мы вас уничтожим! Убьем! Застрелим! Вы будете убиты!».

Эстонцы благодушно репетировали, лежа на своих топчанах, Локотков требовал от них свирепости, достойной гестаповских деятелей. Латыш сказал:

— Сейчас мы выучиваем текст. А когда увидим этот сволочь, мы будем хорошо свирепые. Очень! Больше не надо! А сейчас мы еще не можем, мы не видим объект. Тут все свои люди, тут теплый печка, тут трудно делать злобу. Пожалуйста, именно так все будет...

— Нет, так дело не пойдет, — сказал Локотков, — опасюсь я, друзья-товарищи, за ваш немецкий выговор. И сам не понимаю. Приведу вам девушку одну, она займется, это ее специальность, а ваше дело небольшое: подчиняться.

Инга, конечно, сразу догадалась, что эти люди будут связаны когда-либо с ее Лазаревым, но виду не подала и только все силы свои вкладывала в занятия, стараясь заставить «гестаповцев» правильно произносить те фразы, которые велел выучить Иван Егорович. Спросить, не понадобится ли в их обиходе еще что-нибудь, она, разумеется, не смела, только вдалбливала в свою «школу» назначенные слова с соответствующим произношением да курила беспрестанно, пользуясь тем, что «гестаповцев» табаком не обижали.

Локотков же, запершись в своей землянке, трудился лично и неустанно еще по одной линии: изготовлял будущим «деятелям СС» достойное их обмундирование, знаки различия, ордена, обувь, головные уборы, портсигар; даже голландские сигареты «Фифти-фифти» у него были «засундучены», все у него, у хозяйственного чекиста, имелось, «каждой веревочке место», как любил говаривать Локотков, обследуя поле боя и насупив брови.

Еще в горячем октябрьском сражении, имевшем место на подступах к большому селу Жарки, аккуратный и умеющий думать далеко вперед, Иван Егорович, по словам комбрига, «солидно прибарахлился»: снимал мундиры с офицерских трупов, а если мундир был уж слишком безнадежно окровавлен, он срезывал погоны, отвинчивал ордена, значки, забирал документы, знал, что придет такой час — сгодится амуниция. И верно, вышел час, теперь очень даже сгодилось.

На мундир товарища Вицбула Локотков укрепил два Железных креста, медаль «За зимовку в России», эстонцев наградил пожизненно — по одному Железному кресту и медальки им дал какие-то, вроде латунные, так оно и следовало, если Вицбул — майор, а Виллем и Иоханн — лейтенанты. Впрочем, Иоханн попозже сделался обер-лейтенантом, по той причине, что погоны обера оказались парными и почище. Все эти одежки и шинельки Локотков сам штопал, сам отпаривал, сам развешивал на самодельные распялки, чтобы не помять до назначенной минуты. И документы своим «фрицам» он изготовил — воинские офицерские книжки, командировочные предписания, еще какой-то листок с орлом и свастикой, на нем было написано об оказании содействия офицерам Грессе, Митгофу и фон Коллеру.

И оружием для «гестаповцев» Локотков занимался, и группу прикрытия инструктировал, и группу разведчи-

ков. Все это было трудной работой, потому что само задание в его подробностях он не мог расшифровать своим людям, а они из-за этого обстоятельства действовали словно в потемках.

Поросенка «гестаповцы» прикончили без всяких видимых положительных результатов, съели, и вся недолга, на лицах это обстоятельство никак не отразилось. Немецкие сардины тоже не помогли потолстению. «Каким ты был, таким и остался», — произнес товарищ Вицбул, разглядывая себя в осколок зеркала.

Еще случилась мелкая неприятность с парикмахером. Для фасонной стрижки приглашен был дед Трофим, который, по его словам, работая в театре, немного подучился на театрального парикмахера, потому что рабочим сцены служить было «бесперспективно». Однако же, начав с товарища Вицбула, он потерпел полное поражение, и самому Локоткову пришлось голову Вицбула побрить бритвой наголо. На Иоханна ни одна фуражка не лезла — косматый дед Трофим и его измучил, и сам измучился, покуда не приостановил свои эксперименты на «бобрике», который назвал «а ля Капуль».

— В общем, давай выметайся отсюда, — вскипел Локотков, — тоже нашелся театральный парикмахер...

Виллем сам сделал себе короткие бакенбарды, Локотков подбрil ему шею. Накануне отправления «гестаповцев» посетил комбриг. Пришел вечером, посидел, помолчал. Латыш с эстонцами беседу не начинали: не болтливые были все трое. Погодя комбриг сказал:

— Забирает мороз. К тридцати жмет.

Товарищ Вицбул ответил светским тоном:

— Зимой так бывает.

— Бывает даже больше, — поддержал Виллем.

— Хорошо, что нет ветер, — живо откликнулся Иоханн.

На этом беседа закончилась. Комбриг, выйдя из госпиталя, сказал Локоткову:

— Ребята ничего, драться, если понадобится, будут. Ребята вполне крепкие, Иван Егорович, надежные...

— Сомневаться не приходится, — ответил Локотков.

Двадцать девятого декабря группа Ивана Егоровича выехала с главной партизанской базы на Ваулино, совсем недалеко от Печек. Сани долго путали следы, прежде чем, как говорят моряки, лечь на курс. Взвыла пурга. На «гестаповцах» еще были русские полушубки. Их немецкое трофейное обмундирование, отпаренное и отглаженное Иваном Егоровичем, было им же уложено в немецкий трофейный чемодан, на котором сидел сам Локотков. Эстонцы и латыш спали, как велел им доктор, — спать и осторожно кушать, как только представится такая возможность.

За «гестаповцами» и Локотковым на нескольких парах коней, в розвальнях, двигалась мощная группа прикрытия. Там пели «Перепелочку».

Ты ж моя, ты ж моя,  
Перепелочка...

В соломе угревались гранаты РГД, Ф-1 — свои, безотказные, привычные, под руками лежали автоматы.

Рядом с Игорем, глядя перед собой в белое марево метели широко открытыми, замученными глазами, сидела Инга. Игорь спал. Перед выездом Локотков протянул своей переводчице автомат, сказал как бы невзначай:

— Возьми, товарищ Шанина, это — лазаревский, тот, из-за которого ты меня поедом ела...

Теперь Сашин автомат лежал на ее коленях.

...В то самое время, когда оперативники Ивана Егоровича втаскивали таинственный чемодан с обмундированием для «гестаповцев» в избу на окраине Ваулина, к

школе в Печках подъехал «ошпель-адмирал» доктора Грейфе. Шофер Зонненберг властно нажал на клаксон.

Командир взвода охраны разведывательно-диверсионной школы рубильником включил прожектор у ворот и, высветив сверкающим светом машину, нажал кнопку «Сбор по тревоге». Только тогда солдаты охраны, делая вид, что страшно торопятся, начали разводить створки ворот. Командир взвода знал службу — и шеф и Хорват должны быть им довольны в равной степени.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

**З**а четыре дня до своего визита в ВафеншULE доктор Грейфе узнал, что его не то чтобы увольняют в отставку, но куда-то он будет непременно перемещен. Покойный начальник главного имперского управления безопасности Рейнгард Гейдрих не имел обыкновения увольнять — он уничтожал, и преемник его, Кальтенбруннер, поступал так же. Заменял же часто, «чтобы не насиживал гнездо и не выводил цыплят», как любили говорить приближенные главы СС и СД. Перемещения же, когда они проводились часто и поспешно, все-таки, как правило, предопределяли близкое и окончательное падение, и оберштурмбанфюрер, естественно, эти четыре дня пребывал в состоянии озабоченности.

Кого Берлин прочил на его место, доктор Грейфе, разумеется, не знал, но кого бы ни назначили, разведывательно-диверсионные школы из цепких рук оберштурмбанфюрера явно ускользали, а именно в них содержалось и служебное, и материальное будущее доктора Грейфе, обладающего способностью смотреть вперед не только в

смысле обеспечения своего существования награбленными ценностями, но и в смысле своей необходимости тем силам, которые после разгрома германской имперской машины несомненно будут испытывать острую нужду в людях, подобных Грейфе.

А оберштурмбанфюрер желал, чтобы в нем испытывали нужду, и сейчас предпринял инспекционную поездку по школам только затем, чтобы на местах ознакомиться с досье агентов, заброшенных в Советский Союз на длительное оседание. Эти агенты должны были стать в будущем его основным капиталом, его ценностью, гораздо более немеркнувшей, нежели любые сокровища мира. Ими он и собирался козырнуть в то решающее мгновение, которое виделось ему через каких-либо два-три года, в час капитуляции и конца рейха.

Список заброшенных из Ваффеншуле был невелик, всего девятнадцать человек. Люди эти, с их подлинными фамилиями, кличками и явками, были поименованы на специальном листке; теперь же Грейфе хотел только поглубже разобраться в этих биографиях, чтобы в решающие для его второй карьеры часы, а эти часы уже наступили, предложить их швейцарскому подданному, ожидающему доктора Грейфе в Риге. Мэлвин Дж. Стайн желал иметь к новому году полные списки агентурной сети в Советском Союзе, и тогда он бы поручился, по его собственным словам, за будущее нынешнего оберштурмбанфюрера Грейфе. В противном случае Мэлвин Дж. Стайн всякую ответственность с себя снимает.

Все это не слишком затрудняло Грейфе. Неприятно было только одно обстоятельство: швейцарский подданный, несомненно, не удовлетворится джентльменским соглашением. Ему понадобится официальный документ с печатью, но эти официальные документы в канцелярии «Цепелина» оформлял ставленник еще Гейдриха — «гестапо в

гестапо», как его именовали прочие, с которым доктор Грейфе не желал иметь никаких решительно дел, особенно на прощание.

И оберштурмбанфюрер, инспектируя в этот раз свои школы, оформлял списки школьными печатями. Разумеется, это была опасная игра, «гестапо в гестапо» мог об этом пронюхать, но у Грейфе был простой выход: зная наперед, что Кальтенбруннер его в ближайшее время не примет, как не принимал он никогда никого из смещаемых или перемещаемых, Грейфе всегда мог сыграть, что готовил эти заверенные списки для того, чтобы передать их лично начальнику главного имперского управления безопасности, будучи уверен, что они представляют собой интерес. В грядущую же эпоху «штурм унд дранг» — «бури и натиска» такие списки не смогут не заинтересовать даже самого Гимmlера.

С этими мыслями доктор Грейфе и прибыл в Печки.

Покуда шофер Зонненберг, знающий церемонии неожиданных наездов шефа в подведомственные ему учреждения, медленно разворачивал машину, дежурный по школе уже выскочил с горном на плац, и курсанты в своем французском обмундировании и чешских кепи построились для торжественной встречи. Хорват и Гурьянов с престарелым князем Голицыным и другими мелкими деятелями встретили доктора Грейфе на правом фланге, преподаватель строевой подготовки Митгофф отрапортовал о том, что положено, шеф молча его выслушал и, сопровождаемый начальником школы и его заместителем, пошел в коттедж Хорвата.

День выдался морозный, ясный, с одиноко падающими, медленными снежинками. Голубовато-серая стена курсантов не двигалась с места, оберштурмбанфюрер забыл разрешить им продолжать занятия. Впрочем, это не имело ни

для них, ни для него ни малейшего значения. «Со временем или несколько позже разойдутся», — решил он.

— Господин доктор будет обедать? — забегаая за левое плечо Грейфе и проваливаясь в сугроб блестящими сапогами, спросил Хорват. — Или просто совсем легкие закуски и дичь? Есть превосходный тетерев.

Грейфе думал. Ему было приятно это движение возле плеча, это почти порхание и восторженный лепет интеллигентного Хорвата. А за спиной дышал Гурьянов, сбивался, оторопел от страха, с ноги. Оба они не знали, зачем приехал шеф — карать или миловать, награждать или взыскивать.

— Дайте только птицу, — сказал доктор Грейфе. — И пусть мой шофер принесет чемодан из машины, мне надо переодеться, замерзли ноги.

Лашков-Гурьянов перестал дышать за спиной шефа: вернулся обратно выполнять приказание. А оберштурмбанфюрер СС Грейфе, не оборачиваясь, спросил в пустоту — Хорвата:

— Как он?

Хорват и услышал и понял:

— Предельно старателен. Очень надеется на офицерский чин. Все его будущее связано с величием Германии...

— Разве только его будущее? — сухо осведомился доктор Грейфе.

Пока Хорват сбивал для шефа коктейль (Грейфе долго жил в Америке и усвоил кое-какие тамошние обиходные обычаи), старательный шофер Макс согрел оберштурмбанфюреру домашние меховые туфли, а солдат-истопник набил камин сухими, смолистыми дровами. Грейфе сел в кресло, привезенное из Пскова и обтянутое немецким кретоном — желтое с синим, вытянул ноги к огню, принял из тонких пальцев Хорвата мартины, пригубил и сказал:

— Недурно.

Потом осведомился:

— Вы были когда-то барменом?

— Так точно,— слегка смутившись, ответил Хорват.— В тяжелые для Германии дни мне приходилось делать многое...

— Как и всем! — ответил шеф.— Как и всем или, во всяком случае, очень многим. Но это не повторится. Рейх никогда не забудет своих сынов, воевавших на Востоке, в этих проклятых местах...

Он еще отхлебнул и прислушался.

— У вас всегда так свистит ветер?

— Это с Псковского озера,— пояснил Хорват.— Не всегда, но часто.

— Вы берлинец?

— Так точно.

— Готовьтесь, новый год вы будете встречать дома.

Хорват замер с открытым ртом. Грейфе, видимо, приехал миловать и награждать. Это первый отпуск за всю войну.

— Вы заслужили отдых,— со вздохом произнес шеф.— Мы все многое заслужили, не правда ли? И наши заслуги не забудутся, господин Хорват, нет, их оценят по достоинству еще при нашей жизни...

«Что с ним?» — подумал Хорват. Разве мог он когда-нибудь предположить, что сам оберштурмбанфюрер станет с ним разговаривать на короткой ноге? И так просто, так любезно, так по-дружески! «Впрочем, он мой гость!» — решил начальник ВаффеншULE.

Разве могло прийти в голову Хорвату, что нынче он нужен шефу? Разве мог он вообразить, зачем шеф приехал в его богом забытые Печки? Разве мог он подумать, какую игру готовит господин доктор Грейфе?

Потом, когда пришел Лашков-Гурьянов, шеф стал их поить со всем присутщим ему в этом деле искусством и

опытом. У него был огромный опыт спаивания. Он умел делать вид, что напивается сам, и поить других смертно. Он умел даже напиваться и все-таки сохранять в голове все, что было нужно. Он поил болтунов в Бостоне и Филадельфии, в Торонто и Марселе, он напивал своими коктейлями двух нужных ему дураков в Вене до зеленого змия, он пил с испанцами и португальцами, с поляками и финнами еще в самом начале своей особой деятельности, и никто в нем не подозревал того, кем он был, все принимали будущего шефа «Цеппелина» за веселого малого, «совсем, совершенно, абсолютно не похожего на немца».

Он умел походить и не походить.

Он бывал легок и прямодушен, добр и щедр, сух и педантичен, он бывал таким, каким ему было нужно быть в данное время, в данной обстановке, среди данных людей.

Сейчас он был прост. Он был доступен и настроен дружески к этим простым ребятам, исполнителям, работникам, почти нижним чинам. Он ведь не в своем кабинете. Он у друзей по работе, так выразился Грейфе. И китель он нарочно снял, пусть они простят его, он сделал это, чтобы погоны не мешали дружеской беседе. И пусть господ Хорват и Гуринов... виноват, Гурьянов... пусть они перестанут вскакивать и тянуться. И пусть выпьют. Мы же тут свои, у себя дома, мы можем наконец отдохнуть!

Повар в парадном колпаке и в халате, взятом у фельдшера, принес глухаря и еще каких-то изрядно пережаренных птичек. Потом появились квашеная капуста с клюквой, соленые огурцы, салат из какой-то дряни. Но доктор Грейфе все ел и похваливал. И про воинские звания заговорил, про звания, которые они получают в самом начале нового года. Ему нечего было терять, и, наклонившись к Гурьянову, он сказал доверительно:

— Все документы подписаны, в этом я так же уверен, как в том, что доктор Грейфе — шеф «Цеппелина»...

(Шефу не было чуждо чувство юмора). В новом году вы, господа, несомненно начнете новую жизнь.

Он перешел на испанский коньяк и обильно наливал его Гурьянову и Хорвату. Глаза доктора Грейфе источали пламень. А может быть, это яркий огонь камина отражался в его зрачках?

Камин пылал, ветер с Псковского озера тугими ударами охлестывал коттедж, здесь было жарко, почти душно. Глухаря, на удивление Хорвату и Лашкову, шеф вдруг стал раздирать руками; это было очень странно при изысканности манер оберштурмбанфюрера — руки, отламывающие крылья, выворачивающие лапки, шею, руки, которыми он раздавал куски глухаря, и его короткий смех при этом, и какие-то цитаты о древних германцах и о том, как они ели. И серый порошок, которым закончилась трапеза.

— Язва, — сказал шеф, — язва желудка!

Зонненберг вновь был вызван сварить кофе.

— И принесите сыры, — велел Грейфе совсем пьяным голосом, — слышите, вы, старый пройдоха!

Он был с ними предельно откровенен, Грейфе. Он даже сказал им, что его шофер пишет о нем сводки. Шофер получает специальные бланки.

— Этот дурак только не знает, что я тоже когда-то был шофером, — хохоча, сообщил Грейфе. — И бланки с тех пор изменились чуть-чуть. Меня едва не назначили возить самого старика Гинденбурга, но он протянул ноги...

У Лашкова-Гурьянова все плыло перед глазами. Хорват тоже изрядно насосался только из истерического почтения к начальству. Грейфе кидал кости глухаря в раскаленные угли камина и смотрел, как они там спекаются и чернеют.

— Теперь личные дела, — сказал он, — досье на всех ваших курсантов. Я же, черт возьми, приехал за делом.

Вам понятно, господа? Вы отличные парни, и все такое, и мы с вами встряхнулись, но дело есть дело, как говорят проклятые янки. Что вы на меня таращите глаза, Гурьяшкин, разве я так уж пьян?

Зонненберг убрал со стола.

— Выпейте, Макс, — велел ему шеф. — Вы же сладкий пьяница, я знаю. Там есть ликер. Но имейте в виду, что именно сладкие пьяницы — это конченные люди. Им место в газовых камерах, так мы с ними поступим после последнего акта, в эпилоге. Выпейте и ступайте! И не лезьте сюда, пока вас не позовут!

Макс ушел. Хорват еще подкинул дров в камин. Лашков-Гурьянов носил папки из соседней комнаты — папки с личными карточками, с фотографиями, папок было гигантское множество.

— Послушайте, вы шатаетесь, — сказал ему доктор Грейфе, — вы налакались, как свинья. Вы здорово пьяны, Гурьяшко?

— Никак нет, — вставая перед шефом, гаркнул Лашков-Гурьянов.

У него были две таблетки феномина, и он успел их принять. И нашатырного спирта он понюхал в прихожей. Сильно понюхал.

— Нет, вы пьяны! — засмеялся шеф. — Но я вас не осуждаю.

— Папок еще очень много, — из соседней комнаты произнес Хорват. — И они рас... рас... падаются...

Там действительно что-то падало.

Грейфе взглянул на часы. Было около восьми. Тогда он решил, что эти пьяные идиоты ничего не поймут, вынул из бумажника свой список и прочитал вслух, какие фамилии ему нужны. Лашков записывал карандашом. Карандаш был жесткий, но Гурьянов писал жестким карандашом с умыслом: на втором листе бумаги у него оста-

нется копия. Он еще не знал, зачем ему эта копия, но не мог отказать себе в удовольствии иметь копию того, что нужно такому высокому начальству, как Грейфе.

Вдвоем с Хорватом они отобрали нужные досье. Всего девятнадцать. Выдавленную карандашом копию Лашков успел вынести в соседнюю комнату, а там упрятать в карман френча. Доктор Грейфе сел к столу, Хорват услужливо повернул ему абажур так, чтобы свет не резал глаза.

— Дайте карандаш, — сказал Грейфе, — слышите?

Робея собственной смелости, Гурьянов протянул свой — твердый.

— В моей ручке кончились чернила, — брюзгливо пожаловался шеф. — Все кончается со временем.

И открыл первое досье. Досье Вершинина — моториста душегубки. Ему сделали легкую пластическую операцию — единственному из выпускников. Это был надежнейший из надежных, из всех, кого знал Гурьянов. И все остальные были надежными для фашистов людьми. Они были очень замараны, эти изменники, их руки были по локоть в крови. Это они поджигали гетто, они загоняли людей в газовые камеры, они выламывали у трупов золотые зубы, они выдавали себя за партизан и расправлялись со всеми теми, кто был связан с лесными людьми. Даже Гурьянов побаивался этих курсантов, когда они обучались.

— Вы можете подышать воздухом, пока я работаю, — сказал Грейфе. — В общем, убирайтесь к черту, вы мне не нужны.

Он писал твердым карандашом. Твердым карандашом на листе бумаги, который лежал на стопке таких же листов. Что он писал?

Гурьянов-Лашков уже совсем протрезвел. Или почти совсем. А Хорвата еще продолжало развозить, он ухитрился вынести в кухню наполовину опорожненную бутылку коньяку и как следует хлебнул из горлышка.

Грейфе писал быстро, сверяясь со своей узкой и длинной запиской. И Гурьянов сообразил: у них, в «Цепелине», нет такой картотеки. У них все данные сокращены. У них нет даже особых примет.

В соседней комнате он включил радио и сразу же напоролся на речь Геббельса и восторженные выкрики его слушателей.

— Господин оберштурмбанфюрер! — заорал он. — Скорее, господин доктор, говорит Геббельс...

Больше всего доктору Грейфе захотелось послать Гурьянова к черту, но это делать в данном случае никак не полагалось. Есть вещи, которыми не манкируют даже высшие лица в иерархии национал-социалистической партии. И, сделав приличное случаю выражение физиономии, Грейфе подошел к приемнику, шаркая своими меховыми туфлями. В это же мгновение на письменном столе зазвонил телефон: это новый командир роты охраны Лизарев почтительнейше просил включить приемник, так как докладывает господин Геббельс...

— Кто, кто? — хоть он и слышал, кто докладывает, спросил Гурьянов.

Он впился взглядом в четкий почерк доктора Грейфе. Против фамилии Вершинина стояло название города — Новосибирск. Против фамилии Гогелло — Свердловск. Против фамилии Саенко — Ташкент. Против фамилии Озеров — Архангельск...

— Что, что? — кричал Гурьянов. — Говорите яснее, у вас каша во рту...

Теперь он все понимал — Гурьянов-Лашков. И прошлый разговор в часовне, тогда, осенью, он вспомнил. На длительное оседание, вот в чем дело. Они заброшены на многие годы, пока их не кликнут, пока их не позовут. Не важно, кто, какие хозяева, новые или старые. Они будут служить любимым...

Швырнув трубку, он вернулся к радиоприемнику. Грейфе слушал со значительным выражением лица, слушал, но, наверное, ничего не слышал, полулежа на тахте. Хорват стоял. В его звании полагалось стоять в таких случаях. И Гурьянов тоже стоял. «На длительное оседание, — думал он, — на длительное. Шеф забрал их себе «в сундук». Поэтому он и приехал один сюда. Шалишь, шеф, мне они тоже пригодятся. Я понимаю теперь, кому ты собрался продать свой товар. Но ты подождешь! Ты еще подождешь! А я сделаю это быстрее тебя. Да, да, быстрее. Я продам их союзникам еще тогда, когда ты будешь только думать о сдаче. Я продам и получу подданство. Мне оно нужно, я маленький человек, я продам кое-что за право жить. А тебя все равно повесят!»

— Хайль Гитлер! — завизжал из приемника Геббельс.

— Хайль! — сказал Грейфе. — Как всегда, блестяще!

— Нет слов, — выпучился Хорват. — Грандиозный оратор...

— Зиг хайль, хайль, хайль! — гремел далекий зал, далекий Мюнхен.

«Нет, они еще сильны, — подумал Гурьянов. — Они ужасно до чего сильны. Они в полном порядке!»

Его холуйское сердце всегда сладко сжималось, когда чудилась ему мощь. Он готов был молиться на танковую колонну. Армада «юнкерсов», плывущая на восток, чтобы бомбить Россию, которая его вскормила и вспоила, вызывала в нем острое чувство восторга. От гусиного шага частей СС и СД его прохватывал озноб.

Доктор Грейфе с выражением сожаления, оттого что принужден заниматься делом, вместо того чтобы слушать Мюнхен, направился к письменному столу. От выпитого алкоголя он очень побледнел. Или от порошка?

— Счастливчик, — сказал Гурьянов, — я вам бесконечно завидую. Новый год вы будете праздновать в Бер-

лине. Кстати, вам следует немедленно начать готовиться. Мороженая птица, побольше дичи, масло, почему бы вам не побаловать семью. Сейчас я позову Лизарева, он все вам организует...

Чтобы не тревожить шефа и не мешать ему телефонным разговором, за новым командиром взвода охраны был послан солдат-истопник. На лице парня, прибежавшего через несколько минут, выражалась веселая готовность ко всему, что угодно начальству. От быстрого бега он разругнулся, глаза его блестели.

— Вам следовало бы сбрить эти дурацкие бакенбарды, — сказал ему Гурьянов. — И усы! На кой бес такие украшения?

— Некоторым нравится, — стоя «смирно», руки по швам, произнес Лизарев. — В смысле девушек.

Он поглядывал то на Хорвата, то на Гурьянова со странным выражением наглой скромности.

— Господин Хорват будет праздновать новый год в Берлине, — сказал Гурьянов-Лашков. — Он должен иметь с собой хорошую дичь к новогоднему столу, битую птицу — кур, уток, гуся, ему понадобится масло, шпиг. Надо организовать...

Лизарев слегка подался назад.

— В Берлине?! — громко удивился он.

— А что? — спросил Гурьянов.

Командир взвода охраны потряс головой и довольно глупо засмеялся:

— Ничего особенного, просто позавидовал. В Берлине! Шутка ли сказать! Такой город. И во сне не снится — повидать!

— Повидаете! — утешил Сашу Гурьянов. — Я в прошлом сентябре там был. Есть что посмотреть. И вы доживете, Лизарев...

— Хотелось бы,— с усмешкой произнес Лизарев.— Дал бы там жизни!

Он смотрел на свое начальство с дерзким выражением. С дерзким и загадочным. Только много позже, когда случился у него длительный досуг, вспомнил Лашков-Гурьянов это выражение лизаревских глаз и тон его, на который тогда не обратил решительно никакого внимания.

Ах, если бы обратил!

— Будет сделано,— бойко произнес Лизарев.— Только разрешите сейчас же на хутора отлучиться. С охотниками поговорю насчет дичины и остальное организую...

— Можете,— отворачиваясь от Лизарева, ответил Гурьянов.— Чтобы к завтраму все было, к двенадцати ноль-ноль.

Саша козырнул, щелкнул каблуками и вышел. Гудящий ветер с Псковского озера толкнул его в грудь, он повернулся, побежал по ярко освещенному сильными лампами плацу. Нужно было сейчас же написать, сию минуту написать, сию секунду. Но когда явится связная? И явится ли? И не заподозрит ли его Локотков в том, что он ловчит?

Ветер все еще свистал в его ушах, когда он захлопнул за собой дверь в жарко натопленной караулке. Солдат-немец спал на нарах, из приглушенного репродуктора доносилось кваканье: заседание в Мюнхене еще не кончилось. Написав все, что нужно, об отъезде Хорвата, Лазарев-Лизарев разбудил своего подчаска и, сказав ему, что идет на хутора по приказу Хорвата и Гурьянова, нырнул в лес за дорогой к Ново-Изборску. В темноте он не без труда нашел «свое» дерево. Следов к нему не было: связная не приходила. И записка, приготовленная на рассвете, лежала в дупле замерзшая. «Для выполнения задания подготовился. В расписание дежурств по охране включен на 1 января 1944 г. ответственным дежурным. Моим заместителем будет хороший парень. Пароль на 1-е число

прилагается. Жду в назначенном месте. В деревне Ерусалимовка разместились прожекторная часть, в деревне Запутье — пограничники, в деревню Ангово возможен приезд фельдмаршала, командующего Ильменско-Псковским фронтом на отдых и охоту». Он помнил свою записку наизусть. Теперь сюда следовало положить еще одну — об отъезде Хорвата.

Ветер с озера ударил с новой силой, сосны и ели закрипели и заныли. Что делать? Срывать операцию? Но разве Гурьянов знает меньше, чем Хорват? Тем более, что еще вчера, напившись, он болтал что-то насчет того, что непременно займет место Хорвата, который получает повышение. У них два ключа от сейфа, который стоит, кстати, в коттедже Гурьянова, а не Хорвата. Если же написать записку об отъезде Хорвата, то Локотков, не зная, кто Гурьянов и имеет ли смысл из-за него огород городить, может переиграть всю нелегкую игру. А если Хорват вообще не возвратится? Пристроится там в Берлине, мало ли какие у кого хода?

Что делать, с кем посоветоваться?

Подождать тут связную?

Но она не подойдет ни за что, да еще приметив возле тайника человека.

Шел уже одиннадцатый час ночи, когда Лазарев-Лизарев возвратился в коттедж Хорвата. Главный начальник — шеф, оберштурмбанфюрер, одевался в передней, попыхиывая сигарой. Опять они все выпили, это было видно по их рожам. Корзину с битой птицей и мешок с дичью Саша кинул у порога. Масло было отдельно, в беленьком берестяном коробе.

— О, вы молодец! — сказал шеф, обдавая Лазарева-Лизарева сатанинским блеском глаз. — Снесите это ко мне в машину. Куры, я надеюсь, не мороженые?

И, похлопав Лашкова по плечу, добавил:

— В Риге этого не отыщешь, нет! Только в таких медвежьих углах, как тут. Кстати, медвежатину вы можете организовать?

Когда «опель-адмирал», солидно покачиваясь, выехал за ворота и на столе Хорвата зажглась синяя лампочка, означающая, что сигнальная система школы включена и колючая проволока на заборах под током, Гурьянов снял верхний лист со стопки бумаги. Но Грейфе был хитрее, чем думал про него Лашков. Почти всю стопку он бросил в камин, серый бумажный пепел еще был виден на дотлевающих углях. Одно только не сообразил оберштурмбанфюрер: девятнадцать папок лежали слева, остальные справа. Что ж, и это удача. Четыре фамилии с адресами уже были в кармане френча Лашкова. Остальные пятнадцать он перепишет пока без адресов. Там будет видно...

— Еще немного коньяку? — заплетающимся языком спросил Хорват.

— А есть?

Лашков переключивал досье, запоминая фамилии.

— Он забрал мои продукты, — надтреснутым тенором произнес Хорват. — Пусть Лизарев опять сходит. Я не могу не иметь продуктов.

— Сходит, сходит, — стараясь запомнить фамилии, быстро ответил Гурьянов, — все у вас будет, господин начальник, все...

Стенные часы, снятые из приемной председателя Псковского исполкома, пробили двенадцать.

В это самое время Локотков сказал:

— Ну, что ж, будем собираться? Самое время, пока покружим, пока до места доедем, пока что. Давайте, не торопясь...

Эстонцы и латыш, съев на ужин старого, костлявого

петуха, спали сидя. На гестаповцев они все-таки похожи не были. Впрочем, насчет гестаповских офицеров у Локоткова были довольно туманные представления. Он видел их, как правило, мертвыми, в лучшем случае умирающими, а эдакими свободно болтающими, с сигарой в зубах — только в кино на экране, но в кино их играли русские артисты, имеющие о них еще более отдаленное представление, чем Иван Егорович. Так что шут его знает! Может, и бывают гестаповцы с такими лицами рабочих людей? Или обмундирование поможет?

Выехали все-таки нескоро. Задержала отъезд Инга. Негромко, но очень настойчиво она сказала:

— Все это вздор, то, что вы тут обсуждаете. Пустяки. Я раньше много читала, очень много, и мне всегда было странно, что разные начальники так мало верят настоящим писателям...

Локотков нахмурился.

— А какие настоящие? — спросил он. — Откуда это видно?

— Если захотите увидеть, увидите, — сурово ответила Инга. — А если только «проходить» художественную литературу, тогда тут ничего не поделаешь...

И, раскурив козью ножку, страшно пуская султаны дыма из маленьких ноздрей, она вдруг стала рассказывать о фашизме то, что знала из книг. Зрочки ее заблестели, бледные щеки стали розовыми. Латыш и эстонцы слушали напряженно, даже Иван Егорович перестал торопить с отъездом.

— Тут главное — душевное хамство, — говорила Инга, — понимаете? Это у всех у настоящих описано. Пустота души. Им все равно, кого убивать, кого арестовывать, кого уничтожать. Они не думают, не рассуждают, они только выполняют приказы. Они — пустые. Ну, как это объяснить?

На мгновение лицо ее стало беспомощным, несчастным.

— Не понимаете?

— Очень понимаю,— сказал товарищ Вицбул,— тут дело не в мундире и не в прическе. Тут дело в этом...

Он хотел сказать «в душе», но постеснялся и лишь постучал указательным пальцем по тому месту, где предполагал у себя сердце.

— Это надо понимать, и тогда все будет в порядке,— с облегчением вновь заговорила Инга.— Именно с этим мы сейчас и воюем. Один замечательный писатель описал таких полуживотных — топтышек, это и есть фашизм. Они уже давно не люди, давным-давно. И не только писатели, а те, кто побывал в их лапах, те рассказывают, как, например...

Но она не сказала, кто «например», она назвала Лазарева «один человек». И, бросив курить, сбивчиво, очень волнуясь, стала рассказывать то, что слышала от Лазарева про лагеря, в которых он был. Локотков видел, что Инга дрожит, что ее мучает то, что она рассказывает, но он понимал, что «гестаповцам» нужен ее рассказ, и не прерывал, хоть время было и позднее. А когда они наконец выходили, в темных сенях Инга вдруг шепотом спросила:

— Мы за Лазаревым едем?

— Ох, девушка, и настырная ты на мою голову,— сказал Иван Егорович.— Едем для хорошего, а чего случится, я еще и сам не знаю...

Только к утру отряд прибыл на хутор Безымянный, к своему человеку, который здесь под немцами прикидывался кулаком. Для вида был у него заведен и новехонький немецкий сепаратор, но в подвале, за бочками с капустой, в норе держал дед новехонькие, искусно вычищенные, смазанные ППШ. «До доброго часу, когда сигнал выйдет!» — любил он говорить.

Здесь поджидал Локоткова старик Недоедов — злой,

как бес, усохший до костей, прокурившийся весь до желтого цвета.

— Аусвайсы тебе принес, на! — сказал старик, когда они заперлись вдвоем. — Бланков тут накрал, сколько мог...

И пошел разоряться насчет «поругания святынь исторических и старого зодчества» в Пскове. Иван Егорович жадно считал бланки со свастиками, а Недоедов все громил фрицев и гансов. За истекшее время руки у него стали сильно дрожать, он явно сдавал. И на вопрос о здоровье, сознался:

— Жить тошно, Иван Егорович.

— Нина как?

— На посту, — с усмешкой ответил Недоедов. — В Халаханье корни пустила. Не по своему хотенью, по щучьему веленью.

— А щука — это я?

Недоедов печально усмехнулся.

— Николай Николаевич как?

— Кто знает. Забрали еще под седьмое ноября. Может, и живой, а может, и убили. Ладно, устал я, посплю малость.

— Матроса-то видел?

— Нынче видел. Пока живой.

— Чего говорил?

— Говорил не много. Ходит по своей каптерке, стучит деревянной ногой — скурлы-скурлы. Дал понять, что человека некоего он рекомендовал, а за дальнейшее не ручается.

Забравшись на печь, Недоедов уснул. Опять, под стук немецких ходиков, потекло время, невыносимо медленное время.

— Когда же? — спросила Локоткова Инга в кухне.

— Что «когда же»? — рассердился Иван Егорович.

Она промолчала.

Тридцать первого, с рассвета, Иван Егорович, запершись с будущими «гестаповцами» в чистой половине дома, занялся их одеванием. Работа эта была нелегкая, Иван Егорович даже пыхтел, укорачивая брючины на товарище Вицбуле, которому погода он присобачил два железных креста и начищенную кирпичом медаль «За зимовку в России». Латыш остался собой недоволен, даже закурил сигару.

— Какой-то опереточный фашист! — сказал он.

— А я лучше не могу, — обиделся Локотков. — Я и так голову с этим делом потерял. Сострой рожу зверскую, и вопрос исчерпан. Или пустоту сострой, как вас наша девушка учила по книгам.

Товарищ Вицбул заскрипел перед зеркалом зубами, но лицо у него осталось усталым и добрым. И пустота тоже не получилась, неизвестно было, чем ее обозначить.

— Глазами работай, — велел Иван Егорович, — показывай глазами, что ты начальник. Зверствуй!

— Я солдат, а не артист, — обиделся товарищ Вицбул, — я могу убивать этих пьяных шимпанзе, но не могу их представлять...

И зазря выкурил одну из двух трофейных сигар, так тщательно сберегаемых Иваном Егоровичем для самого спектакля, а вовсе не для репетиций.

Виллем и Иоханн оказались ребятами поговорчивее, особенно Виллем, который, как выяснилось, даже был в мирное время участником самодеятельности и очень правдиво играл некоего мистера Джофферси в пьесе из жизни империалистов.

— Я буду такой же, но только немец, — сказал Виллем, — я буду молодой миллионер, фат. Да. Но мне нужен портсигар. Без портсигар я не найду правду образа. Вы не думайте, нас учили по систем Станиславский, Констан-

тин Сергеевич. Мне обязательно, непременно нужно портсигар и чтобы щелкал. Иначе я буду вне образ.

— Не было у бабы хлопот, так купила порося,— вздохнул Иван Егорович.— Где я тебе, друг добрый, портсигар возьму?

Виллем пожал плечами.

Иоханну Виллем придумал стек. Локотков запер своих «гестаповцев» на ключ в чистой половине избы от любопытствующих партизан и вырезал в лесу палку. Остальное доделал мастер на все руки товарищ Вицбул. Потом завязалась мелкая склока из-за орденов, Иоханн и Виллем считали, что по одному железному кресту и по одной медали «За зимовку в России» им мало. Хоть они и были лейтенантами, но, по их представлению, уже узнали, что такое «млеко, курка и шпик». И вообще, гестаповцы куда чаще получали гитлеровские награды, чем простые армейцы.

— Да что мне, ребята, жалко вам, что ли,— вконец рассердился Локотков.— Нету больше. Еще два было, осколком погнутые, курям на смех такие нацеплять. Пенсне есть, это пожалуйста, кто желает, может сунуть в глаз.

То, что Локотков назвал пенсне, было на самом деле моноклем. Виллем очень обрадовался: монокль, по его словам, вполне заменял ему портсигар, с моноклем он возвращался «в образ».

— А носовые платки? — вдруг вспомнил Иоханн.— Все гестаповцы, да, да, имеют платки. Я должен иметь платок, чтобы приложить его к нос. Или сморкаться.

Иван Егорович заскреб голову. К счастью, платки нашлись у старухи в сундуке.

— Заимообразно! — сказал Иван Егорович.

Старик усмехнулся.

— Эх, начальник,— сказал он,— для чего чепуху

мелешь? Двух парней моих немцы убили, что мне со старухой теперь надо? Платочки — слезы утирать?

Старуха вдруг взвыла, пошатнулась, Иван Егорович придержал ее, чтобы не упала. Потом долго она в голос плакала под окнами, а старик помаленьку пригублял самогонку из зеленого стаканчика, потчевал Недоедова, Локоткова, разговаривал сам с собой:

— Слышно, кто под немцем пребывает, тому доверия потом не будет. Или это ихняя агитация, они на выдумки горазды. Но только зачем недоверие?

Старый Недоедов вдруг захмелел, запел тоненько:

Москва моя, страна моя,  
Ты самая любимая...

Вновь спустилась ночь, последняя ночь перед операцией, которую Локотков нынче в уме окрестил вдруг операция «С Новым годом!». В сущности, все было сделано, решительно все. Больше ничего нельзя было предусмотреть. «Гестаповцы» уже досыта нахлебались куриной лапши и согласно медицинской науке дремали на перинах в жарко натопленной, чистой избе. Группа прикрытия, группа, остающаяся в засаде, группа разведчиков — все решительно, кроме выставленных караульчиков, отдыхали по приказанию Локоткова, ожидая команды начальника. Только связная Е., принесшая записку Лазарева насчет пароя, плакала возле печки: обморозила ноги.

Локотков курил на крыльце.

«Что ж, — рассуждал он, — если Сашка продаст и мы услышим стрельбу, попробуем отбить наших «гестаповцев». Мне, во всяком случае, живым с этого дела уходить нельзя. Никак нельзя. Впрочем, так думать тоже нельзя. Невозможно так думать!»

В одиннадцать десять с хутора Безымянного вышла группа разведчиков. До ВаффеншULE было не более

тридцати минут ходу. В одиннадцать сорок пять трое «гестаповцев» в лихо посаженных фуражках с высокими тульями и длинными козырьками сели в парные сани. Застоявшиеся сытые кони с места взяли наметом. Кучер — чекист Игорь — в тулупчике дурным голосом крикнул: «Эх, милые-разлюбезные!» — и полоснул обоих коней кнутом по крутым крупам. Иван Егорович со своей группой прикрытия видел, как фасонные, с гнутыми оглобелями коренного, сани помчались к мерцающим огням школы. Локотков засекал время на своих трофейных, с фосфором часах: одиннадцать пятьдесят три.

Операция «С Новым годом!» началась.

Теперь Ивану Егоровичу оставалось только ждать.

Инга стояла рядом с ним. Автомат Лазарева висел у нее на шее. И она ждала. Только ждала. Ждала, застыв совершенно неподвижно, будто неживая. Так ждала, что Иван Егорович даже ее окликнул:

— Ты как там, друг-товарищ?

— Нормально, — ответила она.

— Ничего?

— Ничего.

И вновь они замолчали.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Гурьянов-Лашков хотел было встречать новый год с преподавателями школы, как было условлено с утра, но часам к десяти уже изрядно напился и совершенно забыл о том, какое нынче число и какой день. В половине одиннадцатого к нему пришел парикмахер, и Лашков с ним тоже выпил, но бриться не пожелал, потому что «все ни к чему». А минут за двадцать до нового года

исполняющий обязанности начальника разведывательно-диверсионной школы в Печках обершарфюрер СС Гурьянов повалился на койку и заснул мертвецким сном пропойцы.

Дверь Саше Лазареву-Лизареву отворил вестовой Гурьянова и приставленный к нему шпион из «Цепелина», уголовник, по кличке Малохольный. Еще звали Малохольного за его длинную шею и тонкий голос Цыпа. Услышав деревянный, остуженный на морозе голос Лизарева: «Открывай, из гестапо», Малохольный подумал, что это сработали его доносы на пьянство Гурьянова, и угодливо настезь распахнул дверь в тамбур коттеджа. Три гестаповца, обдав Цыпу запахом сигары, топая подкованными сапогами и ведомые Лизаревым, прошагали в спальню обершарфюрера. Метнувшийся за ними Малохольный быстро схлопотал по уху и замер по стойке «смирно».

— Стоять здесь, падло! — крикнул ему командир взвода охраны, не оборачиваясь.

Гурьянов храпел с повизгиваниями. Цыпе было видно в дверь, как старший гестаповский офицер сорвал со стены автомат, разрядил его и бросил на диван, в то время как Лизарев выдернул из-под подушки храпящего Гурьянова пистолет и сунул себе в карман.

«Тоже гестаповец!» — удивился про себя Цыпа и приметил, что Лизарев нынче без своих бакенбардов и без усов.

Другой гестаповец сильно затряс Гурьянова. При этом стеклышко из глаза гестаповца выскочило и, играя отраженным светом, закачалось на шнурочке. Гестаповец вновь вправил его и опять дернул Гурьянова за руку.

— Вон, сволочь, шшел! — забормотал обершарфюрер.

В кабинете коттеджа зазвонил телефон, старший гестаповец медленно подошел к аппарату, снял трубку, по-

слушал и сказал что-то по-немецки, чего Малохольный не понял. Зажглась синяя лампочка: школа под током, смертельно! Гурьянов-Лашков опять заругался. Тогда тот, что был со стеклом, взял с тумбочки графин и вылил всю воду на голову обершарфюрера.

Гурьянов сел.

Пьяные его глаза тупо смотрели на немецких офицеров, которые уже успели снять шинели и держались в коттедже хозяевами.

Гурьянов спустил ноги в трикотажных кальсонах с кровати. Самый молодой из гестаповцев швырнул ему штаны, предварительно обыскав карманы. Старший, майор, сел в кресло и зачмокал сигарой. На лице у него была написана скука, и было видно, что он никуда не торопится. «Пустые» глаза на этот раз удались.

Серые щеки Гурьянова дрожали. Только натянув брюки, он начал соображать, что происходит. Цыпе было слышно, как он провякал какие-то немецкие слова, после которых старший гестаповец вынул из кармана бумагу и показал ее начальнику школы из своих рук. Гурьянов прочитал, тогда Малохольный увидел, до чего Сашка Лизарев главный среди гестаповцев: он по-русски спросил обершарфюрера:

— Понял теперь, свинячья морда, изменник проклятый?

Конечно, всю кашу заварил этот недавно прибывший сюда Лизарев. Он выследил Гурьянова, который, оказывается, работал на Советы и на коммунистов. Так что очень даже правильно поступил Цыпа, отправляя свои доносы в Ригу, в главное гестапо. Но в то время, когда подвыпивший Цыпа так себя хвалил, Лизарев вдруг заметил его глаза, поблескивающие из темной передней, и велел ему войти в комнату.

Цыпа, изображая всем своим поведением величайшее послушание и преданность, вошел почему-то на цыпочках. Губы он сложил бантиком и шею вытянул, словно тугухий, в ожидании следующих распоряжений.

— Залазь в шкаф,— велел Лизарев.

— Это как? — не понял Малохольный.

— Сюда, в стенной шкаф! Живо!

И Лизарев распахнул перед Цыпой дверь большого стенного шкафа, в котором висел парадный мундир обер-шарфюрера, обшитый шариками нафталина. И еще что-то штатское здесь висело, Малохольный вспомнил, пожива с еврейчиков, когда их угоняли из Эстонии — сжигать.

— И чтобы тихо было! — рывкнул Лизарев, запирая шкаф на ключ.

Цыпа не сопротивлялся. Слишком страшен был сейчас бывший командир взвода охраны школы. Такие, случается, стреляют не предупредивши, а Малохольный не желал зазря расставаться с жизнью.

Заперев шкаф и положив ключ к себе в карман, Лизарев негромко по-русски сказал старшему офицеру, который занимался своей сигарой:

— Предполагаю возможным начать погрузку документов?

— Я! — по-немецки ответил майор.

Его сигара лопнула в середине, и он старательно заклеивал ее большим красным языком.

— Ключ от коттеджа Хорвата у тебя, рыло? — спросил Лизарев Гурьянова.

— Здесь,— похлопывая себя по карманам френча, тухлым голосом ответил Гурьянов.— При мне.

— Ключ от сейфа?

— Здесь же!

— Шинели мы оставим тут,— сказал Лизарев гестаповцам. Гурьянов не видел, что он им подмигнул.— Пошли?

Было всего двенадцать минут первого, когда они впятером вышли из гурьяновского дома. В здании школы с грохотом плясали курсанты, оттуда доносились ноющие звуки радиолы. С неба светили, мигали морозные звезды, снег под сапогами «гестаповцев» сердито скрипел. Гурьянов шагал словно бы в оцепенении, морозный ветер шевелил редкие его волосы.

— Шнелль, шнелль,— подстегнул его самый главный и, видимо, самый раздраженный, майор,— шнелль!

И вдруг навстречу им из-за угла приземистого вещевого склада вынырнули все преподаватели Вафеншуле, все вместе, и очень навеселе: и пузатый кототышка Гёссе, и огромный Штримутка, и князь Голицын, приплясывающий на ходу, и приехавший в гости инспектор Розенкампф в своей дорогой шубе. Они шагали в ряд, забавляясь тем, что Штримутка показывал им настоящую старую прусскую выучку, и очухались только тогда, когда Саша Лизарев высоким, не своим голосом крикнул им в их пьяные, разгоряченные лица:

— А ну с дороги! Не видите, господа из СС?

Конечно, они увидели, и их прусский строй словно перерезало ножом, а старый князь Голицын даже очутился в сугробе. Они отдали честь — господа преподаватели Вафеншуле, а «гестаповцы» небрежно им козырнули — два пальца к длинным козырькам и какое-то урчание, его издал на всякий случай товарищ Вицбул. А обер-лейтенант посмотрел в лицо Штримутке «пустым» взглядом, как учила их товарищ Шанина, изучившая Лиона Фейхтвангера. Штримутка козырнул еще раз, уже вслед высоким гостям. А князь Голицын сказал по-русски:

— Пожалуй, дело дрянь, господа!

Когда вошли в коттедж, то прежде всего Гурьянову предложили открыть сейф. Он сделал три условных поворота, набрал пальцем шифр и еще раз повернул ключ.

Лицо его совсем посерело. Майор вновь развалился в кабинете Хорвата, как сидел прежде у Гурьянова. Лизарев притащил из кладовки кожаные чемоданы. Офицер со стеклом в три приема очистил сейф и вывалил все его содержимое в один чемодан. Другой, у которого все вываливался монокль, носил папки с полком, те самые досье, которые так интересовали доктора Грейфе. Лизарев с трудом застегнул один чемодан, другой тоже быстро наполнился. Дело шло быстро.

— Овощи идут — тары нету, — со смешком сказал Лизарев и нажал коленом на крышку другого чемодана. Молодой лейтенантик подтянул ремни. Другой все еще носил папки.

— Много там еще? — спросил Лизарев.

— Найд, — сказал лейтенант. И поправился: — Колосаль!

Майор наконец сладил со своей сигарой и принялся ее раскуривать. Лизарев понес чемодан к саням, хлопнула одна дверь, потом другая. Гурьянов сидел не двигаясь на краю дивана, голова его кружилась, он сжимал виски ладонями. Конечно, ему следовало уничтожить те самые главные бумаги, которые были в его кармане, — список агентуры, засланной на длительное оседание. Несомненно Грейфе подглядел, когда слушал речь Геббельса. Этот обыск и арест — дело рук Грейфе, но как уничтожишь, когда проклятый майор не отводит от тебя своих сонных глаз?

— Беда с этой тарой, — деловито сказал Лизарев, возвращаясь с корзиной в руке. — Придется сюда складывать...

Гурьянов услужливо сказал, что в его коттедже есть еще чемоданы, но Лизарев оставил эти слова без внимания. Он вообще словно не замечал обершарфюрера, перед которым еще три часа тому назад тянулся и весело скалил зубы.

Тогда Гурьянов покашлял в кулак и вежливо по-немецки объяснил майору, что-де за кухней, в чуланчике, хранится архив — документация позапрошлого года. И тут произошло нечто странное: майор не понял обершарфюрера. Впрочем, все тут же разъяснилось:

— Ты говори по-русски,— велел Лизарев,— господин штурмбанфюрер твоего вонючего кваканья не понимает. Он сам...— Лизарев словно бы подумал и наконец вспомнил: — Он сам голландский...

За спиной Гурьянова послышалось странное шипение, он оглянулся и увидел, что лейтенант с моноклем то ли кашляет, то ли плачет.

Все трое — Лизарев и два офицера помоложе — ушли в кладовку, Гурьянов остался наедине с майором. Штурмбанфюрер зевнул с воем. Гурьянов тихо спросил:

— За что меня, господин майор? Я...

— Замолшать! — рявкнул штурмбанфюрер.

И так как делать ему больше было решительно нечего, то он вынул из кармана пачку действительно голландских сигарет «Фифти-Фифти». Гурьянов, чуть-чуть осмелев, попросил закурить и показал на пальцах — одну, но гестаповец не дал. Он долго что-то вспоминал, потом показал на Лашкова и сказал громко:

— Мёрд!

Гурьянов втянул лысеющую голову в плечи, лысеющую, хоть и длинноволосую. Товарищу Вицбулу было видно теперь, какие ухищрения производил этот тип со своей башкой, чтобы не выглядеть плешивым.

Майор взглянул на часы и вздохнул.

Лейтенанты с Лизаревым пронесли архив в ящиках от консервов. Потом они вскрыли письменный стол Хорвата и обыскали весь дом — с чердака до погреба. Часы на руке Гурьянова показывали без пяти два, когда Лизарев закрыл на ключ хорватовский коттедж.

— Все? — спросил с козел Игорь.

— Померзни еще, парень, — сказал ему комвзвода. — Тут дело такое, аккуратно надо. За нами езжай к тому дому...

Гурьянова вели «гестаповцы». Но у крыльца гурьяновского коттеджа лопотал свой пьяный вздор князь Голицын. Наверное, его послал Розенкампф — разнюхать, в чем дело.

— Пойдем в хату, — быстро распорядился Санша, — пойдем, господин князь, погреетесь маленько.

И, увидев страх в стариковских глазах, слегка только повысил голос:

— Ну? Не понимаете? Быстренько, на полусогнутых, эти гости шутить не любят.

Пока обыскивали коттедж Гурьянова, старый князь несколько раз перекрестился. Дело действительно пахло керосином. Обыск был длинный, но пуце всего пьяного старика пугали звуки из шкафа: там чесался и чихал запертый на замок Цыпа-Малохольный.

— Ночь, исполненная мистики, — сказал старый князь.

— Вас ист дас? — осведомился майор.

— Мистика, — с усердием повторил Голицын. И, приподнявшись, представился: — Князь Александр Сергеевич Голицын.

— Они голландец, — разъяснил Лашков князю. — Но понимают по-русски.

Майор с двумя железными крестами на груди сердито зевнул, потом спросил громко, вытаращив на Голицына глаза:

— Вы... князь?

— Так точно, — ответил Голицын.

— Зачем? — осведомился гестаповец.

— То есть как зачем? — несколько смешался розово-

щекий и упитанный старичок, сидевший перед штурмбан-фюрером.— Я рожден князем, и этот титул...

— Можно молчать! — сказал голландец.— Уже все!

Он раскурил свой сигарный окурочок. Было видно, что он хочет спать. Потом он слегка склонил голову на грудь, и тогда Гурьянов ловким и быстрым движением достал свои давешние записки из бокового кармана, чтобы передать их князю. Он вряд ли бы взял, тогда Лашков-Гурьянов закинул бы их за диван. Но проклятый голландец не спал и не дремал даже. Он просто так сидел и вдруг вскинул голову, когда бумаги уже были в руке Гурьянова.

— Дать сюда! — не поднимаясь с места, довольно вялым голосом сказал голландец. И тотчас же Гурьянов увидел перед собой ствол пистолета, ствол «вальтера», направленный ему в грудь.

— Именно это я и хотел, — произнес услужливым, паточным голосом Гурьянов.— Именно это. Случайно вспомнил, здесь, в нагрудном кармане...

— Можно молчать! — опять распорядился голландец.— Иначе — фаер!

Пистолет все еще был в его большой руке.

А князю голландец сказал совсем загадочные слова:

— Вы не есть больше князь. Никогда.

— Как это не есть? — обиделся Голицын.

— Так. Был и нет.

— Как был и нет? — опять не понял старичок.

— Я забрал, — произнес товарищ Вицбул, пряча «вальтер» в кобуру.— Финиш. И можно молчать!

Ровно в четыре часа пополуночи Лизарев снял трубку и сказал:

— Господину Гурьянову не звонить, они отдыхают! Связь с Псковом будет восстановлена, когда рассветет. Кто говорит? Командир взвода охраны Лизарев говорит, лично.

«Гестаповцы» снимали с вешалки шинели, бывший князь Голицын, разжалованный нынче товарищем Вицбулом, тоже поднялся.

— А вы, дедуля, не торопитесь,— посоветовал ему Лизарев,— над вами не каплет. Вы посидите здесь, отдохните. А если до утра кто узнает, что тут случилось, вас эти гости тоже увезут. Понятно — куда?

И, обернувшись к Гурьянову, велел:

— Одевайся. Отдельное приглашение требуется?

Сани дожидались у крыльца. Игорь делал вид, что дремлет. Впятером они едва взгромоздились на чемоданы и ящики с документами разведывательно-диверсионной школы. Ворота Лизарев отворил сам и сам их аккуратно заложил бревном и запер на замок. Подчаску он сказал деловито:

— Довезу до шоссе, пересядут в свою машину, и вернусь мигом. Шнапс наш не выпил? Береги, жди!

Подчаска качало спросонья и от выпитого шнапса. Он тотчас же вновь завалился на нары. Лизарев-Лазарев крепко обнял Гурьянова за талию, Игорь сильно полоснул коней, мимо помчались ели и сосны в снегу.

Операция «С Новым годом!» закончилась.

Но все еще молчали.

Первым заговорил Лазарев. Эти строчки он слышал от Инги, и они вдруг вспомнились ему на свистящем, морозном ветру:

Как дело измены, как совесть тирана,  
Осенняя ночка темна.

— Как? — спросил «майор СС» товарищ Вицбул.

— Стих,— тихим и счастливым голосом пояснил Лазарев.— Ничего, так просто...

Товарищ Вицбул Сашиных слов не расслышал. Кони

внезапно остановились, к саням бежали люди в полушубках, в ушанках, с автоматами.

— Есть? Живы? — узнал Лазарев голос Локоткова.

— Гвардейский порядок, — ответил Саша. — Здесь он, сука, вот — обнимаю его, живой-здоровенький. Все тихо сделано, можете не сомневаться...

Но Локоткова он не нашел, выпрыгнув из саней. Он столкнулся с Ингой и не сразу понял, что это она: никогда не видел в полушубке.

— Я знала, — услышал он ее голос. — Я всегда знала, какой вы. Я в первый раз поняла и поверила...

Они оба дрожали, и он, и она, он — потому, что позабыл одеться, уезжая из Вафеншуле, был только в кительке, она — потому, что увидела его, и, наверное, еще потому, что страшилась не увидеть никогда.

— Ой! — воскликнула Инга. — Вы же без шинели...

— Ничего, — сказал он, — теперь ничего. Теперь хорошо.

Группа прикрытия зажала их, и они шли быстро в теплой, шумной толпе партизан. Кто-то накинул на Лазарева одеяло, или попону, или плащ-палатку — он не разобрал, кто-то сказал: «Ну, чистый депутат Балтики сюда, как твой Черкасов» — он не услышал; холодная, бессильная рука Инги была в его руке, вот это он и понимал и слышал. Теперь ее никогда, никто не попрекнет им.

Гурьянов один ехал в санях.

— Как покойника везете, — глухо сказала Инга.

— А он и есть покойник, — ответил Лазарев. — Труп.

Только в избе Локотков подошел к Лазареву. Сердце Ивана Егоровича билось глухо, толчками с того самого мгновения, когда он услышал голос Лазарева. Но он не подошел к нему, потому что всей своей сутью понимал: помешает. А сейчас положил обе руки ему на плечи и,

едва справляясь с волнением, глухим со стужи голосом, но громко, словно бы перед строем, произнес:

— Здравствуй, товарищ лейтенант!

И неожиданно для себя, повинуюсь невообразимо сильному, почти яростному чувству счастья, обнял Лазарева, крепко прижал его к себе и, боясь лишних слов, добавил:

— С Новым тебя годом, Александр Иванович, с Новым, счастливым годом! И спасибо тебе, что ты так... короче... доверие оправдал...

В первый раз за все эти жестокие времена Локоткова вдруг прошибла слеза, но он поморгал, покашлял и распорядился:

— Теперь водки, хлопцы, у меня есть заправка, отметим это дело по-быстрому. Лазареву почет и место. Товарища Шанину — рядом. Вокруг — «господ гестаповцев», пусть в своем виде с нами посидят. Игоря не забудьте...

— Для вас шампанское есть, — сказал Саша Инге и выскочил к консервным ящикам. Там, среди бумаг Вафеншуле, имелась и его заправка — две бутылки французского шампанского, найденного при обыске. Он и их на стол поставил.

— Однако ты парень проворный! — удивился Локотков.

Хозяин принес десятилинейную керосиновую лампу, печеного гуся, томленную зайчатину в чугуне. Дважды выстрелило шампанское.

— За победу! — сказал Иван Егорович.

— За доверие! — сказала Инга. Она была очень бледна, глаза у нее блестели, нет, что там блестели — сияли. — За доверие, — повторила она, — без него не бывает победы.

— Прозит! — сказал товарищ Вицбул. Он немножко запутался, где он сейчас, и даже сплюнул досадливо. —

За ваше большое счастье,— произнес он, глядя отнюдь не пустыми глазами на Ингу и Сашу.— За большое ваше счастье, товарищ Шанина и товарищ Лазарев.

## ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

**В** крайнее, почти обморочное изумление пришел Лашков-Гурьянов, когда окончательно понял, куда он попал и как его, доку и старого воробья, провели на мякине. С отвисшей челюстью, прерывисто дыша, произнес он слова, занесенные впоследствии в официальный документ:

— Я никогда не предполагал, что партизаны умеют так работать...

Крупная дрожь била бывшего обершарфюрера. Локотковские ребята, напирая друг на друга, разглядывали из двери чистой половины избы плененного изменника. Он сидел посередине комнаты на венском стуле, подобрав под себя ноги в начищенных Цыпой-Малохольным немецких хромовых сапожках. По бледному лицу его катился пот. «Гестаповцы» на его глазах стаскивали с себя мундиры, переодевались и переобувались. Железный крест с дубовыми листьями валялся, оторванный, на затоптанном полу, и никто его не замечал. Фуражка обер-лейтенанта откатилась в сторону и лежала у ног Гурьянова, она тоже теперь никому не была нужна. А Лашков все всматривался в своих похитителей зыбким, потерянным взглядом смертника и не понимал своего ослепления, когда принял он этих рабочих людей, наверное токарей, или паровозных машинистов, или электриков, за высокое гестаповское начальство.

Страшно сделалось ему еще и тогда, когда узнал он

Артемия Григорьевича Недоедова, с которым не раз ловил рыбу на Псковском озере и который, оказывается, был своим среди этих укравших его людей. Еще более страшно стало, когда в разведчице Е. разглядел он Катю-Катюшу, что снабжала преподавателей Вафеншуле лесной, дикой малиной. И дед здешний, хозяин хутора, к которому жаркими летними днями хаживал Гурьянов попить холодных сливок для укрепления здоровья, тоже оказался их человеком, специальным партизанским кулаком. Все, решительно все они были лютыми его врагами, все выслеживали каждый его шаг, и малину доставляли нарочно, и на рыбалку увозили со своей целью, и сливками потчевали в расчете на страшный конец гостя...

Зябко и дико было сидеть ему среди этих людей, как бы и не замечающих его присутствия, хоть за спиной его и похаживал караульщик с рукою в кармане, шагни — убьет. И курить хотелось, и выпить водки, а потом внезапно едва не завыл он, осененный мыслью, что вскоре будет расстрелян и нет ему никакого выхода, никакого спасения. Но тут же заторопился, мысли побежали вскачь — надо говорить поболее, объяснять, надо показать им свою замечательную осведомленность, свою полезность их разведывательным органам, не расспросов и допросов ждать нужно, а самому первому себя перед ними возвеличить и выставить в выгоднейшем для него свете.

— Господин начальник, — слегка приподнявшись со своего стула, не позвал, но пролетел Гурьянов, — господин начальник, кто тут, господа, начальник?

Локотков выдвинулся вперед, молча окинул взором пепельное лицо Лашкова.

— Господин, — повторил Гурьянов и еще чуть-чуть привстал, — вот у них, — он показал кивком головы на бывшего майора СС, — вот у них в кармане имеются чрезвычайной важности документы.

— И что? — последовал ответ.

— К вашему сведению, господин начальник, именно к вашему, я обязан все доложить конфиденциально и безотлагательно...

— Отложим, — поворачиваясь к Лашкову спиной, ответил Локотков...

И пошел искать Сашу, которого кормила Инга. У него, по его словам, «со страшной силой аппетит прорезался» от волнения последних суток, ничего в Вафеншуле не мог есть, а тут хоть караул кричи — не оторваться от харчей.

Инга держала перед ним посудину, а он ел из нее картофелины в крепком, густом мясном соусе, крошил зубами хлеб, хрустал холодным соленым огурцом. И просто-квашу хлебал, и французское шампанское из горлышка допил — все в молчании, потому что вокруг тесно сгрудились партизаны, только теперь распознавшие, кто действительно герой этой необыкновенной истории. Спрашивать стеснялись, а лишь перешептывались друг с другом, вспоминая лазаревский концерт и песни его, вспоминая, как рванул он в бою гранатой не менее полдюжины фрицев, а потом «прибарахлился» сразу двумя автоматами. Иногда лишь до Лазарева и Инги доносились слова:

— Это надо же!..

— Так он и в плену не был. Он туда заслан был нарочно.

— Не наваливайся, Гришан!

— На Героя потянет, точно...

— Жрать силен! Как вернулся, так и приступил.

— Там небось отравить могли.

— А что? И свободно...

— Отвяжись ты, Гришан!

— А ну, давайте отсюда, хлопцы, — сказал ребятам Локотков. — Он не выставка, он человек, и уставший еще. Давайте к выезду готовиться, не в музей пришли...

Ребята, ворча, разошлись. Локотков присел перед дорогой с Лазаревым и тихой Ингой.

— Ты чего все дрожишь, товарищ Шанина? — спросил он негромко.

— Простыла, наверное, — за Ингу ответил Саша. — И полушубок я на нее надел, никак не отогреется.

— А ты — отогрелся?

— Я — нормально. Последние часы там, в Вафеншутле, немножко нервная система отказала, — сказал Лазарев, — напряжение было сильное.

— С чего?

— Думал, не поверите и не пришлете людей. Срок положил — до смены караулов. Ежели не пришлете, застрелюсь, к свиньям собачьим. Без доверия жить человек не может...

— Это смотря какой, — взглянув на Гурьянова, невесело ответил Иван Егорович.

— Вы вашу тройку особо должны выделить, — с полным ртом продолжал Лазарев. — Это ребята-гвозди, замечательные ребята, выдающиеся. У них нервов вовсе нет. Честное слово даю. Были такие минуты, я думал, верно, гестаповцы. Сильно давали типов, особенно этот, с моноклем. Хоть бы что ему, занимается своим стеклышком и никакого страха не показывает.

— Это у него такая система, — не без почтительности произнес Локотков, — на букву С, забыл я фамилию. Создавать образ, понятно?

В шестом часу локотковская группа, попетляв по лесу, легла на курс — заиндеветшие кони помчались на деревню Столыпино Славковского района, в штаб бригады. Всю дорогу Лазарев укрывал и укутывал Ингу. В районе Пикалихи перевалили железную дорогу и, отстрелявшись на ходу от немецких патрулей, исчезли в чащобе.

В штабе Локоткова встретил Петушков. Доставил чеки-

стам подарки к празднику, консервы «Треска в масле». Крепко пожал руку Ивану Егоровичу и сказал, что поздравляет его от имени командования за проведение блестящей операции и сам займется составлением соответствующих подвигу наградных листов.

— Лазарева вашего также отметим, — произнес он значительным голосом. — Думаю, вернем ему и звание.

— Только еще думаете? — прохладным голосом ответил Локотков. — Пока что я сам его лейтенантом называю, не иначе. А что касается отметить, то кого же и отмечать, как не товарища Лазарева Александра Ивановича. Это надо только представить, что он пережил за прошедшие месяцы. Ведь каждую минуту мог Лазарев напороться на человека, который его знал по службе в РОА. И тогда что? Что тогда, друзья-товарищи?

— Все мы на войне рискуем, — ласково ответил подполковник. — Каждому его военная судьба.

Иван Егорович промолчал.

— Я ничего против вашего Лазарева не имею, — дружески беря Ивана Егоровича за запястье, произнес подполковник, — но согласитесь сами, человек беспартийный, а так героически себя вел. Невольно закрадывается мысль, которая требует ответа: почему?

— Почему? — внезапно вспыхнув, ответил Иван Егорович. — Почему? Да разве вы можете понять почему? Вы на меня не обижайтесь, что я смею это вам при вашем звании высказать, но разве такая совесть у вас, как у товарища Лазарева?

— А какая у меня совесть? — совсем тихо осведомился Петушков. — Какая? Вы уж раз начали, то договаривайте.

— Договорю, — с горечью сказал Иван Егорович.

— Ну?

— Угодливая у вас совесть, вот какая.

Петушков молчал, да и Ивану Егоровичу нечего было больше сказать. Погодя Петушков причесался почему-то, попил чаю, покурил и спросил жестко:

— Правда ли, что меня бабкиным внуком называют?

— Слышал не раз, — не желая ничего терпеть больше от петушковых любых рангов и мастей, ответил Иван Егорович. — Утверждают некоторые, что добрая бабка вам ворожит.

— Кто же это утверждает?

— Люди, — совсем уже зло произнес Локотков, — военнослужащий народ.

— А сам, дескать, я ничего и не значу?

— Вы бы, может, и могли, да что...

Иван Егорович махнул рукой и, чувствуя себя совсем разбитым, пошел спать. А бабкин внук, по рассказу свидетелей, куда Локотков отдыхал, пошел с Златоустовым сопровождать подрывников Ерофеева. Возле Пикалихи разведчики Ерофеева напоролись на немцев с собаками, Петушков попал в самую гущу неожиданного и неудобного для партизан боя, отбивался с яростью, даже тогда, когда кончились патроны, и был застрелен в лицо немецким ефрейтором, который тоже тут же кончился. Тело подполковника принесли в штабную избу, и долго сидел над ним, над изуродованным смертью красавчиком, Иван Егорович, долго и жестко корил себя за «бабкиного внука». Лицо Петушкова было закрыто вафельным полотенцем, виднелась лишь плоеная прическа, да руки видел Локотков — красивые, с отделанными ногтями, совсем теперь белые.

Погодя пришел мрачный комбриг, сказал глуховатым басом:

— О мертвых либо ничего не говорят, либо говорят правду. Я — правду скажу: как жил для себя, так и погиб для себя лично. Все наперекосяк. А мог и выжить нормально, с пользой и по-честному.

— Помер он по-честному,—ответил угрюмо Локотков.— Чего честнее?

— Нет, Иван Егорович, не так. Доказывая, помер. Он и в прошлый раз доказывал.

Помолчал и добавил:

— Прослышал от кого-то про «бабкиного внука», вот и доказывал.

— Со мной беседа была,—отозвался Локотков.— Ну, да что теперь толковать? Теперь поздно.

На морозной улице Локотков встретил доктора Знаменского. Тот рассказал, что у Инги Шаниной тяжелейшее воспаление легких, и ее нужно бы отправить без промедления на Большую землю.

— А Лазарев где? — спросил Иван Егорович.

— У нее. Не отходит.

— Ты за ним пригляди, доктор,—попросил Локотков.— Дерганый он нынче, нахлебался немцев до отказа. А Ингу, конечно, отправим, может, и сегодня в ночь самолет прибудет.

С самолетом пришло письмо: тело Петушкова следовало отправить на Большую землю. Захлопотали изготовить гроб, да столяра никак не находилось, дед Трофим взялся, но не сдюжал, позвали умельца на все руки Лазарева. Тот посмотрел дедову работу, сказал сердито:

— Разве гробы так строят? Обрил бы я тебе бороду, как царь Петр боярину, за такую халтуру. Стругай доски и не мешайся под руки...

Иван Егорович срочно допрашивал Гурьянова; за ним прилетели два непроницаемых майора.

Лашков-Гурьянов сразу пошел с главного своего козыря — со списка агентов, засланных на длительное оседание. Игра у него была придумана ловкая, в виде задатка господину начальнику — четыре фамилии с адресами,

впоследствии же он постарается вспомнить всех, или это можно будет установить путем проведения ряда следственных приемов, когда будут выловлены первые агенты.

— Чтобы расстрел оттянуть? — угрюмо осведомился Иван Егорович.

Лашков-Гурьянов замолк, обдумывая иные ходы.

Поздней ночью Локотков, тяжело утомленный отвратительным своим собеседником и игрою его изворотливого ума, вышел на крыльцо штабной избы — подышать. Здесь, завернувшись в овчинный тулуп, мурлыкал Лазарев любимый свой романс:

Там под черной сосной,  
Под шумящей волной  
Друга спать навсегда положили...

— Что выиграл? — осведомился Локотков. — Полегчало Инге?

— Уснула наконец-то, — ответил Саша. — Павел Петрович сказал: это к лучшему. Сон восстанавливает...

Иван Егорович произнес поучительно:

— Из-за тебя и простыла. Морозище-то какой был. А ей все жарко, все расстегивается.

Молчали долго, потом Лазарев произнес со вздохом:

— Долго мне до нее тянуться нужно, Иван Егорович. Интеллигентная, стихи на самых разных языках знает, даже бредила и то не как наш брат, матюгами. Все уговаривала на медицинский ее отпустить, просила заявление ей скорее написать.

— Куда? От нас? — угрюмо удивился Иван Егорович.

— Да не от нас, это ей все казалось — мирная жизнь.

— Вернется, свадьбу оформим, — сказал Локотков. —

Чин по чину, чтобы порядок был.

— А вдруг ее обратно к нам не вернут? — испугался Лазарев.

— Украдешь, как Гурьянова, тебе не привыкать...

— По-старинному, увозом, — усмехнулся под мерцающими звездами Саша. — Что ж, сделаем...

Потом предложил:

— Покурим, Иван Егорович? Я табачку разжился натурального, слабенькая махорочка, беленькая, и что-то в нее подсыпано. В результате — аромат.

Локотков сел рядом с Лазаревым.

— Ну как? — кивнув на избу, осведомился тот. — Раздается?

— Раздается.

— Много знает?

— Много, даже очень много.

— Я, предполагаю, не меньше Хорвата, — сказал Лазарев, — но, как изменнику, ему страшнее, поэтому и раздается с ходу. Так что я ошибку не сделал, его повязав.

Локотков улыбнулся.

— А разве, товарищ лейтенант, у вас какие-либо ошибки в жизни случались? Вы же исключительная личность, безошибочный товарищ...

— Смеетесь все...

Некоторое время они курили молча.

Потом Саша осведомился:

— Как вы считаете, Иван Егорович, в каком звании я войну окончу?

— Я думаю, не меньше маршала, — со смешком ответил Локотков. — Ты ж на генеральстве не помиришься?

— Мне капитаном бы с победой вернуться, — вздохнул Лазарев. — Другие, кто в живых останутся, мои дружки, небось давно капитаны, дальше пойдут, а мне хотя бы капитана...

— Ясно, — поднимаясь, сказал Локотков. — Все ясно, товарищ Лазарев. Иди спи. Отсыпайся за нервный период своей жизни...

Утром к Локоткову пришли «гестаповцы» во главе с товарищем Вицбулом. Они желали возвратиться в свою часть, «отдых», по их словам, кончился, пора поближе к войне. Иван Егорович их поблагодарил пожатием руки: не те были ребята, чтобы поцеловаться.

— А чего торопитесь-то? — осведомился Локотков.

Товарищ Вицбул усмехнулся.

— Поросенок больше нет, — сказал он, — сардины тоже нет. И петух не дают. До свидания после войны. Приезжайте в город Ригу, будем кушать и выпивать.

— Приезжайте в Таллин! — сказал бывший «гестаповский лейтенант».

— Приезжайте в Тарту, — пригласил третий.

Иван Егорович отметил им командировочные предписания, вывел чернилами: «Выбыл 3. I. 1944 года». Помозговал, где бы написать о том, как великолепно выполнили они задание, но на бланке такой графы не было. И пришлось сказать обычную фразу:

— Что ж, товарищи, желаю вам успеха.

— И вам! — сказал товарищ Вицбул. — Если еще раз вы будете делать так, то мы можем приехать. И сначала покушать много свинины.

— Да, — подтвердил бывший «обер-лейтенант». — Это хорошо.

— И сигареты «Фи́фти-Фи́фти», — сказал самый младший, в прошлом «гестаповский офицер». — Заезжайте к нам в полк. Мы близко теперь.

В сумерки этого же дня гроб с телом Петушкова, большую Ингу в немецком спальном мешке, Гурьянова, двух майоров и почту проводили на Большую землю. Летчики, узнав об операции «С Новым годом!», поклялись Лазареву страшной клятвой, на паяльнике и плоскогубцах, доставить товарища Шанину «в самый лучший госпиталь» и немедленно написать.

— У нас же авиапочта, — сказал Лазарев. — Регулярность обеспечена.

Ингу он поцеловал в лоб, она ему велела:

— Так с покойниками прощаются. Поцелуй в губы, я не заразная.

Он поцеловал, она закрыла глаза.

— Теперь жди, — услышал он, — слышишь? Я скоро. Я очень тебя люблю. И я поправлюсь, ты не беспокойся.

Лазарев тихо гладил ее по щеке, смотрел не отрываясь в запавшие глаза.

— Какой-то ты мальчишка, — сказала она, — несерьезный человек. И чубчик у тебя мальчишеский...

Локотков тоже влез в машину, но здесь он никому не был нужен. Инга его даже не заметила.

Самолет улетел, майоры увезли пакет полковнику Ряхичеву. Над письмом Виктору Аркадьевичу Иван Егорович трудился истово часа три. Здесь бесхитростно, впрямую высказал он опасения, что в сумятице, которой непременно будет сопровождаться доставка такого гуся, как Лашков-Гурьянов, в благодарностях, поощрениях и поздравлениях главного аппарата забудется судьба Саши Лазарева, еще официально не прощенного и тяжело этим обстоятельством мучимого...

Все выполнил Иван Егорович, что было в его силах и возможностях. Все учел, все обдумал. Не знал он только, что еще тридцать первого декабря полковник Ряхичев погиб от осколка шального снаряда, разорвавшегося рядом с «эмкой», в которой Виктор Аркадьевич ехал по своим служебным обязанностям...

Не зная этого обстоятельства, Локотков все ждал ответного письма, но никак дожидаться не мог. И Лазарев ждал решения своей судьбы, заглядывая после каждой почты в глаза Локоткову.

А Локотков делал вид, будто и невдомек ему, что Саша ждет.

— Инга как? — спрашивал он, утешая Ингиными письмами своего Лазарева. — Приветы хоть мне шлет?..

Приветы Инга слала и скоро надеялась вернуться.

Потом вдруг горохом посыпались новости. Разведчики рассказывали, что в лагере военнопленных в Ассари был митинг подпольный, конечно по поводу того, что партизаны похитили очень главного немецкого разведчика. Про это же рассказывали и в Раквере. В Пскове, Риге, Изборске плели уж совсем невесть какие несообразности, но очень лестные Лазареву и Локоткову, там намекали на подручного Гиммлера. А попозже стало с точностью известно, что седьмого января в своем кабинете внезапно скончался оберштурмбанфюрер СС доктор Грейфе, шофер же его, Зонненберг, через час после смерти постоянного своего пассажира отбыл в Берлин.

— Вон в какую политику мы с тобой попали, Саша, — сказал Локотков Лазареву. — Задумываешься?

— Мне нынче задумываться толку нет, — ответил Лазарев печально.

Чтобы не задумываться слишком, Саша теперь чуть ли не ежедневно ходил с подрывниками на выполнение их заданий, таскал тол, детонаторы, выдумывал шальные, но не без здравого смысла, крупные операции. Ерофеев, во всяком случае, выслушивал Александра внимательно, даже когда того и «заносило». Иван Егорович стал в январе похаживать на диверсионные задания, время было тихое, партизаны на главной базе томились в ожидании грядущих событий, ждали крупного дела.

Двадцать девятого января группа Ерофеева пошла подрывать линию Псков — Карамышево.

— Здесь, бывает, они постреливают для остротки и от собственного страха, — сказал Иван Егорович, когда

миновали Большие Бугры.— Не больно высывайся, был случай, едва отсюда ноги унесли. Место опасное...

— Самое опасное место в жизни человека — это кровать,— ответил Саша,— в ней чаще всего умирают. Парируйте, Иван Егорович.

Иван Егорович парировать не стал, Сашины слова принял на вооружение. И подумал, что после войны займется культурой, будет читать побольше. А Лазарев, не останавливаясь, болтал:

— И еще имеется такая мысль, но я считаю — спорная, будто любой героический поступок начинается тогда, когда человек перестает думать о себе. А любое проявление трусости — когда человек начинает думать только о себе...

— С чего это ты у нас такой умный стал?! — удивился Локотков.— Словно бы академию окончил...

— Это не я, это Инга,— с досадой ответил Саша,— она еще летом все мне разные мысли рассказывала, подымала до себя. Она знаете какая образованная. Но я тоже ничего, она сама отмечала, что я способный...

Потом Саша рассказывал про Вафеншуле.

— Интересно, Иван Егорович, как они своим диверсантам волевые качества прививают, я с ними в Халаханью ходил, смотрел. Например, сажают будущего разведчика на камень заминированный, а фитиль уже горит. Фельдфебель всех других уводит в укрытие, а ты — сиди. Не смей с камня подняться. Только по свистку, когда фельдфебель свистнет. Тогда срывайся и падай: до укрытия все равно не добежать. Кошмар и жуть.

— А зачем ты ходил?

Лазарев помедлил с ответом.

— Слышал вопрос?

— Себя проверял,— немножко смущенно произнес Лазарев.— Свои нервы.

— Ну и дурак,— добродушно сказал Локотков.— Долбануло бы каменнойгой, и прости-прощай наша операция. Авантюристические какие-то у тебя замашки, Александр Иванович...

— Это есть,— согласился Саша.— Но если иначе жить, тоже плесенью покрыться можно. Я это люблю, по краешку походить.

— Бессмысленный риск — хулиганство,— сказал Локотков, не веря своим словам, ибо кто знает предел осмысленному риску в войне? — Вообще, я замечаю, ты парень хулиганистый, Александр. Не божья коровка.

— А вы бы божью коровку в Печки послали? — тенорком осведомился Лазарев.

Локотков взглянул на Лазарева. Саша вспотел: мешок с толовыми шашками был достаточно тяжел. Повстречавшись глазами, оба они усмехнулись. Понимающе и не без хитрости.

— Ты только не заносись,— посоветовал Локотков.— Скромность человека украшает.

— Думаете? А я слышал, что если человек слишком скромный, то это оттого, что ему есть почему быть скромным...

— Это тоже Инга сказала?

— Она, а кто другой? — не без гордости произнес Лазарев.

— Да я ничего, я и не думаю, что ты сам.

— Удивительно, почему она... — начал было Лазарев и замаялся. Потом с прежней дерзостью взглянул в глаза Локоткову и спросил: — Как это ей не скучно со мной, все удивляюсь...

Они стояли на тропке, поджидая своих — Ерофеева и его команду. Было морозно, в сумерках посвистывал ветер, еще бледная луна всходила над далеким Псковом. На станции Карамышево гукнул паровоз. И, словно этот гу-

док был сигналом, тотчас же слева, из густой купы низкорослых елей, полоснуло сразу несколько пулеметов. Молча Локотков пихнул Лазарева в снег и, едва они упали, услышал короткий стон. А повыше, с той горюшки, с которой они только что спустились, уже ударили пулеметы ерофеевских хлопцев, они стреляли короткими, словно вопросительно-ищущими очередями, еще нащупывая, экономя патроны, еще готовясь к бою. Саша еще раз застонал.

— Ранен? — спросил Локотков.

— Не знаю. Наверное. Может быть.

Он пытался стащить с шеи автомат, но не мог, движения его были спутанными, неточными, лицо белело на глазах Ивана Егоровича, глаза уходили...

— Брось, — велел Иван Егорович, — брось, слышишь? Давай берись за меня. Сейчас уйдем отсюда, ничего, еще уйдем...

Ему удалось оттащить Лазарева по неглубокому снегу шагов на полсотни. Пулеметный огонь из ельника поубавился, ерофеевские хлопцы с горюшки сыпались вниз, стало слышно, как рвались гранаты. Но Иван Егорович только потом вспомнил все это: сейчас он провожал Сашу Лазарева.

— Не хочу, — быстро сказал Лазарев, — не хочу я, Иван Егорович. Не хочу умирать. Вы сделайте что-нибудь...

И Локотков делал, но что же он мог сделать? Полушубок уже весь залился черной в лунном неживом свете кровью, в Сашиных легких хлопотало, гас, угасал дерзкий, ничего не боящийся, прямой взгляд.

— Не хочу, когда поверили, — затихая, через силу сказал Лазарев, — не хочу теперь. Ведь лечат же, ведь вылечивают. Почему же я?..

Иван Егорович выстрелил вверх. У него даже индивидуального пакета не было. Да и какой, к черту, пакет мог здесь помочь, когда она уже пришла и встала в лунном свете над Лазаревым, встала, дожидаясь своей близкой секунды? Уж он-то ее повидал — старый солдат Локотков, он видел ее, незваную сволочь.

— Голову мне подержите, — попросил Саша. — Не хочу так! Не хочу низко. Инга где? Повыше!

Он хотел повыше. Он все еще не сдавался. Он хотел, наверное, увидеть не только небо, но и снег, и бой, и ельник. Но не увидел уже ничего. И тогда Иван Егорович первый раз за всю войну растерялся.

— погоди, — сказал он торопливо, — погоди, Саша, сейчас придут. Мы вылечим, Павел Петрович сделает. Ты подожди, лейтенант, подожди же...

И тотчас же, опять-таки в первый раз за всю войну, Локотков ослабел. Он уложил Сашу, как ему казалось, поудобнее, выпростал руки из-под его головы, поправил на нем шапку и, сам не понимая, что делает, прилег рядом. И услышал тишину — бой кончился. Но это ему было все равно, он не понял, что бой кончился, он понимал только, что Лазарев умер. И когда подошли Ерофеев со своими подрывниками, Иван Егорович сказал, не замечая, что плачет.

— Унести надо. Умер лейтенант. Убитый.

Встал, покачиваясь, махнул почему-то рукой и пошел один, нетвердо, но после выровнялся и зашагал своим обычным, развалистым шагом, ни разу не обернувшись. В своей избе он выпил немецкого вонючего трофейного рома, снял окровавленный полушубок и сел на топчан. Наведался к нему комбриг — он молчал и думал. Наведался Ерофеев — он тоже ничего ему не сказал. Пришел доктор Знаменский — Иван Егорович попросил:

— Уйди, Павел Петрович, не обижайся.

Так и просидел он всю ночь в холодной землянке, все курил и думал. Сидел в шапке, иногда вздрагивал, порою вздыхал. А когда Лазарева хоронили, морозным и солнечным утром, и когда протрещали над могилой автоматные залпы, он опять, как тогда в поле, махнул рукой и ушел один к себе, чтобы написать про Сашин подвиг еще раз по начальству. Писал он долго, стараясь найти слова, которые пронзили бы души, но таких слов, наверное, не нашел, потому что и по сей день ничем не награжден по-смертно Александр Иванович Лазарев.

Утром пошел Иван Егорович на могилку, уже осыпанную чистым ночным снегом. И послышалась ему в посвящении морозного ветра Сашина песня, та, которую он все напевал последнее время:

Там под черной сосной,  
Под шумящей волной  
Друга спать навсегда положите...

— Ну, прощай, Саша,— сказал Иван Егорович тугим голосом.— Прощай, товарищ лейтенант. Видишь, как неладно получилось...

Больше он ничего не сказал. А с вечера начались жаркие и длительные бои, немцы бросили на бригаду бесчисленных карателей: видимо, до Берлина действительно дошли сведения о дерзком и небывалом похищении Лашкова-Гурьянова вместе со всеми наисекретнейшими документами Ваффеншуле.

Через два дня, когда упорно лезущих немцев отрезали и перебили все в той же Пикалихе, Иван Егорович написал письмо Инге. В немецком поношенном бумажнике Лазарева не было решительно ничего, кроме одной фотографии — Инга Шанина, босая, совсем еще девчонка, стоит возле какого-то большого и светлого моря.

«Его фотографии не имеется, — писал Локотков, сильно нажимая жестким карандашом на серую бумагу. — А что твоя немножко испачкана, ты не обижайся, Инга, это его личная, Саши, святая кровь. К нам ты больше не вернешься, мы понимаем, что слишком тебе будет здесь тяжело. Ну, выздоравливай.

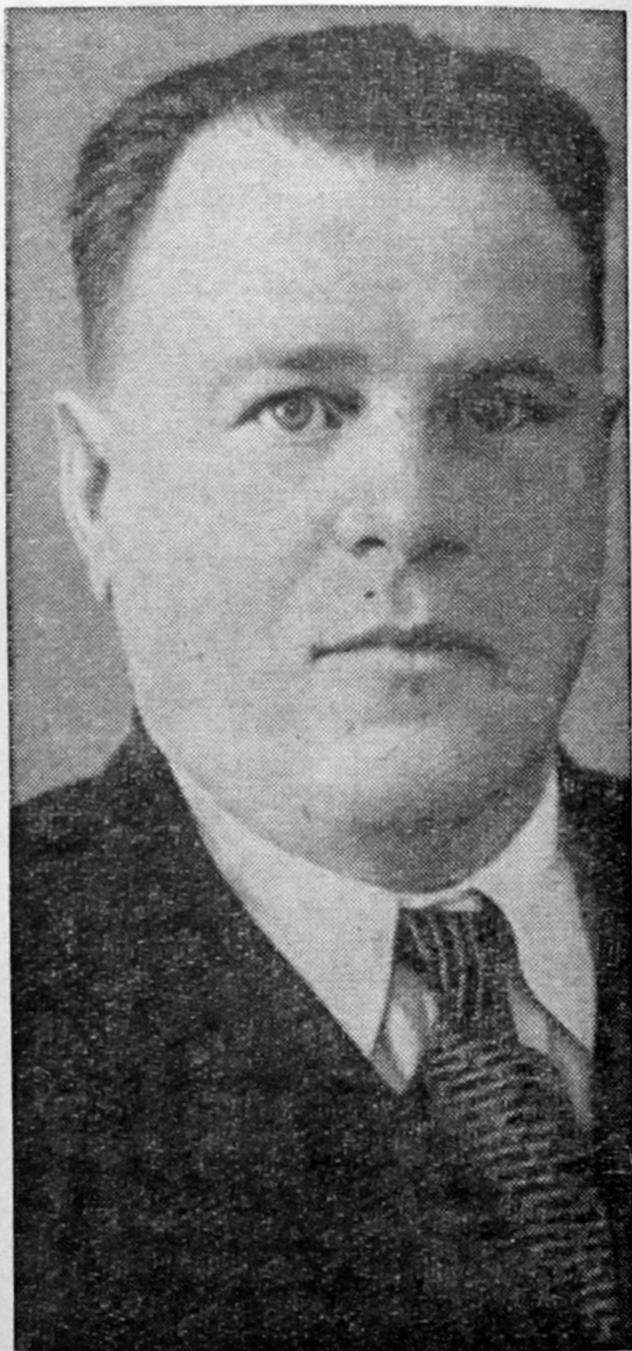
С коммунистическим приветом  
*Ив. Локотков».*

Уснул Иван Егорович здесь же, сидя у стола, а проснулся потому, что немцы еще подкинули своих и вновь надо было идти воевать.

**ПОВЕСТЬ  
О ДОКТОРЕ  
НИКОЛАЕ  
ЕВГЕНЬЕВИЧЕ**

Если я гореть  
не буду,  
если ты гореть  
не будешь,  
если мы гореть  
не будем —  
кто тогда рассеет  
мрак?..

*Назым Хинмет*



Один больной, журналист по специальности, как-то мне сказал: «Медицина поднялась на такую высоту, что с нее ей не видно больного человека».

Проф. В. Э. Салищев.  
«Записки хирурга»

## «НЕУЕМНЫЙ И НЕУКРОТИМЫЙ»

**Ф**амилию Слупский я в первый раз услышал в приемной тогдашнего заведующего Ленгорздравом Киселева, человека энергичного, наделенного острым умом, настоящего медицинского организатора из тех, на отсутствие которых жаловался великий Н. И. Пирогов.

В кабинете Киселева шло заседание по поводу наступающего на Ленинград «импортного» гриппа. А я и две немолодые докторши ждали приема. Докторши говорили о сестрорецком докторе Николае Евгеньевиче Слупском. Говорили так увлеченно, хорошо и даже восторженно, что я невольно прислушался. Речь шла о какой-то недавно сделанной операции, о какой именно, я не понял, да дело было и не в этом, дело было в ином — в характере человека, о котором шла речь, в характере доктора, по словам собеседниц, «совершенно неуемном и неукротимом».

— Чем же он такой «неуемный и неукротимый»? — поинтересовался я.

— Да всем, — с некоторым неудовольствием на мое вмешательство сказала докторша постарше. — В основном с медицинской статистикой у него трудные отношения.

— Это как же? — спросил я.

— А так, что он не боится высокой смертности в своей больнице.

Другая докторша, помоложе, сказала довольно раздраженно:

— Общую медицинскую статистику вечно портит, чем и вызывает недовольство некоторых начальников. А вы, что, не врач?

— Нет, не врач. Как это вы сразу угадали?

— Довольно просто. Здешние врачи большей частью Слупского знают и недолюбливают.

— Почему же?

— А вот все за то же. Берет к себе тех, от которых иные отказываются.

— И с каким же успехом?

— С переменным, — ответила докторша постарше. — Повторяю, иногда статистику портит, но борется до последнего. До самой последней возможности.

— Он, что же, профессор? — поинтересовался я.

— Нет, просто врач, — ответила докторша. — Заслуженный, кажется.

— В годах?

— Возраст рабочий, но, конечно, ему уже дают понять, что пора бы и на отдых, — совсем зло сказала докторша постарше. — Это часто случается, если шея у человека непоклончива. Разумеется, бывает и правильно, если человек с фокусами стареет, а если он лишь реализует накопления своей жизни, тогда зачем же на отдых? Есть люди разные, некоторые любят в полном здравьи уходить на пенсию, а для некоторых уход на пенсию смерти подобен. Так вот. Слупский *не работать не может*.

Заседание, подобное заседаниям военного совета в дни, предшествующие наступлению, в кабинете Киселева за-

канчивалось, когда я туда вошел. Насколько я понял, ленинградское здравоохранение обороняться не собиралось, оно готовилось к наступлению на грипп. Этот «импорт» должен был быть сброшен в Маркизову Лужу, откуда он пытался к нам высадиться. Еще до того, как удастся ему закрепиться. Киселев это подчеркивал в своей короткой итоговой речи и был похож на командующего перед сражением.

Когда я спросил его о Слупском, он призадумался ненадолго.

— Товарищ, конечно, формы не обтекаемой,— сказал Киселев,— но несомненно интересный. Впрочем, упреждать не стану. Смотрите сами. Учтите, однако же, что некоторые на него со стародавних времен злы, и если станете о нем писать, то обретете и опровергателей весьма энергичных, ретивых и на многое способных.

Я поехал в Сестрорецк, немало времени просидел со Слупским, написал о нем в газеты и на радио и тотчас же убедился в даре предвидения умного Киселева, который в эту пору уже уехал в Москву, в Институт переливания крови.

«Расплата» последовала сразу же после выступления ленинградского радио. Туда прибыла некая дама, отказавшаяся назвать свое имя, но давшая понять, что она «в курсе всего». В заявлении, сделанном ею в изустной форме, говорилось, что литератор такой-то женат на сестре жены Слупского и, проживая бесплатно на даче у Н. Е. Слупского, «за это» его рекламирует. Последовало еще несколько анонимок, но на эти пакости ответил наш советский народ *тысячами писем*. Отозвались вдруг сотни людей, которых Николай Евгеньевич оперировал в тяжкие дни начала Отечественной войны, отозвались довоенные «грыжи, аппендициты и переломы», отозвались колхозники, рабочий класс, офицеры, солдаты, генералы,

пошла почта, из которой, в сущности, и сложился этот очерк. К нынешнему времени у Николая Евгеньевича и у меня собралось около *пяти тысяч* писем с воспоминаниями, и эти письма любимого народом и близкого к нуждам народным «просто доктора» не то что прозой, но даже и стихами, хоть и несовершенными по форме, день за днем бесхитростно, искренне и просто повествуют жизнь Николая Евгеньевича, жизнь замечательную, хоть и многотрудную, жизнь, в которой ни единый шаг не был сделан по устланной цветами дороге. Но разве не поется в прекрасной песне, что «вся-то наша жизнь есть борьба, борьба!».

И когда нынче, к сожалению случается это и нынче, вдруг выдастся черный день с обидной глупостью какого-нибудь чиновного бюрократа или в очередной раз намекут Слупскому на то, что «старикам везде у нас почет» и почему же, вместо того чтобы оперировать и ночами выхаживать больного, не воспользоваться Николаю Евгеньевичу этим правом на «почет», он только коротко вздыхает и ворчит:

— Черт не выдаст, свинья не съест! Впрочем, иногда желательно, чтобы оставили в покое.

Очень, конечно, желательно. И возможно, оставили бы. Но Николай Евгеньевич, бывает, и сам «начнет». Начнет гнать врача-лодыря, «немогузнайку», перестраховщика, самоуверенного болтуна. А тот за дедку, а дедка за бабу... И вновь все с истоков, с начала начал, вновь приезжают комиссии, вновь поднимают истории болезни и вновь говорят задушевно, почти ласково, трогательными голосами:

— Покойному было семьдесят четыре. Зачем же вы его оперировали? Преставился бы дома, а тут вот...

— Что вот? — спрашивает Слупский, сдерживая бешенство.

— Сами же видите.

— Убежден: за человеческую жизнь нужно биться до последнего. Так жил, так иных медиков учу, с тем помирать стану...

Комиссия помалкивает, переглядывается.

Впрочем, расскажем про Николая Евгеньевича последовательно.

## НЕЛЕГКО МОЛОДОМУ

**П**ять бывших краскомов, красных командиров, в порыжелых сапогах, в протертых галифе, в пропотевших френчах и гимнастерках, стояли перед задумавшимся профессором. Среди них был и Николай Евгеньевич Слупский. Отвоевав гражданскую, с превеликими трудностями молодой человек прорвался к страстно любимой им медицине...

Профессор В. курил черную, длинную, ароматнейшую сигару из старых запасов. Итальянские вина, французские коньяки и сигары знаменитый профессор имел обыкновение закупать сразу на несколько лет вперед. В этот сентябрьский день 1920 года запас сигар у профессора В. пришел к концу. По этой причине у него было чрезвычайно плохое настроение.

Бывшие краскомы, нынешние студенты-медики, молчали. Влюбленные в великую науку — медицину, они робели перед лицом одного из ее титулованных сынов.

— Ну-с, так-с, — со вздохом произнес наконец профессор. — Позвольте-ка ваш матрикул, господин... э-э-э... прошу прощения, гражданин... э-э-э...

Бывший краском, известнейший впоследствии хирург Р., сунул руку за голенище потрескавшегося и залатанного сапога и вынул завернутый в газету матрикул.

— Вы носите свой матрикул в портянке? — осведомился профессор.

Не торопясь, он натянул на руки резиновые перчатки и пинцетом открыл матрикул. Все пятеро выдавших виды краскомов побелели. На их глазах рухнуло и разбилось в пух и прах то, что представлялось им чем-то вроде божества в науке. Ничтожный человечиска, продавший дело свое и душу за роскошный образ жизни, обнаружился перед молодыми медиками во всей своей отвратительной наготе.

Но лекции его они все-таки слушали. И если он не договаривал или пускался в заведомо подготовленные туманности, то «кухаркины дети», как он их называл, твердо и жестко требовали разъяснений.

Профессор В. злился и «разъяснял» скрипучим от бешенства голосом.

Потом он удрал за границу и жаловался там, как из него «вытрясали» его знания. Жаловался на русских студентов, играл на скачках и пил.

А Николай Евгеньевич Слупский и по сей день посмеивается:

— Что правда, то правда: трясли, бедолагу, здорово. Даром он свой хлеб не ел. Мы учиться пришли, а не шутки шутить. И по собственному, как говорится, желанию. Я во сне видел: лечу, оперирую. Во сне пугался: надо оперировать, а как — не знаю...

Время было сложное, старые навыки, привычки, традиции умирать никак не хотели. Знаменитый сторож бывшей пироговской «черной анатомии» (анатомического театра) Роман — пьяница, но умелый помощник прозекторов, много лет не выходивший за пределы своего «заведения», — по-прежнему называл профессору «ваше высокопревосходительство», а слушателей академии — «вашесковородие». Объяснять происшедшие перемены

старика было бесполезно. Он только помаргивал и отмахивался.

На «вакации» бывший краском Слупский ездил к родителям, в дальнее село. Здесь, ежели кто забивал барана, Николай Евгеньевич его непременно препарировал, но с таким изяществом, что владелец туши не ругался. Сюда же приезжали дядья, врачи, один из Вольска, другой из Чернигова, врачи земские, опытные, умные, наблюдательные. «Вакации» превращались в занятия: оба дяди желали видеть своего племянника не «вольноопределяющимся» от медицины, а настоящим врачом. Был еще и двоюродный дед, тоже врач, — тот гонял всех троих нещадно, от него даже сбежали на речку.

В академии учителя у Слупского были чрезвычайно сильные: Шевкуненко, Тонков, Павлов, Москаленко, Оппель. Особенно строго относились к изучению анатомии. В запыстье есть восемь косточек, студенты на ощупь должны были знать, какие правой руки, какие левой. А знаменитый Тонков укалывал на экзамене труп длинной иглой и спрашивал:

— Через что прошла игла?

Строг был неумолимо и никакие чрезвычайные и жалостные обстоятельства своих слушателей во внимание не принимал.

— В хирурги собрался? — спрашивал он. — Без знания анатомии? Забудь, голубчик, забудь мечту свою и ступай от меня вон. Ступай, мне и глядеть на тебя совестно!

Бывало, стены аудиторий содрогались от могучего хохота. Это старые профессора рассказывали будущим первым советским врачам о некоторых камуфлетах медицины времен Российской империи. Так, например, одной весьма сановитой даме понадобился медик, и непременно притом *представительной* наружности. Кого к ней не посылали, всех гнала вон.

- Голос противный — это про одного.
- Рыжих не выношу! — это про другого.
- Заика! — это про третьего.

Тогда послали капризной сановнице *представительнейшего* семинариста, конечно, проинструктировав его слегка. Семинарист был нанят дамой ежемесячно с окладом в семьдесят рублей только потому, что выписал ей самое дорогое из всех существующих лекарств. Пилюли тогда делались в золотой обложке. Обложка стоила десять рублей. Вот это даме и понравилось.

## НА «ДРУЖНОЙ ГОРКЕ»

**С**дав труднейшие экзамены, бывший краском, ныне врач, Слупский получил назначение в провинцию, на здравпункт «Дружная Горка», где в ту пору был единственный наш завод, изготовляющий лабораторную посуду.

Завод только поднимался из руин, только-только стал собирать старых мастеров, удивительнейших и редчайших искусников.

Молодому врачу не хватало работы. Ему было мало и здравпункта, и хирургии, и постоянных вызовов на квартиры. Не хватало работы и на заводе, который по старинке, по традициям — «от хозяина» — не повел еще настоящую планомерную борьбу с тяжелыми производственными травмами — так именовались тогда свинцовые отравления.

Завод химического стекла употреблял в производстве сурик — мельчайшую свинцовую пыль. Вот с этой-то пылью и начал Слупский борьбу. Многими часами он не выходил из цеха, где в печах варят сопла, не покидал

подолгу стеклодувню, где производилась сложнейшая лабораторная аппаратура.

Постепенно картина отравлений стала для Слупского выясняться во всех своих подробностях. Вентиляция была тут построена неграмотно, еще во времена владельца завода немца Ритинга, наверху, а так как фтористоводородная кислота тяжелее воздуха, то Слупский потребовал перенести вытяжки вниз, к полу.

Начальство на Слупского покосилось неодобрительно.

— На твои деньги будем переносить вытяжки? — спросили у врача.

— Зарплата моя — восемьдесят рублей, — ответил Слупский, — а тут десятками тысяч пахнет.

— То-то же!

— То-то же или не то-то же, а менять вентиляцию придется...

— Это что? Приказ?

— Требование.

— А не высоко берешь?

— Беру как надо.

В эту пору Слупский уже занялся своим респиратором. В то время нашу промышленность снабжали лишь маленькими респираторами, с малой фильтрующей поверхностью — 12 квадратных сантиметров. Николай Евгеньевич соорудил совсем иной респиратор и повез его в Ленинград крупнейшему гигиенисту Военно-медицинской академии Хлопину. Профессор долго возился с респиратором, отдал его для проведения опытов своему ассистенту Галанину, а потом пристально поглядел на молодого врача.

— Ты у кого учился? — спросил Хлопин.

Николай Евгеньевич назвал своих учителей.

— Не ученик ты их, а выученик, — поправил Хлопин Слупского. — Надо русский язык знать. Так вот, оста-

нешься у меня. Ты мне с твоими качествами вполне подходишь. А я тебе как кажусь — ничего?

— Ничего! — смутился Слупский.

— И на том спасибо. Значит, мы тебя оформляем в академии.

Но Николай Евгеньевич отклонил предложение Хлопина и вернулся на «Дружную Горку». Он не мог оставить, бросить завод в трудное время. Респиратор пошел в массовое производство. Обладая большой фильтрационной поверхностью, портативный, удобный, легкий, он полностью соответствовал своему назначению. Одно дело было закончено. Слупский занялся планомерным обследованием здоровья рабочих, стоявших у печей, измерял температуры, при которых они работали, обследовал сердечную деятельность и о некоторых частностях рассказывал начальству.

Начальству эти частности нравились не слишком. За частностями предполагались выводы. Выводы, в свою очередь, требовали улучшения производственных условий, короче — дополнительных денежных вложений. Однажды молодому доктору недвусмысленно дали понять, чтобы не в свое дело он не вмешивался, не лез не в свою специальность.

— Ты лечи, — строго-настрого посоветовали ему, — есть у тебя порошки, клистиры, микстуры, капли, грелки, мази... Вот и делай, что по твоей науке предопределено. Ты не техник. Ты врач. А здесь мы сами управимся. И молод еще указания давать. Респиратор!

На кличку «респиратор» Николай Евгеньевич не обиделся. Его респиратор свое дело делал. А «вмешиваться» у Слупского стало жизненным правилом. Так, «вмешавшись», молодой доктор сделал заводскому коллективу большой и очень интересный доклад о том, каким образом оберегать себя от всего ядовитого на производстве.

Доклад был точный, умный, конкретный и полезный. Старые производственники записывали, задавали вопросы и, что самое существенное, *советовали*. Завязался и спор. Правда, председатель завкома на доклад не явился, заявив заранее, что на нашем советском производстве никаких «вредных моментов» быть не может, «это тебе, товарищ доктор, не капитализм, ты мне рабочих разлагаешь, о чем, впрочем, поговорим в другом месте».

Ни в каком другом месте разговор не состоялся по той довольно основательной причине, что председателя завкома на перевыборах рабочий класс не без удовольствия провалил. Николай Евгеньевич в это самое время делал сложный расчет необходимой вентиляции при фтористоводородном травлении, то есть опять «вмешался». Новый состав завкома идею вентиляции, рассчитанной молодым врачом, горячо поддержал. С производственным травматизмом на «Дружной Горке» было покончено, и только тогда Николай Евгеньевич посчитал возможным поехать в Ленинград к знаменитому Ивану Ивановичу Грекову.

### **«Вот Иван Иванович Греков, исцелитель человек»**

— так написал про знаменитого Грекова поэт Олейников.

Здесь, в Ленинграде, в первые же дни Слупский при довольно занятых обстоятельствах выдержал «экзамен на хирурга у самого Ивана Ивановича». Вот как это произошло.

Всем близко знающим Грекова было известно, как мягко, просто и даже ласково вел он себя по отношению к подчиненным. Но во время операций, которые он проводил «лаконично», рассчитывая и экономя каждое движение, знаменитый хирург относился абсолютно нетерпимо к потере даже доли секунды; в этих случаях за-

мешкавшемуся помощнику доставалось замечание такой язвительной силы, что бедняга долго корил себя своей нерасторопностью и только поеживался, вспоминая пережитые давным-давно минуты. Однако с молодыми, едва начинающими хирургами Греков был удивительно ровен и терпелив, поэтому первое же резкое замечание во время хода операции расценивалось здесь как диплом на хирургическую зрелость.

Резкое и короткое замечание Слупский получил на первой же операции, проведенной в присутствии Ивана Ивановича.

С этим замечанием Николая Евгеньевича даже поздравили:

— Неслыханный случай, — было сказано ему. — На самой *первой* сразу «произведен».

У Грекова молодой доктор прошел великолепную школу «отношения к больному человеку». Ассистируя Ивану Ивановичу, Слупский всегда с радостью следил за тем, как Греков спокойно подходил к операционному столу, как ласково и весело заглядывал в глаза больному, как спрашивал имя, отчество и не жалел времени на то, чтобы полностью успокоить взволнованного близостью операции человека. У Грекова же Николай Евгеньевич научился еще одному драгоценному свойству: отдыхать в работе. Именно так говорил Иван Иванович Греков: «В работе надобно учиться отдыхать, в труде черпать силенки».

В одно из первых дежурств Слупского из Оредежи привезли женщину с огнестрельными ранениями живота. Доставлена она была только через тринадцать часов после того, как ревнивый муж четырежды выстрелил в нее из револьвера. Николай Евгеньевич сделал ей тяжелую операцию — резекцию тонкой кишки. Все закончилось благополучно. Наутро седовласый, славящийся своей необык-

новенной осторожностью хирург профессор Александров, укоризненно покачав головой, сказал:

— Раненько вы, батенька, начали делать резекции.

Иван Иванович Греков с осторожнейшим хирургом «позволил себе не согласиться». Красный от смущения, Николай Евгеньевич выслушал несколько очень добрых слов знаменитого Грекова, сказанных «по-грековски» — в форме добродушной и грубоватой. Осторожнейший Александров поджал губы: он не мог не понять, что в похвале Слупскому содержался и упрек его прославленной александровской осторожности. Четырежды раненная Белинская, быстро поправившись, уехала в Оредеж. А вскоре Александров ушел от Грекова и открыл свою собственную, личную, частную клинику — были еще годы нэпа, — чрезвычайно представительный, седовласый «импозантнейший» профессор не смог сработаться с Грековым и его «гвардией» — с такой молодежью, как Слупский.

Более двух лет Николай Евгеньевич проработал под руководством Грекова. Внимательно, требовательно, строго и настойчиво профессор Греков следил за ростом молодого хирурга, с интересом вслушивался в его рассуждения, в планы подготавливаемых Слупским операций, иногда подсказывая недостающую мысль, порой охлаждая слишком радостные надежды.

Однажды к Грекову привезли рабочего с бумажной фабрики из Красного Села. У этого рабочего в чайнике, как всегда на работе, была кипяченая вода для питья. В бумажной промышленности для растворения древесины пользуются каустической содой. В обеденный перерыв, когда Романов вышел из цеха, молодая работница налила в чайник каустической соды, для того чтобы сварить мыло. Романов, пообедав соленым супом, выпил полчайника каустической соды. Разумеется, образовались ожоги пищевода. На здравпункте пищевод тяжело травмировали

зондом. Николай Евгеньевич сделал Романову временный искусственный ход в желудок через живот и рассказал Ивану Ивановичу свой план операции на пищеводе. Греков выслушал и кивнул:

— Что ж, Николай Евгеньевич! Делай!

Слупский утер пот: операция эта безусловно принадлежала к тем, которые именуется «профессорскими», что молодой врач и не преминул высказать Грекову.

Тот ответил с характерной усмешкой, так красившей его лицо:

— Профессора бывают разные. Врачи — тоже. — И ласковым движением своей большой, сильной руки «Иван Иваныч Греков — исцелитель человек» потрепал Слупского по плечу:

— Завтра и прооперируешь.

В этот день кроме самого Грекова в операционной были еще четыре профессора. В ходе операции Иван Иванович не сделал ни одного замечания своему ученику, но зато Николай Евгеньевич слышал фразу, сказанную Грековым своим коллегам профессорам. Слова эти Слупский запомнил на всю жизнь. Это было как бы напутствие, путевка в трудную жизнь хирурга, данная знаменитым профессором своему совсем еще молодому выученику.

— Теперь его Колей не назовешь. Теперь он нам, извините-подвиньтесь, Николай Евгеньевич. Так-то, многоуважаемые коллеги.

Слупский, кончив операцию, разбудировал грудной отдел пищевода.

Уникальная операция кончилась благополучно.

В эту самую пору Слупскому удалось исследовать картину влияния механического раздражения на секрецию желудочного сока.

О последующем писать и стыдно и противно, однако же из песни слова не выкинешь.

Нашлись титулованные научными титулами люди, которые, используя свои должности, как говорится, среди бела дня украли у Слупского его работу, тем более ценную, что Иван Петрович Павлов незадолго до своей смерти очень ею заинтересовался. Но заинтересовался *по телефону*, ворюшки слышали, Слупский слышал, доказательств не осталось, и Николая Евгеньевича обокрали.

Он попытался сопротивляться.

Ему предложили сложную комбинацию соавторства. То, о чем и по сей день с гневом и болью пишут газеты: «Ты молод, тебя не знают, мы твои благодетели, ты благодарить нас должен, а не браниться».

Слупский все же бранился.

Тучи над головой молодого врача сгущались. Кое-кто ему намекал дружески:

— Поосторожнее бы, Коля. Переедут.

— Не шумел бы! Им неприятно прослыть ворами. Они могучие!

— Бросил бы, право!

Предупредили:

— Александров теперь не одинок. Его ЭТИ поддерживают. Дело слишком далеко зашло. Брось, Коляша!

Наконец, и Иван Иванович вызвал Слупского к себе на предмет окончательного разговора. Раздраженно и горько он сказал ему следующее:

— Вот что, Коля, не совладать мне больше с этим напором. Лавочку Александрова, в связи с тем что нэпу пришла крышка, прикрыли. Но профессор есть профессор. Вот, написал... В общем ты, как тебе известно, поповский сын. А он, Александров, «сын бедных, но честных родителей», как это пишется в таких случаях. Я тебя «пригрел», а ему «создал невыносимые условия». Я ему, нашему зайчику, тебя, поповского сына, противопоставил, а он, кротчайший и добрейший, в такие был не-

возможные ситуации поставлен, что пошел на службу к частному хозяйчику. Дрянь все это и грязь, но боюсь, что трудно тебе будет. Ты хирург сложившийся, за тебя я спокоен, работы ты не боишься. Я договорился, поезжай за Новгород, на фарфоровую фабрику «Пролетарий». Дело живое, новое...

Слупский молчал.

Ужасно горько было перестать совершенствоваться, уйти от такого учителя, как Греков.

— Без ставки я бы мог тебя продержать, — поняв грустное молчание Слупского, сказал Греков. — То есть без денег. Я сам так много лет проработал, имение даже продал.

— Я могу продать брюки, — ответил Слупский, — но ведь всего одна пара. В чем ходить?

Греков невесело улыбнулся.

— Мы еще вместе поработаем, — твердо сказал он, — это все временное. Поезжай, тоже полезно — и больным и тебе. Нелегко будет, но Советская власть поможет, в случае чего ступай за помощью к ней. Без робости! За больных дерись, дерись смертно, на увечья, которые в этой драке получишь, внимания не обращай. А впрочем, этими увечьями и похвастаться можно. И главное, Николай Евгеньевич, помни: ты доктор. В смысле врач. По моему стариковскому разумению, лучшего титула на нашей земле нет. Ни пуха тебе, ни пера. И смотри же, не обижайся ни в коем случае. Дураки и завистники, ничтожества и чиновники помирают, а народ вечен. Ему и определится ты служить. А теперь, чтобы не уезжал ты с кислой миной, расскажу тебе одну историйку, которая со мной произошла, но расскажу с назидательной целью. Цель морали моей такова: не обижайся на больных, они больные, а ты здоровый. Им тяжело, а тебе легко. Ты помни всегда: шуткой очень можно помочь человеку и

даже полностью завоевать доверие народа, а это врачам как важно...

И рассказал.

Оперировал Греков старуху. Нужно было извлечь камни из мочевого пузыря. Из-за преклонных лет и дурного сердца больной операция производилась под местной анестезией. Старуха вела себя мужественно, но, когда Греков начал орудовать иглой, разворчалась:

— Поторопился бы ты, батюшка! Думаешь, легко терпеть-то? Э-эх, плох портняжка, коль так долго возишься...

Греков, разумеется, иглой орудовал искусно, но ткани тела все время рвались, и он в том же ворчливом тоне, что и старуха, ответил:

— Портной-то, матушка, вроде бы не из последних, а вот суконце подгуляло, поизносилось здорово, так поизносилось, что на портного и грех валить...

Старуха, несмотря на боль, хихикнула, а назавтра вся округа знала эту историю о портном и суконце...

На прощание учитель и выученик поцеловались.

С тощим чемоданчиком, в плохоньком, «несолидном» пальтишке, в кепочке с пуговкой, дождливым утром Николай Евгеньевич Слупский сошел с поезда в древнем городе Новгороде. До фабрики «Пролетарий» предстояло добираться на лошади еще верст тридцать.

Было это в тот самый час, когда маститый профессор Александров, лучезарно улыбаясь, вновь «оформлялся» в Обуховской больнице. Пахло от него привезенными из Лондона дорогими мужскими духами «Запах кожи», и в небрежно повязанном галстуке матово светилась большая серая жемчужина.

Настроение у Александрова было хорошее, у Слупского — отличное. Свесив ноги с телеги, Николай Евгеньевич читал письмо, одно из тех, которые «согревали душу» в самые трудные времена его нелегкой жизни. Письмо было

от Героя Социалистического Труда Михаила Петровича Уткина. Замечательный гравировщик по стеклу Уткин проработал к тому времени, когда Слупский прооперировал его на «Дружной Горке», *шестьдесят пять* лет. От роду ему было семьдесят шесть. Отец знаменитого гравировщика был крепостным графа Финкельштейна, проигравшего в карты целую деревню Ярославской губернии «на вывод». Семейство Уткиных и «вывели» на фарфоровый завод...

Тридцать лет Михаил Петрович был калекой. Не мог сидеть.

Слупский сделал ему операцию, по тем временам труднейшую и рискованнейшую. Теперь Уткин хвастался:

«Все тебя помнят, дорогой ты наш друг Евгеньевич, а я и подавно. Работаю и сижу *обеими половинами*, как сам граф Финкельштейн, и черт мне не брат! Ничего больше не болит, а уж как я мучился все тридцать годов, это врагу не пожелаю. Может, ты теперь и в профессора вышел, Евгеньевич, но нам это без надобности. Ты нам какой есть и гожд и пригожд, возвращайся, хлебом-солью встретим и во все колокола ударим. Пока что низко кланяюсь и посылаю тебе изделие моего ремесла, с моей по мере искусства гравировкой, — рюмочку в память о нашей к тебе уважительной любви...»

Слупский читал, и на сердце у него было славно. О рюмочке он не думал. «Ходит птичка весело по тропинке бедствий, не предвидя от сего никаких последствий».

К рюмочке этой придется нам еще вернуться.

## ЧУДО В ЧУДОВЕ

**Б**ронницкая фабрика «Пролетарий» встретила Слупского до крайности неприветливо. Завхоз больницы, выгнанный недавно с работы из милиции «за пьянство и буянство» и никак не желающий примириться с тем, что он больше не начальник, сделал вновь прибывшему главному врачу следующее официальное заявление, сдабривая его для выразительности крепкими словами:

— Я, Соломонов Захар Алексеевич, нахожусь здесь на должности красного директора. Ты — спец и обязан целиком мне подчиняться. Если будешь себя соблюдать, произведу в технического директора. Еще: на инвентарь и оборудование средств нет и не будет. В смысле медикаментов — не надейся. Лечи беседами и лаской. Обхождением лечи. А которые особо настырные, пусть в Ленинград едут, мы не задерживаем. И тебе поспокойнее, и мне мороки меньше. Учти также: если против меня пойдешь, я тебя с больничной кашей съем и не подавлюсь. Отправляйся работай, у меня нынче день неприемный...

Впрочем, через несколько дней «красный директор» раздобылся и после очередной речи выдал своему «спецу» восемь рублей на приобретение имущества.

Выручил рабочий класс.

Ему, его величеству рабочему классу, молодой «вмешивающийся» доктор рассказал, каковы дела со здравоохранением. Старый слесарь Рузаев из железнодорожного депо внес предложение: отработать один день на приобретение инструментов и всего прочего, необходимого *нашей* медицине инвентаря.

Проголосовали единогласно. Всю ту памятную пятницу рабочий класс «Пролетария» работал на свою больницу. Это было противозаконно, но тем не менее Николаю

Евгеньевичу выдали на руки три тысячи пятьсот рублей. С этими деньгами он поехал в Ленинград, где инвентарь и инструменты были куплены. В окрздраве на Слупского долго кричали и даже ногами топали, а некто Зайцев сказал:

— Какого тебе черта больше всех надо! Нет инструмента, нет инвентаря, нет медикаментов — отдыхай! Там пейзаж знаменитый. Рыбалка тоже. Только назначили — уже от тебя шум пошел.

Николай Евгеньевич ответил по возможности спокойно:

— Без шума с вами не проживешь. А отдыхать я начну после того, как исполнится мне восемьдесят лет. Будьте здоровы.

Через месяц после этого памятного разговора Слупский открыл хирургическое отделение. Первой операцией, которую он здесь сделал, было кесарево сечение. И мать — работница, одна из тех, которая отработала день на *свою* больницу, и ребенок остались живыми и здоровыми. Рузаев, встретив Слупского на улице, первым снял картуз и сказал солидно:

— Уже на одном этом кесаревом тот наш рабочий день не пропал. Ты дальше старайся, поддержим. Ежели что, иди к нам. А я, кстати, днями к тебе наведаюсь: точит меня что-то в брюхе, надо научно разобраться.

Слупский разобрался. Рузаева пришлось прооперировать. Операция была трудная, тяжелая, опасная. О возможности печальных последствий Николай Евгеньевич старого слесаря предупредил и выслушал своеобразный ответ:

— Мы, большевики, товарищ доктор, — люди рискованные. Есть у нас такая некая дата — седьмое ноября. Между прочим, рисковали. Так что давай делай.

Слупский удалил Рузаеву и желудок и поперечно-обо-

дочную кишку. Старик поправлялся медленно, но поправлялся. Не умея ничего не делать, он взвалил на слабые свои плечи функции первого помощника молодого доктора по борьбе с кривдой, с пьяным и невежественным завхозом. Именно в эту пору Захар Алексеевич Соломонов, именовавший себя «красным директором», обвинил «спеца» Слупского ни более, ни менее как во вредительстве на том основании, что Николай Евгеньевич изготовил для операционной «из стекла, легко бьющиеся и подверженные трещинам вплоть до осколков, шкафы, в то время как для себя заказал шкаф из досок».

Николай Евгеньевич даже ответить ничего не нашелся на такое идиотское обвинение.

Выплыла на свет и «уткинская рюмочка», названная «красным директором» «богатым предметом». И вышло так, что доктору Слупскому «поплачивали» его больные «рюмочками, а может, и чем другим».

Все это было и нелепо, и отвратительно, но нервы изматывало предельно. Выручил опять старик Рузаев. В результате его энергичного вмешательства все обвинения были сняты, сняли заодно и «красного директора», который, кстати, не более чем через полгода, кряхтя и охая, взгромоздился на операционный стол Слупского и перед наркозом жалостно попросил:

— Ты, того, доктор, голубчик милый мой, зла на меня не держи. А то ошибешься маненько — и нет более заслуженного человека Соломонова.

Николай Евгеньевич не ошибся. Соломонов и по сей день здравствует. И анонимки про Слупского именно он пишет, а автору этих строк написал даже нечто угрожающее, что-де он, Соломонов, этим «писакам» ижицу пропишет, вечно будут помнить. И про «богатый предмет — рюмку» Соломонов мне письменно, каллиграфическим почерком доносчика сообщил. Прочитав сочинение Соло-

монова, Николай Евгеньевич усмехнулся и сказал невесело:

— Вот так с тридцать второго года про меня пишет. Наверное, много томов исписал. И еще был такой Агишев, тот тоже все меня во вредительстве обвинял. Но это уже с Чудова пошло.

Греков незадолго до смерти все-таки истребовал Слупского обратно в Обуховскую больницу, а из Обуховской забрал Николая Евгеньевича в ВИЭМ. База ВИЭМ была в Обуховской больнице. Иван Иванович сказал:

— Ну вот, Коля, поработал практически, теперь берись за науку.

Николай Евгеньевич взялся с горячностью, свойственной молодости. Работа пошла. Но Иван Иванович Греков умер, Александров опять пошел в наступление, вновь всплыли слова «поповский сын», вновь пошли шепотом предложения: «Давайте объединим наши усилия, поставим имена рядом». Слупскому было и горько и тошно.

Вновь сложил он свой чемоданчик и уехал в Чудово, к своему привычному рабочему классу, подальше от Александровых с их жемчужинами, подальше от склок и липовых научных работ.

Здесь и появился Агишев — старый врач, большой насмешник и составитель длинных писем в руководящие инстанции. Он сразу же предупредил Слупского:

— Я вам в ваших рискованных операциях не помощник. Вполне можем больных в Ленинград направлять, а не затрудняться разными проблемами и не навлекать на себя неприятности. Жить надо, батенька, тихонечко, а вы все норовите сами...

Слупский действительно все делал сам: и прооперирует, и выходит больного, даже сифонную клизму сам не погнушается поставить, утверждая, что оперировать и «обезьяна выучится», а вот «выходить — куда труднее».

Агишев к прооперированным *никогда* не подходил и не стеснялся говорить, что это дело не его.

— Слупского докука! Он режет, он рискует, с него и спрос. Кто оперировал, того и к прокурору вызовут. Его же дело петушиное: прокукарекал, а там хоть не рассветай! Я же тут, уважаемые граждане, ни при чем.

И с Агишевым помог справиться Рузаев, переехавший, к счастью Слупского, в Чудово. Здесь они вместе — доктор и старый рабочий — взялись за крутую и нелегкую борьбу с брюшным тифом, который испокон веков тут не переводился. Больница сливала свою грязную воду в реку Кереть, а город пил из реки. Агишев сердился:

— Вам-то что? Вам зачем зандобилось? Жили и живем, вы, кстати, хирург, для чего суетесь?

В эту пору старый Рузаев тайком от Николая Евгеньевича пошел в чудовскую партийную организацию, рассказал все как есть и попросил поставить доклад доктора на бюро. После доклада секретарь райкома сказал Слупскому:

— Гоните вы всю эту сволочь. Пусть не мешают. А больницу нужно разворачивать. Вы человек молодой, энергичный. Операции операциями, лечение лечением, за это все вам спасибо, но только, знаете ли, больница без водопровода ни нас, ни вас устроить не может. Подсобное хозяйство вам нужно. Прикиньте, подработайте смету. И, главное, дорогой товарищ, не бойтесь портить отношения. Вот Рузаев утверждает, что новый завхоз ваш опять ворюга. Гоните в толчки и, знаете ли, заходите, мы ведь и здоровее Рузаева, и моложе.

Рузаев сидел, откинувшись в кресле, поглаживая седые усы, посмеивался.

Николай Евгеньевич сменил двенадцать завхозов, тринадцатый был Демьян Васильевич Кузов, сапожник по профессии. Удивительный этот человек сразу понял

молодого доктора и сказал ему спокойно и основательно:

— Это правильно. Ежели захотеть, вполне возможно горы своротить.

Забегая вперед, нельзя не упомянуть, что Демьян Васильевич Кузов в сорок первом году ушел воевать рядовым, одним из первых ворвался в Берлин и вернулся с фронта полковником, Героем Советского Союза.

«Горы воротить» начали с того, что, получив (почему-то через систему «Лендежды») три тысячи метров водопроводных труб, снабдили наконец водой Чудовскую больницу. Кто-то где-то получил выговор, кого-то куда-то вызвали для объяснений, но Кузов, хитро прищурившись, с видом волшебника открывал кран и говорил Николаю Евгеньевичу:

— А водичка-то идет. Идет, Николай Евгеньевич. Безотказно. И чистая. Хлопнем по стаканчику.

«Хлопали» и расходились, очень довольные друг другом.

С канализацией дело обернулось посложнее.

Не было цемента.

Помог, если так можно выразиться, случай: на цементном заводе на рабочего с семиметровой высоты упала шестидесятипудовая балка. Поначалу Николай Евгеньевич думал, что пострадавшему придется ампутировать ноги. Но все обошлось: Слупский сделал вытяжение, перелил кровь. Директор цементного завода, мнящий себя знатоком медицины, удивился, почему не наложен гипс. И тут Николая Евгеньевича осенило.

— Гипс! — воскликнул он, хитро поглядывая на директора. — А где его взять, этот гипс? Был бы хоть цемент, я бы его сменял на гипс.

— Да господи же, — ответил директор, — цемент подкинем. Сколько нужно?

— Да тонны три, меньше не обойдемся,— «с запросом» ответил Николай Евгеньевич.

Директор вздохнул с облегчением.

— Дам пять, только чтобы ты мне его на ноги поставил. Куда везти?

— А прямо на трубный завод,— сказал Николай Евгеньевич.

Директор посмотрел на доктора подозрительно, но цемент тем не менее на трубный завод был завезен. Пострадавший ушел из больницы, как выразился Николай Евгеньевич, «своим ходом». Через месяц начали прокладывать канализацию.

Вокруг больницы, когда Слупский приехал, не было никакого, даже самого слабенького, забора. Здесь опять выручило то, что иначе, чем «вдохновенное осенение», названо быть не может. В один тихий весенний вечер, когда расцвела уже черемуха, Николай Евгеньевич Слупский, одевшись поторжественнее, отправился к председателю местной церковной двадцатки и предложил ему «уступить» больнице великолепную чугунную ограду церковного парка. Председатель от такой наглости даже глаза выпучил. Но Николай Евгеньевич, будучи сыном священника и человеком, осведомленным в церковных писаниях, оперируя цитатами из отцов церкви, со всей железной неопровержимостью доказал председателю, что даже «по христианству» ограда куда более нужна больнице, нежели православной церкви. В этот вечер диспут не закончился. Еще дважды рассыпал Слупский перлы своего красноречия перед священниками Чудова и Чудовского района. Диспут доходил до весьма высоких нот. В конце концов Николай Евгеньевич дал попам понять, что все мы смертны и что может и им понадобится, скажем, ликвидировать аппендикс или там ущемленную грыжу. Все мы, как говорится, под богом ходим. Стоит ли портить от-

ношения с больницей, в которой уже есть и водопровод, и канализация, а не хватает только лишь одной ограды?

Попы сдались.

Когда ограду перевозили, ее попробовало отбить Управление железной дороги. Демьян Васильевич Кузов, старик Рузаев и главврач Слупский «свою» ограду железной дороге не отдали. Теперь навещающие больных не могли «из жалости» приносить огурчика солененького, квашеной капустки, грибков, а то и самогонки. За оградой разместилось и подсобное хозяйство больницы: пятнадцать коров, семь лошадей, свинарник. Больные в Чудовской больнице получали молока, сколько хотели. Для выздоравливающих забивались хорошего откорма свиньи. Появились новое белье, посуда, няням и сестрам был дан приказ — ни одной (по сезону, разумеется) без цветов на работу не приходить. В эту же пору Слупский исследовал воду из артезианской скважины возле больницы: вода оказалась минеральной, радиоактивной, эта вода была проведена в больницу для лечения. Потихоньку писали донос за доносом уличенные и выгнанные в свое время «двенадцать апостолов» — двенадцать воров-завхозов, и даже цветочки в доносах фигурировали как «достигнутые путем вымогательства и устрашения лиц подчиненных категорий».

Но Слупский и Кузов посмеивались. Партийные организации, общественность, рабочий класс — все им помогали. Один Рузаев, загоревший и окрепший после радикального удаления раковой опухоли, был куда сильнее любых доносчиков. Кстати сказать, этого Рузаева Николай Евгеньевич демонстрировал через двадцать лет после операции.

С каждой неделей, с каждым месяцем, делая в среднем по пять-шесть операций в день, рос Слупский как хирург. Еще в Обуховской больнице он смутно, но все же понимал, что узкая специализация в медицине ему лично

только мешала, стесняла его, лишала, красиво выражаясь, подлинного размаха. Обычно одна клиника «сидит» на легких, другая — на костях, третья — на печени, и уже эти обстоятельства не дают молодому врачу возможности широко и полно думать, самостоятельно решать те или другие проблемы, находить выход из любого сложнейшего положения, как приходится находить выход «деревенским докторам».

Здесь Слупский знал: от тяжелого случая не убежишь, консультантов не позовешь.

В эту пору Чудовская больница стала, ко всему прочему, еще и «ковать кадры». Дело заключалось в том, что врачебное пополнение, которое прибывало к Слупскому, обучалось в то время, когда недоброй памяти методические умники пришли к удивительнейшему выводу, смысл которого заключался в том, что всякие лекции студентам не только не нужны, но даже противопоказаны. Изобретен был «бригадный» метод, профессорам опрашивать студентов строго-настрого запретили, ибо всякие «опросы подавляют не только личность, но и коллектив», беседы же ассистентов было велено впредь именовать «микрорекциями». Рассказывали, что знаменитый Николай Нилевич Бурденко в ту пору именовал ассистентов «микрпрофессорами». Буйные методисты готовили даже проект радикального уничтожения аудиторий и перестройки их в некие загадочные «учебкомнаты». Разумеется, время это было необыкновенно легким для лодырей и мучительно трудным для тех, кто хотел учиться по-настоящему.

Вот эта молодежь, прибывая в Чудово, и слушала лекции «просто врача» — Слупского. Здесь же было выпущено более четырехсот медицинских сестер: Николай Евгеньевич и его молодые помощники учились сами и учили других.

Больница в 1935 году состояла из одиннадцати зданий.

Ночами Николай Евгеньевич проектировал план строительства кооперированным способом бассейна и пляжа для рабочих фарфорового, стекольного и цементного заводов. Пять гектаров полученной больницей земли были засажены садом. Тут же, в этом будущем саду, мечтал доктор Слупский построить бассейн с минеральной водой для тех рабочих, которые не могут ездить на юг. Здесь же предполагал он организовать кварцевое облучение.

Однажды, когда садили в будущем саду саженцы, увидел Слупский лежащее на старом одеяле жалкое и грубо несчастное существо. Сюда, на солнышко, принесли погреться круглую сироту Валию Черникову. У девочки действовала только одна левая рука, обе ноги и правая рука были совершенно неподвижны. Николай Евгеньевич уложил Валию в больницу и на первой операции срастил плечевую кость с лопаткой. Девочка получила возможность двигать правой рукой. Затем Слупский сделал четыре операции на правой ноге, две на левой, и девочка пошла. В ту зиму директор цементного завода пригласил Валию к себе домой на елку. Слупскому директор тогда же сказал:

— Если еще цемент понадобится, не стесняйся, и вообще не стесняйся. Ты тогда меня с гипсом, конечно, обдурил, но я на тебя не в претензии. С нашим братом директором, разумеется, бывает туго. Завтра, если разрешишь, еще одну сироту к тебе доставлю, насколько я в медицине понимаю — а я кое-что в ней понимаю, — случай потяжелее Валиного.

Галию Шустикову принесли на носилках. У нее была болезнь Литтлея, при которой в результате поражения спинного мозга развивается паралич ног.

После целого ряда операций Галя хоть и на костылях,

но пошла. В день выписки в приемном покое Галю встретили две ласковые, тихие, приветливые монахини. По занятости своей Николай Евгеньевич не обратил на эту странность никакого внимания. Так началась история со знаменитым впоследствии «чудовском чудом». Мать Анастасия в ближайшее же время объявила по всему Чудову и окрестностям о том, что Галя Шустикова исцелена «глубокой верой, праведной жизнью, очищением страданием, а также некой чудотворной иконой, складнем старого письма, который у нее имеется». Галю возили на подводе по ближним к Чудову деревенькам, мучили непрерывными истерическими церковными службами и довели до такого состояния, что в конце концов она вновь очутилась в больнице, доставленная туда каретой «скорой помощи».

В этот вечер у Николая Евгеньевича произошел крутой разговор с местным начальством. «Сведущий в медицине» директор цементного завода, слушая гневные руганьи Слупского, конфузливо покашливал в кулак.

— Вы, конечно, человек добренький, — сказал тогда Николай Евгеньевич директору. — Привезли Галю и свалили ее ко мне. А подумать, каково сироте из больницы уходить, это вам недосуг. Отдали хитрым монашенкам. Отдали победу советского здравоохранения, победу разума над болезнью, победу науки над несчастьем — кому? Черным этим воронам. Теперь церковники на год кашей с маслом обеспечены: как-никак, а было у них чудо, добились своего, даже распивочно и на вынос это чудо демонстрировали. Они, церковники, народ хитрый, я их знаю, хорошо знаю, меня не проведешь, с юношеских нежных лет, как говорится, посмотрелся...

Местное начальство переглядывалось.

Этот гневный, шагающий по комнате рослый человек, с седеющими уже висками, с лицом русского мужика, с

проницательным, умным и открытым взглядом живых светлых глаз, ничем теперь не напоминал того молодого доктора, который, казалось, так недавно, робея, первый раз вошел в кабинет секретаря райкома.

— Вишь ты какой, — сказал секретарь, — вырос, ругатель, на нашу голову. Или, может, мы сами тебя такого вырастили? Как-то быстро большой вырос!

А только что подвергшийся разносу директор цементного завода спросил:

— Послушай, Николай Евгеньевич, почему ты, собственно, не член партии? Я бы тебе рекомендацию дал охотно...

---

Вспоминая нынче «чудовское чудо», Николай Евгеньевич задумчиво говорил:

— Замечательные люди со мной работали. Знаменский, доктор, погиб геройски на войне; Зейблиц — рентгенолог опытнейший и умница; Ольга Ивановна Кедрова — золотой работник. Да все, все молодцы. Ведь и Агишев мог бы, если бы хотел и верил. А он ни во что никогда не верил. Только ждал, как мы, например, с подсобным хозяйством завалимся. А мы и не завалились...

## НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ

**В**от как медицинская сестра Раиса Егоровна Кудрявцева написала мне о первом появлении Слупского в эвакогоспитале 15-38: «...и тут у одного раненого появилось сильное кровотечение. У нас не было достаточно опытного хирурга, чтобы сделать операцию — перевязку левой внутренней подвздошной артерии. По-

слали за одним профессором, потом за другим, их не нашли. Тогда операцию решил делать сам начальник госпиталя. Я ему подавала инструменты. Но, несмотря на все попытки, не удавалось перевязать артерию и остановить кровотечение. Состояние больного катастрофически ухудшалось. В это время заместитель начальника госпиталя по медчасти доктор Зельманов увидел в окно грузовик, на котором прибыл вновь назначенный главный хирург Н. Е. Слупский. Зельманов забрал у Николая Евгеньевича вещмешок и шинель и провел нового доктора в перевязочную, где он помыл руки, натянул халат и перчатки и, подойдя к операционному столу, в течение трех минут сделал все что надо: перевязал артерию и сохранил солдатскую жизнь. В эти три минуты мы все поняли: приехал настоящий хирург!»

В далекой, мирной жизни остались и кварцевое облучение, и пляж для рабочих трех заводов, и молодой сад. Там теперь хозяйничали гитлеровцы. Тут, над Псковом, с утра до ночи палило солнце, «фокке-вульфы» и «юнкерсы» непрерывно бомбили город, древний красавец Псков горел. В духоте и зное, в черном стелющемся дыму, в едком запахе тринитротолуола, многими сутками без сна работали хирурги в те трагические дни. Бывали случаи, когда в течение трех суток урвать на сон удавалось не более двух часов. Ложиться Слупский себе не позволял, спал сидя здесь же, в операционной или в перевязочной, или в закуточке под лестницей. Там имелось старое зубоорудное кресло, «удивительно, представляете ли себе, удобная штука, до войны никак я эти кресла не ценил...» Здесь же будила Слупского сестра, взяв его за руку, как маленького, вела в операционную:

— Да проснитесь же, доктор, вы уже хорошо поспали, у меня все подготовлено, можно начинать.

Тут в огромной мере ежедневно, ежечасно помогала

Слупскому чудовская выучка: для «деревенского доктора» в военно-полевой хирургии почти не было неожиданностей. «Деревенский доктор» знал человеческий организм в его удивительной совокупности, он не робел и не пугался того, чего — к сожалению, случалось — и робели и пугались успевшие стать узкими специалистами врачи. Уже тогда Николай Евгеньевич начал настаивать на методе иссечения гранулирующих ран. Этот метод ускоряет заживление с полутора и двух месяцев до десяти дней. В своем закутке при свете свечи, пристроившись в зубоучебном кресле, Слупский писал об этом методе, как о чрезвычайно важном, в санитарное управление. В это же время Николай Евгеньевич настойчиво и кропотливо работал над проблемой сохранности конечностей.

Лейтенанта Иоселевича ранили в руку. Рука повисла только на пучке сосудов и кожи. В приемном покое Иоселевичу бодро предложили сделать ампутацию. Лейтенант согласился.

— Так дело не пойдет, — сказал Слупский.

Он удалил загрязненные края раны, оставил кость и сохранил руку. Иоселевич выздоровел и сказал Николаю Евгеньевичу:

— Знаете, товарищ военврач, никогда я раньше не думал, что рука — такая нужная в хозяйстве вещь. Молодец вы, честное слово!

«Молодец» в течение всей войны никому ни разу ни одной руки не ампутировал, за исключением случаев отморожения и омертвения, делал только некротомию, то есть удаление мертвых участков.

Позже Николай Евгеньевич стал энергично спасать и нижние конечности за счет резекции костей. В эту же пору Слупский предложил у тяжелых шоковых раненых переливать кровь в шейные вены, так как у этой категории раненых вены «спадаются» и попасть иглой в вену

руки практически невозможно. Буквально сотни жизней были спасены Слупским при помощи трупной крови. Манипуляциям этим Николай Евгеньевич обучил многих своих сестер, которые впоследствии получили немало благодарностей от тех ВРАЧЕЙ, которым они передавали то, чему научились от своего «деревенского доктора».

Из Пскова Слупского перевели в Бабаево, в госпиталь, размещенный в школе возле вокзала. Станция Бабаево связывала блокированный, голодный Ленинград «линией жизни» со страной. Бабаевский вокзал фашисты бомбили нещадно, пытаясь во что бы то ни стало перерезать «линию жизни». Псков вспоминался здесь, как курорт.

Однажды в солнечное морозное утро на операционный стол Слупскому положили солдата Воробьева. У солдата было темное лицо, Слупский понял, что это сердечная тампонада, и приступил к операции на сердце. Он убрал сгустки крови, и вот в это самое мгновение возле госпиталя разорвалась бомба. Крупный осколок вонзился в голень хирурга. Понимая, что ранен, Слупский велел наложить себе жгут. Обе ноги его были залиты кровью. Растерявшаяся сестра наложила жгут на здоровую ногу. Сердце Воробьева билось в руках хирурга. Сжав зубы до того, что заломило челюсти, Николай Евгеньевич закончил операцию, зашил рану и, чувствуя, что теряет сознание, сел на пол в перекошенной взрывом операционной. Кряхтя и ругаясь, он сам удалил засевший в голени осколок, выпил поильник воды, велел перенести себя на табуретку и занялся новым транспортом раненых. Фашистский летчик на бреющем полете обстрелял грузовик с эвакуированными из Ленинграда женщинами и детьми. Перед раненым доктором ставили носилки. Он смотрел и говорил, что надо делать. Одного из ребят в этот день, сидя на табуретке, он все-таки прооперировал сам. Где

он сейчас, этот Петя Голощекин, родившийся в Костроме в 1933 году и спасенный на станции Бабаево Николаем Евгеньевичем Слупским?

Откликнитесь, Петя Голощекин!

В Вологде доктор Слупский сделал интересный доклад о лечении гранулирующих ран. Председательствующий на заседании профессор усталым голосом сказал, что этот способ давным-давно предложен французом, мосье Ламетром. Николай Евгеньевич выразил удивление по поводу того, что ни в одном нашем учебнике об этом методе не сказано ни слова. Председательствующий профессор раздражился: не понравился ему хромой, мужиковатый и напористый «деревенский доктор», смеющийся «свое суждение иметь». И тон Слупского ему не понравился. Так приобрел Николай Евгеньевич еще одного недоброжелателя. В этом смысле, как он сам говорит, у него «все обстоит благополучно».

В Вологде Слупский обратил внимание на то, что у раненых под гипсовой повязкой часто возникают кровотечения. Внимательные наблюдения показали, что сосуды, разъедаемые инфекцией, под гипсовыми повязками давали вторичное кровотечение, в результате которого человек нередко погибал. Слупский предложил тесьму, которая накладывалась на тело под гипсовую повязку. Концы тесьмы выводились наружу, и к ним привязывалась палочка — закруточка. При помощи этой палочки либо сам раненый, либо его сосед, как следует проинструктированный, могли еще до прихода сестры или врача остановить кровотечение. Палочку эту прозвали «палочкой-выручалочкой», и многим людям она спасла жизнь.

## ВОЙНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

**К**ак мы уже вспоминали, во время войны Николай Евгеньевич непрерывно сражался за то, чтобы ампутацию рук делали только в самых исключительных случаях. Понятия «воевать» и «сражаться» мы часто употребляем в облегченном смысле, а здесь, в данном случае, герой нашей невыдуманной повести сражался в подлинном смысле этого слова, ибо инструкции и, что гораздо существеннее, авторитеты, эти инструкции подписывающие, — противник сильный, серьезный, предостойнейший и очень, очень грозный...

На Слупского взъелись.

Инструкции подтверждались особыми приказами и приказиками.

В приказиках грозили выговорами.

Недавно один из тех «грозных», кто тогда пугал Слупского выговорами, а нынче ловит пескарей, сказал мне досадливо:

— Неукротимый БЫЛ доктор. Даже от меня, вспоминаю, откусался. Вежливый, а все цифры показывает, все статистикой режет...

— Почему вы сказали БЫЛ? — осведомился я.

— Да ведь, наверное, давно в пенсионерах?

— И не собирается, — сказал я. — Он не из тех.

Бывший «грозный» сердито насупился. Ответ мой показался ему двусмысленным.

— Ничего, — посулил он, — без его желания наладят в пенсионеры.

— Времена не те, — сказал я. — Работников не «налаживают».

Ответить «грозному» правду я не смог. Слупского как раз тогда в очередной раз именно и «налаживали» ма-

ленькие здравотдельческие начальнички, но он не сдавался. Времена не те, конечно, но товарищи того «стиля» еще существуют и дело делать мешают.

Когда напечатала «Литературная газета» первый мой очерк о Слупском, был я приглашен сердитым начальником в городе Сестрорецке. Сердитый товарищ БУКВАЛЬНО так у меня осведомился:

— На каком основании вы напечатали вашу заметку про Слупского, не согласовав со мною? Какое вы имеете право райздрав критиковать? Вы кто такой?

Товарищ этот и сейчас ходит в начальниках над врачами и сейчас не отучился покрикивать.

Впрочем, вернемся к войне за сохранение верхних конечностей.

Эту маленькую войну, несмотря на угрожающие приказы в стиле «вы кто такой, чтобы свое мнение иметь», Слупский выиграл. Слишком разительны были цифры. Если в РЭПе было тринадцать процентов ампутаций, то Николай Евгеньевич свел их до двух десятых процента. И ему в этом помогли. Великолепные хирурги Джанелидзе и Куприянов поддержали Слупского. Николай Евгеньевич, назначенный главным хирургом госпиталей Вологодской области, поддержанный двумя подлинными учеными, запретил кому-либо ампутировать руки до его вызова, приезжал, сам делал операцию и ходом ее и рассуждениями доказывал, что руку можно сохранить.

Такую же борьбу повел Слупский и за сохранение нижних конечностей. Если в инструкции было указано, что при резекции бедренной кости свыше семи сантиметров *необходимо* ампутировать ногу, дабы не было болтающихся суставов, военврач Слупский реzeцировал значительно больше, но сшивал кости и таким образом сразу восстанавливал целостность кости. Он допускал резекцию до десяти — двенадцати и, в двух случаях, до де-

вятнадцати сантиметров. Никто из оперируемых не умер, но благодаря нарушению Слупским инструкции ему удалось сохранить ноги десяткам и сотням людей.

Одним из существенных вопросов во время войны была проблема лечения мягких тканей, потому что с разных фронтов присылали множество раненых именно с такими ранениями. И в этой области «деревенский доктор» Слупский добился очень многого. Назначение Слупского главным хирургом Седьмой армии Юстин Юлианович Джанелидзе «притормозил». Он настоял на том, чтобы Слупский, оставшись в Вологде, со всей присущей ему энергией занялся лечением мягких тканей и сохранением верхних и нижних конечностей.

Холодным весенним вологодским вечером никому не известный «деревенский доктор» Слупский и знаменитый профессор Джанелидзе пошли прогуляться. Юстин Юлианович сказал Слупскому:

— Вот что, батенька. Оно, конечно, все правильно: работаете вы много, успешно и... работаете, в общем, так, как надлежит это делать человеку, если он человек. Но вы уже не мальчик. Юность, как говорится, давно миновала. Да и за зрелостью дело не станет. Для диссертации у вас тем сколько угодно. И наблюдения у вас богатейшие, и материал собран немалый. Пора, батенька, подумайте.

Слупский ответил невесело:

— Некогда, Юстин Юлианович.

И тут погожим этим весенним вечером «деревенский доктор» высказал вдруг профессору Джанелидзе одну из затаеннейших своих мыслей:

— Вы только представьте себе: сижу я и пишу диссертацию. А в это время привезли мальчика, ну, лет двенадцати. Привезли и по неопытной скоропалительности взяли да и погубили. А он, знаете ли, *возьми и окажись*

*впоследствии Ломоносовым.* Как же мне тогда доживать?  
— Вздор! Мистика! Чепуха! — рассердился Джанелидзе.

— Да ведь, с другой стороны, товарищ генерал, я ведь все, что считаю нужным, — все свои наблюдения и, так сказать, открытия — публикую. Но коротко у меня получается. Страничка, полстранички. Иначе как-то совестно: война, людям некогда, а нашему брату хирургу дело нужно, конкретное и ясное. Вот позвольте привести пример: ведь делают же из соломы шляпы, портсигары, туфли-шлепанцы, а также строят из глины и соломы мазанки, то есть целые здания, так вот не взять ли мне солому и гипс?

Джанелидзе остановился:

— Ах вы моя умница! — воскликнул он. — Милый вы человек! Ну и дальше?

— А дальше вот как все пошло. Сделал я пальцы, принесли мне куль соломы, нашел я себе в помощь солдатешек, храбрых ребятушек-умельцев, протянули мы в пальцы питочки и соорудили метровый лангет шириной в двенадцать сантиметров. Этот соломенный лангет опустили мы в горячую воду, а затем все просто: лангет мягкий, фаршируем мы его гипсовой кашей. Таким образом, вместо двенадцати слоев марли у меня идет только два и если, скажем, для повязки на бедро нужно восемь метров, мне полутора хватало.

— Так это же грандиозно! — сказал Джанелидзе.

— Я знаю, что это недурно, — сказал Слупский, — но тут один профессорчик приехал, так вы знаете, как он выразился? Он выразился в том смысле, что я Гитлера поддерживаю своими клеветническими утверждениями по поводу того, что у нас нет марли. Он мне под страхом штрафной роты воспретил этим заниматься и даже не постыдился на меня ногами топать. Так что мы это, разу-

меется, делаем, но только тайно, в кабинете комиссара. И солому туда таскаем по ночам.

Джанелидзе сказал отдельно и внятно:

— С огромным удовольствием, дорогой друг Николай Евгеньевич, я этому вашему профессорчику откручу голову напрочь, хоть и не являюсь поклонником смертной казни. Немедленно напишите про эти ваши лангетки в «Вестник хирургии»!

Слупский про эти свои лангетки в «Вестник хирургии» написал. Однако профессорчик оказался живучим: необходимейшую для войны заметочку напечатали лишь в 1944 году. Держали в редакционном портфеле по принципу: «А кто вы такой, чтобы иметь свои взгляды на вещи? Профессор? Доктор медицинских наук? Академик? Ах, только врач, просто врач, некто Слупский!»

Грустно это в высшей степени, особенно если учесть, что огромная доля великого опыта нашей медицины в Отечественную войну принадлежит ИМЕННО этим «просто врачам», научные подвиги которых, совершаемые нередко вовсе не в лабораторных условиях, а буквально под огнем противника, так искусно, случалось, «обобщались», что имена подлинных первооткрывателей исчезли в небытии.

Разговор же о диссертации так, в сущности, ничем и не кончился. В эту пору Николаю Евгеньевичу приходилось делать до сорока операций в день. Он не только сам оперировал, но и учил, КАК надо оперировать. Для диссертации же необходимо было сдавать еще и обязательные предметы — скажем, философию. Слупскому же, говоря по совести, было не до философии. По самым скромным подсчетам, «деревенский доктор» Слупский прооперировал за годы войны более восьми тысяч человек, зашивал сердца, оперировал на легких. И всего этого ему было мало. Он искал, изобретал непрестанно, изо дня в

день, по принципу, который сам метко и точно сформулировал:

— Из наличия, понимаете ли, дорогие товарищи? Веревочка, солома, старое бельишко, проволочка — солдату все пригодится. От вышестоящего начальства требовать — дело нехитрое, а ты нут-ко сам умишком раскинь.

Изобретал, придумывал и показывал всем, свойство истинно талантливого человека — скорее отдать другим все, что придумал сам. Не для себя же, черт возьми, придумано — для раненых! Поэтому нужно, чтобы все узнали, чтобы немедленно практически ознакомились. Вот и остался список практических предложений, однако короткие практические предложения эти куда дороже иных ученейших сочинений, пылящихся и по сей день на полках за соответствующими номерами...

Во всяком случае, *сотни* людей выжили после тяжелых ранений благодаря именно этим практическим предложениям практического врача, и, может быть, это обстоятельство не такое уж маловажное, когда речь идет о профессии хирурга. Кстати, в данном случае речь идет не только о Н. Е. Слупском. Думается нам, что таких врачей, как Николай Евгеньевич, на нашей Родине очень много и таких *практических* предложений, как у Слупского, не одна тысяча.

Где все эти предложения? Кто ими занимается?

— Когда-нибудь обобщат! — со своим характерным коротким вздохом ответил на мой вопрос Николай Евгеньевич. — Только будет это поздновато, медицина на совсем новые рубежи скакнет. Например, достигнет человечество практического бессмертия, зачем тогда мои лангетки да веревочки? А тогда нужны были, ох нужны! В нашем деле «своевременно или несколько позже» — формула малоутешительная и даже вовсе неподходящая...

«Мягко сказано!» — подумал я.

## СОБРАЛИСЬ НА СОБРАНИЕ ФРИЦЫ И ГАНСЫ...

**В** застиранной порыжевшей гимнастерке, в сбитых кирзовых сапогах (хромовые Николай Евгеньевич, по его словам, за всю войну «только издали видел»), тяжело припадая на раненую ногу, вернулся Слупский в октябре сорок пятого в Чудово.

Невеселое это было возвращение.

Ничего здесь не осталось от той больницы, которую с такими трудами возводил он много лет назад. Невесело оглядывая пепелище, посидел Слупский на фундаменте, ножом вскрыл банку консервов, поел их с солдатским хлебом, запил водой из фляжки и поехал в Ленинград за назначением.

В вагоне настроение Николая Евгеньевича быстро исправилось. К нему подошел молодой человек, назвал свою фамилию, осведомился, не с военврачом ли Слупским разговаривает. Николай Евгеньевич кивнул.

— Я тоже врач,— сказал молодой человек.— Был довольно серьезно ранен. Вы мне вашим гипсом с соломой спасли ногу. До самой Читы доехал, и, как видите, сейчас хоть танцуй.

Здесь же, в вагоне, военврач Слупский осмотрел ногу военврача Кузовлева, потом, посмеиваясь, вспомнил, как нелегко доставалась вышеупомянутая солома. Вьюжными зимними ночами ездил тогда Николай Евгеньевич с солдатами по колхозам. Бабам-председательницам разъяснял научно, для чего нужна солома. Вздыхали председательницы, но никто в соломе не отказывал, тем более что Слупский на ходу кое-кого из больных посмотрел и полечил, и даже гнойник вскрыл деду-пасечнику. И трудные

роды в одну из таких ночей тоже потребовали вмешательства Николая Евгеньевича...

В Ленинграде Слупского назначили главврачом Сестрорецкой городской больницы.

В здание больницы было шесть прямых попаданий. Из имущества главный врач принял двадцать искореженных коек, три пинцета и четыре шприца.

Так начал Николай Евгеньевич «мирную» жизнь.

И неполадки на «Дружной Горке», и чудовские трудности, и даже дни войны теперь, в Сестрорецке, показались Николаю Евгеньевичу не такими уж тяжелыми по сравнению с тем, какая работа предстояла здесь: городу требовалась больница немедленно, сейчас же, буквально завтра, а рабочей силы для восстановления здания никто не давал, квалифицированных мастеров не было ни единого, в строительных материалах Слупскому отказывали, и дело восстановления больницы или совсем не двигалось, или двигалось черепашьими темпами.

Неподалеку от разбитой больницы был расположен лагерь военнопленных немцев. Однажды Слупского пригласили туда. Умирал юноша, студент Боннского университета, филолог, с внутренней грыжей, ущемленной в диафрагме, а профессор, полковник — немец, владелец хирургической клиники в Берлине, — лечил солдата от плеврита. Николай Евгеньевич сразу же заметил, что студента рвет, а живота нет совершенно. Следовательно, все перекачивается наверх. Обнаружил Слупский и маленький рубец сзади. Было ранение, диафрагму не заметили, кожу зашили. У студента в грудной полости был расположен весь желудок. Такие аномалии случаются, но чрезвычайно редко. Вот там, в груди, что-то плещет, а профессор-полковник, согласно своей аккуратнейшей науке, и решил: плеврит.

Тут произошел примечательный разговор. Студент,

солдат-тотальник, совсем еще юноша, с бледной улыбкой сказал Слупскому:

— Я имел смелость объяснить господину полковнику, что у меня желудок расположен в грудной полости. Но господин профессор разъяснил мне, что если я призван в армию, то такой аномалии быть не может. Я имел смелость опять-таки заверить профессора, что такая аномалия имеет место и что меня, в сущности, медицинская комиссия и не осматривала: язык, пульс — и иди защищай отечество, однако же господин полковник профессор аномалии у меня не обнаружил.

Слупский невесело усмехнулся. В этот же день он прооперировал студента. Ассистентом был профессор-полковник. Увидев своими глазами, что прав русский доктор, профессор сказал:

— Это так, но это не может быть!

Боннский филолог поправился, и добрая слава о хромом русском докторе загремела среди военнопленных. Отошла в прошлое, канула в Лету проклятая война. Кому охота умирать теперь из почтительности к бездарному профессору, бывшему полковнику медицинской службы вермахта? Да пошел он к черту, этот спесивый медицинский чиновник, и по сей день вспоминающий свои железные кресты и прочие металлические побрякушки, украшенные ненавистной всему человечеству свастикой! И да здравствует немногословный хромой русский доктор, на которого можно положиться в беде!

Так стал Слупский почти ежедневным посетителем лагеря военнопленных. Солдаты разгромленных войск Гитлера не по уставу, а от души становились по стойке «смирно», издавек завидев опирающегося на палку, в застиранной гимнастерке, сидящего русского доктора. Они знали: это жизнь. Если он пришел, все будет благополучно, все кончится хорошо. Он думает не догмами,

этот громадный русский доктор с лицом крестьянина, с неторопливыми, уверенными движениями, с внимательным спокойным взглядом. Он думает *сам*. Он и есть *Жизнь*.

Однажды в тихий летний вечер Николай Евгеньевич попросил лагерное начальство «собрать на собрание военнопленных, но только, пожалуйста, как говорится, чтобы побольше из рабочего класса. А этих самых эсэсовцев и гестаповцев не надо».

Собрание состоялось.

Солдаты — паропроводчики, штукатуры, монтеры, арматурщики, водопроводчики, — услышав, что их созывает русский доктор, прибежали бегом. Слупский сказал речь на своем нижегородско-немецком языке.

Речь была грустная, исполненная правды, прямая и грубоватая.

— Вот наша больница, — сказал Николай Евгеньевич. — В нее много попаданий. Это вы, черт бы вас побрал, стреляли и бомбили. Теперь мне моих больных класть некуда. И какую же мы наблюдаем картину? Вот, как говорится, у вас в лагере есть больница, а у нас в Сестрорецке нет. Это — справедливо? По-моему, несправедливо. И вы, братцы, должны помочь.

Слово «братцы» вырвалось у Слупского нечаянно, но говорил он сейчас не с солдатами чудовищной гитлеровской армии, а с рабочими, с которыми иначе он говорить не умел.

— И меня вы, черт бы вас побрал, тоже подранили, хожу хромаю, — уже рассердившись, сказал он. — Однако же по всем вашим вызовам являюсь. Безотказно являюсь. Но теперь решил твердо...

Тут он долго молчал, немцы испуганно застыли, пауза эта была рассчитанной.

— Являться буду, но на основе, как говорится, взаим-

ной выгоды. Я вас и лечу, и оперирую, и после операций вытаскиваю. Все, кто у меня лечился, живы и здоровы. Так давайте же, ребята, помогите мне отремонтировать больницу, потому что тех русских, которые бы могли мне это делать, вы, под водительством вашего чертова фюрера, убили. Отберите лучших из лучших, портачей и халтурщиков мне не нужно. Вот таким путем: вы мне больницу, а я вам посильно здоровьишко, оно, как говорится, тоже на полу не валяется.

Русский врач ушел, немцы шумно стали выбирать самых лучших, наиболее квалифицированных специалистов, которые бы не ударили в грязь лицом. Эти специалисты провели водопровод, поставили цоколь, ограду и в основном восстановили больницу. Здесь, как и в Чудове, стоит теперь церковная ограда, Николай Евгеньевич не без гордости считает себя специалистом по доставанию таких оград.

— Хорошо сделано! Прочно! И главное, здесь ей самое место...

В больнице к дню ее открытия было двести коек.

Николай Евгеньевич сам придирчиво, во все вмешиваясь, обошел палаты, тихие еще коридоры, гардероб, приемный покой, перевязочные, операционные, кухни...

Скромно, а существуем!

Сестрорецкая больница имени доктора Олицкого «гостеприимно распахнула свои двери», как со смешком прочитал Слупский в газете.

— «Гостеприимно!» Надо же додуматься до такого слова по отношению к больнице!

## И ПОЕХАЛИ К НЕМУ БОЛЬНЫЕ!

**К**огда обыватель и мещанин ищет объяснения фактам, не укладывающимся в его филистерские мозги, он обычно примеряет эти факты на себя.

— Все воруют, и я ворую! — говорит вор.

— Все берут взятки, почему же мне не брать? — утверждает взяточник.

— Все ездят на дачу на казенной машине, почему же и мне не ездить? — возмущается разложенец.

Для негодьяев весь мир состоит из им подобных. А для хороших людей люди — прекрасный народ.

Когда после войны в скромную Сестрорецкую больницу вдруг поехали больные из Западной Белоруссии и из Архангельска, из Тбилиси и из Рязани, из Новосибирска и из Луганска, из Киева и даже из самой Москвы, в Сестрорецком райздраве не обрадовались тому, что их скромного хирурга Слупского знают во всем нашем Союзе, не обрадовались тому, что его ищут и отыскивают те, кого он поставил на ноги в войну, и везут к нему самых дорогих своих людей — жен, отцов, сыновей, не обрадовались тому, что Николай Евгеньевич лечит, вылечивая, казалось бы, безнадежных, а сразу же *заподозрили*. На одном из заседаний патологоанатом больницы скользко, но сформулировал нужное райздраву:

— Почему-то ко мне не едут, а к Слупскому едут, — сказал сей молодой человек. — Почему бы это?

Слупский ответил без улыбки:

— Потому что ваша специальность — вскрывать трупы. Ужели вы делаете это столь замечательно, что даже мертвые из других городов желали бы быть вскрытыми вами?

Именно на этом заседании намекнули, что Слупский «берет» деньги за то, что «укладывает» к себе в больницу.

Берет и за операции. Короче — берет. Мертвенно-бледный, доктор спросил:

— Да вы что, с ума посходили? Если даже исключить мои нравственные качества, если исключить мое мнение, что за такие штуки меня, коммуниста, следовало бы расстрелять, то зачем же, согласно здравому смыслу, больного везти сюда из Ташкента и здесь платить, когда в Ташкенте его профессура бесплатно прооперирует и никакие расходы на дорогу не понадобятся?

Заседание, разумеется, кончилось ничем, если не считать того, что у Слупского стало неважно с сердцем. Очень неважно.

А оставшиеся на заседании после его ухода, разумеется, сошлись на том, на чем всегда сходятся обыватели и злопыхатели: дыма, дескать, без огня не бывает, недаром имеются сигналы, недаром ему «рюмочку» с гравировкой преподнесли еще в старопрежние времена!

Сигналы действительно были.

Писали казнокрады, выгнанные в разное время Слупским из разных больниц. Намекал и осторожный Агишев. В скромнейшей квартирке Слупского на самых видных местах стоят изделия, именуемые сплетниками и доносчиками «хрусталем». Слупский мне объяснил с грустью:

— Это мне на «Дружной Горке» дарили — брак, с трещинкой. Вытащишь из беды какого-нибудь хорошего человека, глядишь — делегация: на, доктор, храни на память о рабочем классе. Жена старательно сохраняла, а теперь доказывай, что ты не верблюд!

Случилась еще, как на зло, история с букетом.

Букет бы ничего, букет бы простили, но попробуй докажи, что букет он букет и есть из осенних астр. Попробуй объясни, что туда ничего никто не вкладывал. Попробуй выдержи! Ведь ты уже не юноша, — бывает, и сердце заболит, и нога занает.

А когда на это еще подмигивают и эти версии «взбадривают» те твои вышестоящие коллеги, которых ты во имя превратно толкуемого ими понятия «товарищества» не поддержал? Когда ты прооперировал с удачным результатом того человека, которого они, вышестоящие коллеги, приговорили к смерти, без права кассации? А ведь такие камуфлеты и пассажи происходят в жизни Слупского часто, куда чаще, чем это можно предположить.

Впрочем, загадочного тут ничего нет.

Попробуем разобраться, чем же так привлекает больных заслуженный врач республики Н. Е. Слупский?

В чем его главный «секрет»?

Почему к нему едут со всего Советского Союза?

Может быть, он пользуется своих пациентов каким-нибудь удивительным снадобьем? Может быть, открыл он некую панацею от всех болезней? Может быть, он потаенный гомеопат?

Так что же?

Быть может, он внушает своим больным какие-либо чаяния, которым не суждено сбыться? «Добренький» ли он? «Ласковенький»? «Утешитель»?

Нет! Николай Евгеньевич резок, прям, иногда в пользу больных и грубоват. Старухе, прибывшей с направлением, в котором было написано, что у нее рак, некий доброхот разъяснил латынь. Старуха тяжело рыдала, а Николай Евгеньевич, осмотрев ее, произнес резко:

— У тебя, мамаша, не рак, а дурак! Меня переживешь!

И старуха поверила мгновенно. И верит до сих пор, что никакого рака у нее не было. А был. И Николай Евгеньевич долго и трудно боролся за ее жизнь, поучительно почему-то приговаривая:

— Было б тебе, мамаша, столько квашеной капусты не есть.

И по сей день старуха верит и легенде о капусте, и

тому, что у нее «не рак, а дурак». Верит простоте Николая Евгеньевича, прекрасной русской грубоватости, за которой как бы прячется, стыдливо скрывается сердечная доброта этого замечательного человека.

К Слупскому привезли тяжело больную женщину — писательницу К. От этой больной отказались решительно все лечебные учреждения Ленинграда. Но, вопреки указанию райздрави, Слупский больную положил к себе. Он положил ее, почти наверняка зная, что исход будет трагическим, положил, искупая вину проглядевших тяжелейшую болезнь, положил, надеясь на то, что не раз происходило в его жизни, когда оперировал больного, допустим с диагнозом саркома, а оказывалась вовсе не саркома. Или не оперировал он, Слупский, людей, больных раком в третьей и четвертой стадиях, которых «не рекомендовано инструкцией» оперировать? Оперировал, и с удачнейшим отдаленным результатом. Чудес здесь никаких нет, он только внимательный, серьезный и думающий хирург, и слава о его чудесах — слава человека, сильно и страстно преданного своему делу, не перестраховщика, но война в борьбе со смертностью.

Больная, о которой идет речь, погибла. Близкие же ее родственники и по сей день говорят о Слупском как об удивительнейшем враче, сражавшемся за жизнь больной до последнего, всеми доступными средствами...

В Сестрорецкой больнице Слупский не раз и не два оперировал больных, которые были выписаны из соответствующих институтов со справками, что они не операбельны. Обреченные на смерть люди живут десять, четырнадцать, двадцать лет после того, как их прооперировал Слупский. А некоторые ученейшие мужи считают все это «случаями самоизлечения».

Может быть, поэтому у Слупского не очень благополучно сложились отношения с некоторыми товарищами из

медицинского начальства. Как это ни странно, то обстоятельство, что, сражаясь с неумолимо наступающей смертью, он рискует «репутацией медицины», вызывает раздражение, порою изливающееся в виде самых оскорбительных и несправедливых приказов.

Дело в том, что в хирургическом отделении больницы Слупского смертность выше, чем во многих других хирургических отделениях больниц. Выглядит неприятно. А по сути все тут чрезвычайно просто: Слупский кладет в свою больницу людей, от которых *отказались* другие больницы.

В райздраве возмущаются:

— Почему вы приняли колхозника Р., проживающего не в данном районе? Почему вы отдали распоряжение уложить тяжелобольного К. в стационар, минуя руководство райздрава? Почему нет направления, где соответствующая резолюция? Вот пришло благодарственное письмо из Норильска, а почему вы оперировали жителя Норильска? Что вы за такой особенный, знаменитый профессор? А если бы этот житель Норильска у нас умер, чья бы статистика пострадала, наша или Норильска?

Здорово сказано: «пострадала статистика»! Действительно, умри, Денис, лучше не скажешь! В самой формулировке уже дается ответ: лги!

Сжав челюсти, сердито поблескивая глазами, Слупский отвечает заведующей райздравом Третьяковой, главной своей мучительнице на протяжении многих лет:

— Из Норильска приезжал ко мне рабочий человек, монтер, брата его мне во время войны, в Вологде, довелось и удалось поставить на ноги. От брата он узнал обо мне, в чем же моя вина? Как мог я прогнать человека, который мне вверяет свою жизнь? Что же касается колхозника Р., то он, в расширительном смысле, поит нас и кормит. Мы едим колхозную картошку, масло, творог, пьем колхозное

молоко. Приехал мужик в гости к родным, заболел, как я мог отказать ему в больнице?

— Но он умер?

— Умер.

— Следовательно, статистика ваша опять...

Слупский продолжает объяснять и растолковывать. В больнице его ждут больные. Третьякова «беседует» в рабочее время. А именно в это время и за это время Слупский мог сделать операцию, мог посмотреть трех людей, нуждающихся в его совете...

А время идет неумолимо, время бежит...

Тут все непонятно: непонятно, почему на седьмом десятке лет жизни такой хирург, как Слупский, должен давать по такому элементарному случаю объяснения начальнику райздрави Третьяковой, непонятна боязнь правды в статистике, как, впрочем, не только непонятны, но и не соответствуют нормам нашего государственного устройства некоторые инструкции, «не рекомендуемые» пытаться спасти человека, когда существует хоть какая-то надежда к возвращению в жизнь.

У Слупского теперь есть то прошлое, тот великолепный опыт, та мудрая уверенность в своих силах, которые дают право «ломать», «рушить», «портить» прогнившие каноны, ломать на благо тем людям, с которыми бок о бок прошла вся жизнь Слупского, с которыми он работал, у которых учился и которых учил, с которыми рядом воевал, которых он знает и поистине глубоко и сильно любит.

Приказы и, как говорилось в старину, «выражения неудовольствия» некоторыми чиновниками здравоохранения не слишком огорчают Николая Евгеньевича. С юных лет привыкнув «вмешиваться», Слупский таким же остался и на седьмом десятке. Посмеиваясь, он говорит:

— Ничего! Мы гражданскую выдюжили, мы Гитлеру хребет сломали, мы вот с семилеткой управляемся, ужели

это нам страшно? Только работать мешают, черт дерн. Оперировать, а в это время всякая дрянь в голову лезет насчет каверзных запросов и насчет того, как сформулировать ответ. Нехорошо! Впрочем, меня еще в Чудове Рузаев утешал: если что, *животы защитят*. Я в свои животы до чрезвычайности верю. Будучи помоложе, любил в баню сходить. Придешь, моешься и, как говорится, поглядываешь: вот это мой живот, я его оперировал, этот мальчонка тоже мой животик, а у этого рука моя, с дерева свернулся; бывает, и ногу встретишь, и лопатку, и бедро, — человеческий организм разнообразен. Но больше, как говорится, животы. Народ в Чудове преимущественно рабочий, жили патриархально: как здоровье дедушки, как супруга, — в общем, обо всем побеседуем. Тут же на досуге, — благо, все наги и босы, яко адамы, — погляжу человека, шов пощупаю, и попаримся в заключение вместе. Прав, конечно, Рузаев: возвратишься домой — и настроение прекрасное.

И посейчас уже немолодой Слупский во все решительно «вмешивается», до всего ему есть дело.

Вот в дверь просовывается голова с лихим чубом:

— Вызывали, Николай Евгеньевич?

Голос чуть нагловатый, но и не без примеси искательности.

— Вызывал. Садись, Валентин.

Валентину лет двадцать пять. Слупский угрюмо на него смотрит. Быть разносу. Валентин шныряет по сторонам глазами.

— Ты, парень, как говорится, зарабатываешь поболее тысячи двухсот, — холодно начинает Слупский. — А женке даже апельсинчика не принес, хотя в городе их завал и все другие роженицы апельсины получили. Не обидно Анне? Жена тебе дочку родила, старалась, можно сказать, а ты что? Напился? Всего и радости...

— Так ведь такое дело, Николай Евгеньевич, — дочка.

— Рожала Анна нелегко, разрывы были...

— Разрывы? — пугается Валентин.

— А ты думаешь, родить — это пустяки. Вон год назад ты пальчик поранил, так такой вой на всю больницу был! И чуб состриги, смотреть противно. Отправляйся, и чтоб нынче же апельсины были. Я проверю.

Валентин, пятясь, уходит, а Николай Евгеньевич долго кого-то уговаривает по телефону по поводу того, что именно этому самому Валентину, который только что был подвергнут жесточайшему разному и за апельсины, и за палец, и за чуб, давно пора дать ордер на комнату, «ведь не может же, как говорится, рабочий человек и с женой, и с ребенком продолжать жить у тещи». В голосе Николая Евгеньевича появляются металлические нотки...

Затем он набирает другой телефонный номер и советует хитренько:

— Вы у него, дорогой мой, просите. Не требуйте, а именно просите, да пожалостней. Вы просите для больницы, для беспомощных, страждущих и немощных. Он человек добрый, его разберет. Его до слез нужно довести и, разумеется, намекнуть, что все мы смертны и что без больницы никому не обойтись. И не уходите, куда не подпишет. Запомнил? И на жалость, и измором!

Операционный день кончился, скоро обед. Дверь в маленький кабинетик главного врача полуоткрыта, как бы объясняя, что доступ к Николаю Евгеньевичу совершенно свободен. Изредка входят врачи, сестры, родственники больных. Всего час тому назад Слупский прооперировал ребенка, которому от роду было всего сорок пять минут. За время операции дитя прожило две своих жизни, было спасено вот этими огромными руками, спокойно отдыхающими сейчас на столе. Сам Слупский откинулся на спинку стула, закрыл глаза. Вся его поза выражает полный отдых, в сущности, это почти сон. «Отдых на работе» — греков-

ская выучка. Николай Евгеньевич умеет использовать любую минуту для того, чтобы привести себя, как он выражается, в состояние «юношеской бодрости».

Приближается время обеда.

Прекрасные огромные руки, сделавшие за свою жизнь столько добра, спокойны, но сейчас Слупский обопрется на них, поднимется и «перекроет» на мгновение путь обеда для больных. Неизвестно, когда это произойдет — сию секунду, или значительно позже, или через пять минут.

Но это непременно произойдет.

И это происходит.

Здесь главврачу не приносят специальную пробу. Он сам, своей рукой выхватывает тарелку с фанерного подноса. Здесь для главврача не наливают «погуще», или «пожирнее», или, как еще, к сожалению, в некоторых местах делается, из отдельной особой кастрюльки. Возможно, и налили бы, да вот с этим «вмешивающимся» доктором не пройдет. И не проходило никогда: ни в военное, ни в мирное время, ни здесь, ни в Чудове, ни на «Дружной Горке».

С обедом нынче, кажется, все благополучно. Еще два вызова в перевязочную, короткий визит в третью палату, и Николай Евгеньевич снимает халат. Рабочий день кончился, но будет еще рабочий вечер, потому что и вечером Слупский непременно бывает в своей больнице, как бывает и по воскресеньям и по всем праздникам.

— Ход болезни, как говорится, — рассуждает Слупский, — с выходными и прочими не считается. Всякие камуфлеты бывают, виражи и завихрения. В нашем ремесле всегда нужно ухо остро держать.

Не торопясь, прихрамывая, идет Слупский поглядеть, каково на строительстве. Ведь в Сестрорецке строится новая, большая, прекрасная больница. Светло, тихо, тепло. Встречные снимают шапки.

— Здравствуйте, Николай Евгеньевич.

— Здравствуйте, дядя Коля.

— Добрый день, доктор.

— Здравствуйте, товарищ Слупский.

— Здравствуйте, товарищ доктор...

На постройке старый паропроводчик испуганно и недоуменно говорит Слупскому, указывая куда-то вдаль:

— Вон пошел!

— Кто пошел?

— Да новый главврач! На новую же больницу назначили! Целый день тут знакомился: я, говорит, ваш, говорит, главный, говорит, врач.

Слупский старается улыбнуться, но это не так просто. Своим домашним он ничего не рассказывает: не любит, чтобы его жалели. А вечером как ни в чем не бывало идет в больницу, моет руки: привезли ребенка в тяжелом состоянии. Детей он всегда оперирует только сам. Верные друзья и помощники — Лидия Петровна Понявина, великолепные операционные сестры Вера Михайловна Цурикова и Вера Николаевна Малинина поглядывают на Николая Евгеньевича немного испуганно: знает или не знает?

Труднейшая операция продолжается более двух часов. После операции у себя в кабинетике Николай Евгеньевич рисует чертежик, как «рекордовскую» иглу для шприца превратить в универсальную иглу для переливания крови. Эту «штуковину» он придумал сегодня, и эта придумка помогла ему не размышлять лишнее об учиненной с ним несправедливости.

Бессонной ночью старый доктор коммунист Николай Евгеньевич Слупский вспоминает глуховатый голос своего учителя Ивана Ивановича Грекова.

«За больных дерись, дерись смертно, на увечья, которые в этой драке получишь, внимания не обращай. А впрочем, этими увечьями и похвастаться можно. Дураки и

завистники, ничтожества и чиновники помирают, а народ вечен, ему и определенлся ты служить. Так служи».

...Утром почтальон принес письмо. В конверте было стихотворение. Подпись Николай Евгеньевич так разобрать и не смог. Но удивительный «титул» перед подписью был таков: «Бывшая язва двенадцатиперстной кишки».

А вот и само стихотворение:

Николай Евгеньевич Незабвенный,  
Он главврач, хирург примерный,  
Громкой славой одаренный.  
К нему приходят все калеки  
С болью тяжелого недуга,  
А уходят человеки,  
В нем узрев со счастьем друга!  
Шлем ему привет — мужчины,  
Старики и детвора  
За его прославленные дела,  
Да пусть живет он много лет,  
Кричите все ему ура!

В великолепном настроении отправился Николай Евгеньевич в свою больницу. Старик Рузаев был прав: *животы, они защитят*. И если не формально, то по существу. А то, что жизнь есть всегда борьба, это Слупский знал с юности. И оперируя в этот день очередную язву желудка, вдруг улыбнулся и произнес загадочную фразу:

— Ах вы, язвы мои, язвы!

Впрочем, ни язвы, ни животы на этот раз не помогли.

Покуда Слупский лечил свою раненую ногу в Ленинградском институте антибиотиков, его с заведования новой больницей *сняли*.

Многие вылеченные Слупским люди известили меня об этом. Он ничего не знал. Может же и доктор поболеть, имеет же право доктор, тяжело раненный тогда, когда в руках его билось человеческое сердце, приболеть? Мы, друзья Слупского, в этом можно и должно признаться, ибо друзьями Николая Евгеньевича быть лестно, дали три те-

леграммы в те инстанции, которые «освободили» старого доктора от его больницы.

Нам никто не ответил. Ни единого слова.

А Слупскому потом объяснили, что волноваться ему «не из-за чего». Его хирургическое отделение остается за ним. Для чего же нервничать?

Слупский, в сущности, и не нервничал. Разумеется, было и обидно, и горько. Но дело Николая Евгеньевича оставалось с ним. Его хирургия была при нем. А причины? Что ж, они довольно элементарны. Сам Слупский мне их и объяснил:

— Я неудобный, — сказал он. — Жалуются на меня часто в горздрав, в райздрав...

— Больные? — удивился я.

— Зачем больные? Жалуются те, кто этим больным в лечении отказал. Утверждают, что я *неправильно* их вылечил. Ненаучно.

И Николай Евгеньевич вдруг неудержимо, раскатисто, надолго расхохотался, расхохотался до слез, до пота, вдруг проступившего на его крутом лбу.

— Как тот ученый немец, — сквозь смех выговаривал он, — помните, полковник. «Это так, но этого не может быть». Э, да леший с ними, — махнул он рукой, — на мою жизнь больных хватит!

## О ПОЛЕЗНОЙ ЖИЗНИ

**К**ак-то Николай Евгеньевич Слупский сказал с характерным смешком:

— В старопрежние времена на могильных плитах толковых лекарей выбивали надписи: «А полезной же жизни ему было всего семьдесят один год». *Полезной*. А полезная — она непременно, как говорится, рискованная. Впро-

чем, вовсе уж я не такой рискованный, как обо мне предполагают. Я больше внимательный, значит, можно сформулировать и так: а внимательной жизни ему было столько-то и столько-то. Вот небезынтересные случаи со всей к ним медицинской аргументацией, ознакомьтесь...

Я ознакомился.

Вот только несколько «небезынтересных» случаев из сотен им подобных. И все они связаны с тем, что абсолютно точно выразил сам Слупский: «внимательная жизнь».

---

Больной Г., шестидесяти лет от роду, приехал к Слупскому в Сестрорецк из Новгорода. Брат больного был секретарем комсомольской организации на фабрике «Пролетарий» в те далекие годы, когда Николай Евгеньевич там работал. Новгородцы и по сей день считают Слупского своим и, несмотря на препоны, чинимые Сестрорецким райздравом, настойчиво пытаются лечиться и оперироваться у своего.

Еще в 1956 году больному Г. был поставлен диагноз — гипернефрома почки. Так было решено в Новгороде, так закреплено в Ленинграде, так подтверждено в Москве. Гипернефрома, и притом неоперабельная. Поименовывать тех, кто подписывал вышеуказанный приговор, не станем, по причинам всем понятным. Светила, у которых побывал больной Г., лишь подтверждали диагнозы друг друга. На ходу. Не затрачивая свое время. Что сказал главный, то подтверждал другой главный, или старший, или высший. С больным Г. они не разговаривали.

Лишь в 1962 году Г., «неоперабельный» и замученный ожиданием смерти, приехал в Сестрорецк. Пройдя порцию мытарств, о которых мы писали выше, объяснив в райздраве раз восемь-девять, почему он приехал *после* Москвы и после профессоров к просто врачу, больной Г. предстал

пред действительно светлые и внимательные очи Николая Евгеньевича.

Неоперабельный приговоренный жил со своим смертным приговором *уже* шесть лет. Одно это наводило на некоторые размышления.

— Побеседуем! — предложил Слупский.

Больной Г. удивленно взглянул на старого доктора. Еще никто с ним не беседовал. Не утруждал себя. Зачем беседы, когда существуют рентген, анализы, точная наука?

— В четырнадцатом году меня вот в это самое место ударила копытом лошадь! — сказал больной Г. — С тех пор какая-то тут неловкость...

— А вы про лошадь кому-нибудь из ваших докторов говорили? — живо осведомился Слупский.

— Пытался, — смущенно ответил больной. — Только они не слушали.

Слупский прикинул в уме, сколько же лет гипернефроне. Выходило под пятьдесят. Он невольно улыбнулся. А через несколько дней удалил у Г. кисту в четыре с половиной литра. Сейчас бывший больной Г. совершенно здоров и бодр. А к Слупскому едут и едут из Новгорода, разве он повинен в этом?

Небольшое отступление. В Новгороде у меня была встреча с читателями. В числе невымышленных героев моих книг я назвал имя Слупского. Раздались дружные аплодисменты. Я, разумеется, не понял, в чем дело. Потом мне объяснили: новгородцы гордятся *своим* доктором, и о том, что Николай Евгеньевич существует в моем романе под фамилией Богословский, догадывались читатели библиотеки города, я же лишь подтвердил добрую славу их бывшего земляка.

В ту самую пору, когда я встречался с новгородскими читателями, у Николая Евгеньевича происходили очередные неприятности. Сын Слупского, студент-медик,

пошел дорогой отца: выбрал себе хирургию. Естественно, что на практику он попросился именно к отцу. Ему отказали.

— Почему? — осведомился Николай.

— Вы станете баклуши бить, а папаша будет вас покрывать.

— Но зачем же мне бить баклуши, если я хочу стать хирургом, и зачем отцу-хирургу меня покрывать, если он желает мне добра?

— Семейственность! — загадочно сказали Николаю.

Николай Евгеньевич и обиделся, и разволновался ужасно. Всегда склонный к юмору, нестигаемый и спокойный во всех обстоятельствах жизни, он сказал мне глухим голосом:

— Что же это в конце концов такое? Ужели оставить после себя на земле сына продолжателем того, что сам делал, и то подозрительно?

И, помолчав, добавил совсем печально:

— Разве ж я своему сыну враг?

Но тут же встряхнулся, и мы перешли к очередным делам «полезной жизни».

Около пяти лет тому назад Таисия Григорьевна Хатнюк, мать двух девочек и мужняя жена, обратилась во Вторую поликлинику города Южно-Сахалинска с жалобами. Как сказано в истории болезни, здесь поначалу «патологии не обнаружили», а несколько позже, оную обнаружив, отправили Хатнюк в город Хабаровск на консультацию к доценту С. (называть полностью фамилию доцента смысла не имеет, так как он в письме к Слупскому полностью покаялся и, надо надеяться, извлек из трагической истории выводы для всей своей последующей жизни). Впав, по-видимому, в то состояние, которое наш великий хирург Николай Иванович Пирогов именовал «диагностическим ражем», да и к тому же будучи еще и обременен многими

другими «нагрузками» и располагая весьма скудным запасом времени для консультации, доцент С. свои фантазии облек в форму приговора, обжалованию не подлежащего. «Паранальная карцинома,— написал С.— Опухоль радикально неудаима. И посему больной показана операция наложения противоестественного ануса». Ну, разумеется, рентгенотерапия, «прогрессирующий распад опухоли» и все такое прочее, из чего и малограмотному человеку ясно, какие у него веселые перспективы.

Выправив казенную бумагу, подписав ее и скрепив подпись печатью, заключение, сфантазированное консультантом С., вопреки всем правилам элементарного человеколюбия, выдали на руки Таисии Хатнюк для представления по месту прописки. Здесь, разумеется, рекомендованную не кем-нибудь, а доцентом-консультантом операцию ничтоже сумняшеся мгновенно осуществили — сработал непостижимый гипноз научного титула С.

Тут, вероятно, начисто забыли гениальные слова Герцена, которые никогда и никому не должно забывать.

Впрочем, южно-сахалинские эскулапы, судя по дальнейшему ходу событий, вряд ли Герцена читали. А слова эти вот какие: «Диплом чрезвычайно препятствует развитию, диплом свидетельствует, что дело кончено, «консоматум эст» — носитель совершил науку, знает ее».

«Совершивший науку», знающий ее С. дискредитировал свое ученое звание. Позже дискредитировал он себя и как человек, так как ни тогда, когда давал свое заключение, ни после того, как Хатнюк была прооперирована, не поинтересовался по-человечески: как же там некая Хатнюк? Наверно, и здесь помешала нелепая и смешная в нашем советском обществе чванливость. Или, быть может, пресловутое «вас много, а я один»?

Короче говоря, операция была сделана, но так ужасюще грубо, так самоуверенно халтурно, так ученически

беспомощно, что Таисия Хатнюк, по ее собственным словам, «совсем уже, совершенно перестала чувствовать себя человеком, а сделалась хуже животного».

Желая всякого счастья пострадавшей женщине, невозможно хоть в самомалейшей мере описать те невыносимые мучения, которые испытывала Хатнюк после, по выражению Пирогова, «эскулаповых резвостей» южно-сахалинских хирургов. Они и впоследствии, несмотря на все к тому основания, если даже полагаться на ими самими написанную историю болезни Хатнюк, ни на одно мгновение не усомнились в правильности своих действий и ни о чем не известили славного своего хабаровского доцента.

Из истории болезни совершенно ясно, что опухоль «не прорщупывается» и спустя много времени после операции, однако мужу Хатнюк в больнице присоветовали «искать себе другую жену, так как Таисия долго не протянет, зачем же с молодости бобылем оставаться?»

«Бобыль» другую жену искать себе не стал, но энергично принялся писать в самые разные инстанции со слезной просьбой принять несчастную женщину в какую-либо серьезную больницу, в клинику или в институт. Но ему отказывали, как видно не читая прилагаемых документов, отказывали на одном только основании, что-де «доцент-консультант» вынес свой приговор. И опять-таки никто не задумался о том, что все течение болезни Хатнюк теперь *полностью противоречит всем предсказаниям доцента С.*, как не пожелали задуматься над этим южно-сахалинские эскулапы, имевшие возможность ежедневно наблюдать больную.

Вот в это трагическое для себя время Таисия Хатнюк, искавшая только техническую возможность для того, чтобы покончить с собой, услышала по радио небольшую передачу о «рискованном» докторе Николае Евгеньевиче Слупском.

По географическому атласу нашла Таисия Хатнюк в огромных просторах Советского Союза маленькую точку — Сестрорецк и написала Слупскому про рак, про невыносимые страдания, написала «спасите» и, отправив письмо, постаралась о нем тут же забыть. Мало ли кому она писала, и кто либо совсем не отвечал, либо отвечал в том смысле, что не может сомневаться в диагнозе учнейшего доцента С.

Но Николай Евгеньевич ответил.

Отвечая, он все взвесил, прежде всего сроки. И, отвечая, он был, разумеется, *почти* убежден, что рака в данном случае нет.

Хатнюк прилетела в Ленинград самолетом.

Прикрывая своими характерными шуточками боль сострадания (а Слупский за тридцать пять лет работы отнюдь не разучился сострадать), Николай Евгеньевич осмотрел то, что *осталось* от молодой женщины, и, сопоставив с данными анализов, спокойно, решительно и твердо сказал:

— Никакого рака у тебя, матушка, никогда не было и нет!

Но на это счастливейшее сообщение Хатнюк едва слышно прошептала:

— Ну и что же, что нет? А как же мне жить теперь, когда я такая, ни с чем не сообразная? Ко мне и близко-то человеку подойти противно. Все равно, доктор, мне такая жизнь ни к чему.

Ошибки бывают. Но какая же нужна слепота самоуверенности и жестокости, чтобы одним только невниманием к ясным вещам довести молодую женщину до того, что она, получив жизнь, от этой жизни отказывается.

— Не надо тебе такой жизни? — осведомился Слупский. — А мы, Таисия, тебе *такую* жизнь и не предлагаем. Ты же на самолете сюда для того прилетела, чтобы мы

тебя полностью и целиком починили, мы и починим, да так, что лучше прежнего станешь. Надейся на нас.

И тут все: и главная верная, постоянная помощница Слупского Понявина, и замечательные его операционные сестры Цурикова и Малинина, про которых Слупский говорит, что им только дипломов врачебных не хватает, а то бы настоящие доктора были, и тетя Таня Зверева, санитарка, — все увидели подобие улыбки на лице пострадавшей женщины. За это невыносимо страшное для себя время она первый раз почувствовала, что будущее ее не безразлично людям, что ей есть теперь на кого опереться и что ее поднимут.

Ликвидировав на первой операции «элементарнейшую, вульгарнейшую кисту», Николай Евгеньевич выждал положенное время и приступил ко второй операции. Вторая была посложнее. Он возвращал Хатнюк обещанное, калека вновь становилась нормальной женщиной; своей же хирургии Слупский возвращал попорченную «проворными резаками и джигитами от хирургии» ее *высокую честь*.

Мурлыкая из «Онегина», старый врач работал бережно, продуманно и осторожно, а доктор Понявина, операционные сестры две Веры — Цурикова и Малинина, санитарки Клавдия Ариничева и тетя Таня от волнения и от радости участия в этой прекрасной работе потихонечку плакали. Высокий смысл необыкновенной этой операции был понятен всем.

И вот наконец наступил день выписки из Сестрорецкой больницы, веселый день прощания. Таисия Хатнюк, успевшая побывать у парикмахера и сделать себе «форменную» прическу, бывшая больная, бывшая приговоренная, временно изуродованная «хирургическими джигитами» и как бы заново сотворенная Слупским, теперь совсем здоровая, прощалась и благодарила, плакала и смеялась, целовала и хвасталась своим обретенным благополучием.

Прощание прощанием, а Слупский, вздев очки на нос, подписывал какие-то ведомости, наверное на крупу, лук, мясо, макароны. Лицо у него сосредоточенное, в огромной руке едва заметно маленькое перышко, «деревенский доктор» и к этому не столь ответственному делу относится максимально добросовестно.

— Знаете, — смеясь и всхлипывая, рассказывала Хатнюк, — знаете, не могу я ни на что смотреть без счастья: дерево растет — думаю: ну, расти, мое дерево, расти! Или люди идут, поют... Ну, пожалуйста, добрые люди, пойте еще! Или вот ветер. Господи, я же живая, а была не то что мертвая, хуже мертвой, потому что мертвым заслуженный почет, а от меня людям было только отвращение. И мысли: какие люди удивительные у нас! Ну зачем я Николаю Евгеньевичу? Зачем он меня на аэродроме встречал? Зачем ему со мной хлопотать? А ведь вот, возле меня часами сидел, а то даже и ночами.

— Оперировать и обезьяну можно научить, — угрюмо сказал свою любимую фразу Слупский. — А вот выходить — это шалишь. Выходить и, допустим, заставить с аппетитом есть...

Наверное, тонны картошки и мяса вызвали у Слупского соответствующие ассоциации.

— Теперь отлично ест, — сообщил он. — Великолепнейший аппетит...

Прощаясь, поплакали все. Поплакал и Николай Евгеньевич, делая, разумеется, вид, что он очень занят, очень спешит и некогда ему со всякими этими пустяками!

Тайсия Хатнюк ушла. Тихо стало в маленьком кабинете. Слупский еще раз проглядел свои ведомости и сказал:

— Есть такая точка зрения, и даже у очень хороших докторов, она, к сожалению, имеется, что-де всех больных не пережалеешь, что, можно сказать, сердца не хватит на

страдания всех, кто через твои руки прошел. Помню, обратился я в старопрежние времена к одному известнейшему доктору с просьбой проконсультировать мне больного. Так ведь он как ответил? «Я работаю над книгой и, можно сказать, ее заканчиваю. Именно поэтому на консультации совершенно не могу отрываться. Они меня сбивают. У меня от них в глазах круговерчение». Это как же понять, спрашивается в задачке? Хоть ты и профессор, но разве ты уже не врач? Мне, по серости, все кажется, что профессор непременно очень хороший врач. Впрочем, такое мое непросвещенное мнение некоторые из профессуры не разделяют, они даже сердятся на меня и очень на эти вульгарности фыркают. Имел место, кстати, помню, не так давно совсем неловкий случай. Собрались исключительно в своем кругу на полуторжественное заседание именно такие, пишущие книги, ваяющие, что ли, для потомства крупнейшие, монументальнейшие, непревзойденнейшие различные там монографии. И вот одному из них стало плохо. Душно, дело было вечером, приустали наипочтеннейшие, ну и окна закрыты: сквозняков-то побаиваются. Собрались коллеги возле коллеги. Высказывают различные наученейшие предположения, и вдруг раздается единственный трезвый голос: «Да вызовите же наконец врача!» Прибежал эдакий выпученный вахлак, вроде меня, велел окошко раскрыть, воротничок достоуважаемого коллеги расстегнул. Конфузно, конечно, нетипично и все такое, но только, размышляю я, подлинные профессора, как, например, учитель мой Греков, как Джанелидзе, как Бакулев, Петровский, Куприянов, Бурденко, Вишневский и другие, такие, как они, потому профессора, кроме научных своих заслуг, что и врачи они совершенно никем и никогда не превзойденные. И тут глубоко наша партия права: ученый медик обязательно и непременно *деятель*. Потому что если все только рассуждать, то и таких случаев печальных, как с Таисией Хатнюк, не обобратся...

С Таисией Хатнюк, разумеется, случай. Но примечательно то, что исправлений таких вот случаев, как с Хатнюк, в жизни Слупского несколько десятков. И случаи эти надобно обязательно замечать и отмечать, как замечает и отмечает наша Советская власть всякий доблестный труд. Трудовой честностью определяем мы ценность человека. И именно поэтому нам не дано права не видеть того чувства личной ответственности за все и за всех, каким наделяны люди характера «деревенского доктора» Слупского. И еще потому надлежит нам отмечать такие случаи, что, знакомясь с ними, доценты типа консультанта С. вдруг да захотят стать просто врачами, такими, как Слупский, и перестанут мнить себя не ошибающимися светилами. А некоторые товарищи, работающие в системе нашего здравоохранения, может быть, станут внимательнее читать письма, в которых речь идет о человеческой жизни...

И отвечать на них.

Хотя бы на такое, какое написал товарищ Арцишевский, живущий на станции Лахта Ленинградской области по адресу: Пролетарский проспект, дом 7. Вот это письмо, как говорится, с небольшими сокращениями:

«Честь и слава В. Р. Прокофьеву, заменяющему артерию протезом, честь и слава инженерам Знаменскому и Гезнеру, изготовившим терилен. Но... замена артерии териленовой трубкой сроками не проверена, имеем ли мы основание считать ее «исключительно надежной»? Такой же оптимизм был в свое время проявлен по отношению к капроновой трубке и привел он не к одной гангрене, ампутации...

С диагнозом О. Э. в январе 1961 года я был направлен в Институт переливания крови. Расшифровка этого труднопроизносимого наименования болезни: «самопроизвольная гангрена» — звучит страшно.

В соответствующем настроении прихожу в институт.

Здесь сидят и новички, вроде меня, и перенесшие операцию «обводки» (замена артерии капроновой трубкой), и ветераны — без пальцев ноги, без ноги... Я не задал ни одного вопроса, не произнес ни одного слова, но слушал и был посвящен (очевидно, популярно) во все касающееся этого «неизлечимого общего заболевания организма». Может быть, в приемной сидели только пессимисты? Как бы то ни было, вывод из разговоров моих коллег напрашивался такой: пришел в институт, начали тебя оперировать, надолго из него на своих ногах не уйти. Закупорка повторится, операции, ампутации и... «невидимое всепожирающее пламя».

Доктор медицинских наук Литманович предложил мне операцию замены артерии капроновой вставкой. На мой вопрос, обязательна ли для меня операция, он ответил:

— Мы *оперируем*, но в Сестрорецке есть врач Слупский, который *лечит*.

Когда я сказал, что живу в Сестрорецком районе и знаю Н. Е. Слупского, доктор Литманович рекомендовал посоветоваться с ним.

Таким образом я через институт попал на прием к своему районному врачу!

В заполненной до отказа больнице маленькая прихожая перед кабинетом Николая Евгеньевича. Сидят, а бывает, и стоят люди. Ждут терпеливо, зная, что приняты будут все. Идет прием, обходы, операции, перевязки...

По очереди вхожу я. Посмотрел Николай Евгеньевич диагноз, заключение института, пульс. Ясно.

— Мест в больнице пока нет. Давайте начнем сегодня амбулаторно?

Начали. Лечение без секрета: в бедренную артерию больной ноги вливается 10 кбсм раствора новокаина + + 1 кбсм морфия. Цикл — шесть вливаний. Через два месяца еще шесть.

Сделали мне в 1961 году вливание. Год с лишним чувствовал себя нормально. Некоторый тормоз при быстрой ходьбе, несколько дней нытья ноги в случае переохлаждения или перегревания, но вполне терпимо.

В мае 1962 года некоторое ухудшение, снова прохожу цикл вливаний.

Хочу и надеюсь обойтись без операции (не только без ампутации), в крайнем случае постараюсь при помощи метода Николая Евгеньевича дождаться, пока время проверит «исключительную надежность терилена».

Вливание в Сестрорецкой больнице делают не мне одному: всегда два-три. Кто лечится? Заместитель главного механика Путиловского завода, отставной полковник, сестрорецкий пенсионер (я), сестрорецкий плотник (на костылях, говорит, два года лежал, а вот и сам хожу!), ленинградский рабочий-монтажник...

Кстати, Институт переливания крови рекомендовал обратиться к доктору Слупскому не мне одному.

Всего прошло курс лечения у Николая Евгеньевича около трехсот человек. Скажем осторожнее: все ПОКА без операции.

Возникает вопрос: почему не обходиться (хотя бы условно, «пока») без операции и ходить на своих ногах, со своими артериями, применяя метод лечения Николая Евгеньевича Слупского? Только ли потому, что с одной стороны — Академии, Институты, Доктора и Кандидаты медицинских наук, а с другой — только больница и врач Слупский?

*Арцишевский».*

И это письмо осталось без ответа. А речь идет о трехстах случаях.

И еще письмо, уже автору этих строк. Это письмо не отредактировано, оно такое, как есть, в этом его сила.

«24 ноября 1959 года мой сын заболел остеомиелитом обеих голеней. Три месяца лежал в больнице Раухфуса, где ему были сделаны три операции. После выписки находился дома. Немного ходил, но ежедневно держалась температура от 37° до 38°. В октябре было обострение на правой ноге. Лежал дома под наблюдением врачей. Через некоторое время обострение прошло, и Виктор пошел в школу. В январе месяце 1961 года было новое обострение на обеих голених. Апрель и май лежал в Военно-медицинской академии имени Кирова. После академии был отправлен за город, где все лето лежал с болями в ногах и с температурой. В сентябре месяце 1961 года вновь сильное обострение, во время которого мы его возили для консультации в Костно-туберкулезный институт, где туберкулеза костей не было обнаружено, а диагноз остеомиелита был подтвержден. После этого с сыном поехали к профессору Больницы имени Ленина товарищу Г., который сказал сыну: «Молодой человек, нужно становиться на протезы». От профессора Г. мы сразу же поехали в Военно-медицинскую академию имени Кирова, где нам сказали, что в таких случаях они делают ампутацию, но, учитывая его возраст, предложили ряд трудных операций. Видя сильно ослабленный организм сына, мы отказались от такого предложения, надеясь все же получить лечение с наименьшими затратами здоровья.

После этого сколько в нашей семье еще прибавилось горя и переживаний. И вот неожиданно наши друзья нам сообщили о докторе Слупском Н. Е., которого они видели по телевидению. Я, как мать, страдавшаяся болезнью сына, сразу поехала к доктору Слупскому Н. Е. с просьбой положить сына в больницу на лечение. Последний дал мне согласие, но сказал, что для этого нужно в горздравотделе взять направление. Я обратилась в горздравотдел, где меня гоняли из комнаты в комнату, не давая направления,

мотивируя тем, что доктор Слупский моего сына не вылечит, и наконец меня направили к товарищу Зайцевой Людмиле Николаевне, которая мне также сказала, что доктор Слупский моего сына не вылечит и что я напрасно прошу направление на лечение к нему: лечит он ненаучными методами, и что все ученые против его методов лечения, и тот Павлов, которого показывали по телевидению, по-прежнему болеет, и что, если ему нужно было отнимать одну треть ноги, то сейчас — две трети. На мой вопрос: «Почему же тогда Слупского показывали по телевидению и зачем о нем Юрий Герман писал в «Литературной» и других газетах?» — товарищ Зайцева ответила, что это все приятельские отношения, и ничего больше. В получении направления мне, конечно, было отказано.

Но сын мой был в таком ужасном состоянии, что я, не обращая внимания на все их слова о Слупском, поехала к нему и стала со слезами просить принять моего сына на лечение, на что и получила согласие, хотя Николай Евгеньевич и отметил:

— Опять буду я иметь неприятности. Ну уж ладно!

К Николаю Евгеньевичу мой сын поступил в тяжелом состоянии, его внесли на носилках. У него была высокая температура, плохой аппетит, сильные боли в ногах и совершенно не мог ходить. На лечении в больнице сын находился три месяца, и за это время Николай Евгеньевич сделал чудо с моим сыном: он стал кушать, поправился и начал ходить на своих ногах. Николай Евгеньевич обещает сохранить сыну ноги, обойтись без ампутации, при наличии минимальных домашних условий.

Мне невольно хочется сказать работникам горздравотдела города Ленинграда: вливание в артерии антибиотиков, переливание крови, большое количество витаминов и чистка кости — все сделанное Николаем Евгеньевичем моему сыну — разве ненаучный метод лечения и что это за

ученые, которые против такого метода лечения? Если бы было больше врачей с таким добросовестным знанием и умелым методом лечения, как у Слупского, то больные не страдали бы столько, сколько страдают сейчас.

Хочется сообщить, что для меня была небезынтересна встреча с Павловым, с которым я и Виктор встречались несколько раз, где я увидела, что ему не только не нужно ампутировать две трети ноги, а он совершенно стал здоровым парнем.

Я, как мать, от имени своей семьи выражаю глубокую благодарность дорогому Николаю Евгеньевичу Слупскому, ибо он своим умелым и добросовестным лечением возвращает людям здоровье. Он является спасителем человеческой жизни, он поставил моего сына на ноги.

Я хотя и маленький человек, но прошу передать мою просьбу горздравотделу: создать все условия для работы Николаю Евгеньевичу Слупскому и послать к нему молодых врачей, которые могут получить от него большой, знающий практический опыт, а не травмировать его.

Сын мой Виктор заболел в восьмом классе 167-й школы Смольнинского района, а сейчас учится в десятом. На протяжении этого времени он был окружен большим вниманием со стороны школьных товарищей и учителей. Дома и в больнице его посещали преподаватели и ученики: давали задания и спрашивали пройденный материал. Они всячески старались, чтобы Виктор не чувствовал одиночества, и старались его отвлечь от пессимистических мыслей. Благодаря такому огромному вниманию Виктор, не посещая школы, успешно переходил из класса в класс. Особенно в этом много потрудились преподаватели: бывший классный руководитель Александрова — учительница физики (хотя она сейчас не работает в школе, но я хочу ей сказать большое спасибо); Блок — учительница литературы; Каждан — учитель математики; Бытенская — учительница англий-

ученые, которые против такого метода лечения? Если бы было больше врачей с таким добросовестным знанием и умелым методом лечения, как у Слупского, то больные не страдали бы столько, сколько страдают сейчас.

Хочется сообщить, что для меня была небезынтересна встреча с Павловым, с которым я и Виктор встречались несколько раз, где я увидела, что ему не только не нужно ампутировать две трети ноги, а он совершенно стал здоровым парнем.

Я, как мать, от имени своей семьи выражаю глубокую благодарность дорогому Николаю Евгеньевичу Слупскому, ибо он своим умелым и добросовестным лечением возвращает людям здоровье. Он является спасителем человеческой жизни, он поставил моего сына на ноги.

Я хотя и маленький человек, но прошу передать мою просьбу горздравотделу: создать все условия для работы Николаю Евгеньевичу Слупскому и послать к нему молодых врачей, которые могут получить от него большой, знающий практический опыт, а не травмировать его.

Сын мой Виктор заболел в восьмом классе 167-й школы Смольнинского района, а сейчас учится в десятом. На протяжении этого времени он был окружен большим вниманием со стороны школьных товарищей и учителей. Дома и в больнице его посещали преподаватели и ученики: давали задания и спрашивали пройденный материал. Они всячески старались, чтобы Виктор не чувствовал одиночества, и старались его отвлечь от пессимистических мыслей. Благодаря такому огромному вниманию Виктор, не посещая школы, успешно переходил из класса в класс. Особенно в этом много потрудились преподаватели: бывший классный руководитель Александрова — учительница физики (хотя она сейчас не работает в школе, но я хочу ей сказать большое спасибо); Блок — учительница литературы; Каждан — учитель математики; Бытенская — учительница англий-

ского языка; Георгиевская — учительница истории, ученики: Солодухина Валя, Гладилин Николай, Афанасьев Леонид, Володин Владимир, Стрелец Сергей, Еникеева Валя, а также ряд других преподавателей и учеников, которые принимали участие в оказании помощи Виктору в учебе.

С помощью родительского комитета школы в ноябре месяце 1961 года ему была предоставлена путевка на грязелечение в санаторий «Старая Русса». Хочется сердечно поблагодарить председателя родительского комитета товарища Дмитриеву Александру Михайловну и ее заместителя Неугасову Нину Дмитриевну. Они очень много помогали и помогают нам дома и в обмене жилплощади, ибо это для выздоровления сына имеет очень большое значение.

Весь коллектив школы не только помогал сыну, но и нас, родителей, не оставляют без внимания, зная, что у нас в семье большое горе. В лице директора школы товарища Зубриковой Ольги Ивановны мне хочется сердечно поблагодарить коллектив учителей и учеников десятого класса, а особенно тех товарищей, фамилии которых написаны нами, а также и председателя родительского комитета.

Всем товарищам, которые мною написаны в письме, мне хочется провозгласить о чувствах благодарности, но я не знаю как, так как не нахожу слов, поэтому, дорогой Юрий Павлович, помогите мне в этом.

С уважением к вам, *Эсаулова Мария Семеновна*,  
проживающая в городе Ленинграде, С-36,  
улица Полтавская, дом 5/29, кв. 40».

## НА СЕДЬМОМ ДЕСЯТКЕ

**В** день скромнейшего своего шестидесятилетия Николай Евгеньевич поздравительные депеши и письма получал сотнями — поздравляли люди, обязанные ему всего лишь только жизнью. Поздравил и райздрав. Горздрав об этом шестидесятилетии ничего не знал. А хорошо бы и горздравам помнить юбилей таких людей, как Николай Евгеньевич Слупский.

Впрочем, Николай Евгеньевич не рассердился и даже нисколько не обиделся.

— Ну что особенного? — сказал он с улыбкой. — Как можно нас помнить? Нас ведь тысячи, врачей-солдат!

Весьма характерно был проведен Слупским и самый юбилей: торжественное заседание состоялось в восемь часов *утра*, до пятиминутки, до обходов, назначений и операций. На поздравления Слупский, кроме всего прочего, ответил такими словами:

— В моем лице вы, дорогие друзья, соратники мои и помощники, без которых я бы никому никакой пользы принести не мог, поздравили всех тех, кто именно в это время, как и мы, собрались на пятиминутки в своей больничке, больнице или клинике в огромном нашем Советском Союзе, всех тех медиков, которые, как и мы с вами, стараются и денно и нощно как можно лучше делать свое дело на пользу трудовому народу, всех тех, кто честно, добросовестно и в меру своих сил воюет с болезнями. И так как поздравили вы меня не с тем, что стукнуло мне шестьдесят лет, а с тем, что и я тоже в меру своих сил дело делал, то давайте отметим этот нынешний день тем, что сегодня как можно лучше потрудимся...

Так и сделали.

В этот день Николай Евгеньевич прооперировал четырех больных, долго работал в перевязочной, а одному больному, который пожаловался на то, что лежит уже более полутора месяцев, другие же больные выписались, Николай Евгеньевич сказал:

— Милый ты мой, так разве я виноват в том, что ты себе такую болезнь выбрал? Вот твой сосед выписавшийся — умница: он себе аппендицитик выбрал, предварительно со мной посоветовался, вот и гуляет. Но и ты тоже не огорчайся, мне нынче на седьмой десяток перевалило, я полного ума набрался, взошел в мудрость и, наверное, скоро назначу тебя в Дубки на танцы...

И вечером этим, как обычно, был Николай Евгеньевич в больнице, и после часу ночи его тоже вызвали. Операция была трудная, но прошла успешно. Поздней ночью Николай Евгеньевич разрезал конверт, в котором было письмо от старого друга, врача из Архангельской области:

«Можно тридцать пять лет абсолютно честно делать свое дело,— читал Николай Евгеньевич,— и начальство тебя не вспомнит, а вот ежели на аэроплане или, еще лучше, на вертолете к больному слетаешь, тут тебе почет, уважение и эффектная фотография, где ты вроде бы даже и молодой, и красивый, и этакий, черт возьми, еще даже и шалунишка. Как будто бы, друг мой Николай Евгеньевич, самолет или вертолет, которым снабдила нас Советская власть, менее удобен, чем подвода, да еще запряженная быками, розвальни или полупорка, в которых прошла вся наша жизнь. А у меня к этому набору, как тебе известно, прибавляется еще «корабль пустыни» — верблюд и проклятый ишак, о котором до сих пор не могу вспомнить без ненависти. Важно, брат, другое: таких, как ты, ни один человек дурным словом не вспомнит. Кстати, о словах,— просил тебе передать всякие добрые слова от имени группы моряков мичман Назаров. Повстречались мы тут с ним на

рыбалке. Он со своими матросами угодил под бомбу еще в эпоху блокады Ленинграда. Так вот, все они после твоего вмешательства живы и здоровы. Вспомнил?»

Николай Евгеньевич вспоминал долго, но так и не вспомнил. Потом аккуратно сложил всю сегодняшнюю корреспонденцию, привел в порядок папку с сообщениями, сделанными им на научных конференциях, с докладами и статьями, подивился, что их порядочно, около сотни, положил перед собой чистый лист бумаги, хитро улыбнулся и написал:

«Дорогой дружище, Ленинградская область в моем лице приветствует Архангельскую в твоём. Не имея возможности выразить благодарность всем, поздравившим меня в день моего шестидесятилетия, через печать, выражаю благодарность лично...»

Года два тому назад Николай Евгеньевич сказал:

— Оставили меня главным врачом моей больницы. Полтора миллиона денег дали на всякие достройки и перестройки и оставили. Удивительно в этом смысле мы живем. Правда непременно себя окажет. Не могу же, как говорится, иждивенцем вдруг сделаться. Не могу не работать. Разобрались, все отлично. А только думается, что можно было в свое время и обойтись, чтобы не обижать. Не надо человека обижать, это, разумеется, мораль прописная, но горькие эти минуты трудно, знаете ли, забыть...

От имени тридцати тысяч прооперированных Николаем Евгеньевичем, с дозволения, по их поручению, утверждаем:

*Не надо человека обижать!*

**НАШ ДРУГ —**

**ИВАН**

**БОДУНОВ**



**Повесть-быль**

В наших жилах —  
кровь, а не водица.  
Мы идем  
сквозь револьверный  
лай,  
чтобы,  
умирая,  
воплотиться  
в пароходы,  
в строчки  
и в другие  
долгие дела.

*В. Маяковский*



## 1. ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

**М**не было двадцать три. В этом возрасте многие молодые люди убеждены в том, что накопили изрядный житейский опыт. Не составлял исключения и я. За плечами работа в газетах, две книги, пьеса, — разве не умудренный жизнью человек входил сейчас в управление ленинградской милиции?

Пропуск мне выписали мгновенно: у меня было удостоверение, подписанное редактором газеты «Известия». И предстояло мне написать очерк под названием «Сутки в уголовном розыске». Ничего особенного: я же знал наперед и то, что у плохого человека «бегающий взгляд» и «звериный оскал», а хороший, положительный персонаж смотрит тебе прямо в глаза; что преступные подонки в показаниях путаются и изворачиваются, в то время как честные, золотые советские люди смотрят «открыто»; цвет зрачков у них по преимуществу голубой, зубы у них, разумеется, белые, и на вопросы отвечают они четко и ясно.

Все изложенное, конечно, не было плодом моей выдумки. Так был я воспитан тем, что читал, и это вовсе не удивительно по тем временам. Удивительно, но и печально другое, а именно то, что и по сей день печатаются разные статейки и очерки и даже книги, в которых «положительные» и «отрицательные» разделяются по вышеуказанным признакам.

И вот к начальнику уголовного розыска я явился с багажом сведений и взглядов, легко уместяющимся в понятия: «оскал», «звериный лик», «бегающие», «изворачивается», «низкий лоб», «дегенеративная челюсть», «преступный мир».

Отрекомендовавшись и, разумеется, предъявив свое шикарное удостоверение, которое начальник внимательно прочитал, я огляделся, предполагая увидеть тут незамедлительно либо «зверски расчлененный труп», либо «окровавленный нож», либо, на худой конец, хоть представителя «преступного мира» с «низким лбом», татуировкой и «зверским выражением искаженного ненавистью лица». Надо учесть, что в те годы обо всяких происшествиях писали преимущественно поднаторевшие в этом ремесле еще при царе, старые, дошлые газетчики; недаром в «Красной вечерней газете» попадались заголовки вроде «Бац — и нет старушки!» — про то, как на неизвестную старушку, мирно шедшую по Лиговке, упал кирпич и она скончалась, или «Кровавый шоколад» — про драку двух работниц на конфетной фабрике, или «Рыбки захотелось!» — про семейство, отравившееся испорченной рыбой...

Но никаких ужасов в кабинете начальника, разумеется, я не обнаружил.

Начальник мирно пил жидкий чай с черствой булочкой, покуривал и раздумывал. Потом он неторопливо сказал:

— Направлю-ка я вас к товарищу Бодунову. Иван Васильевич управится.

Слово «управится» я не понял, и оно мне не очень понравилось.

— Это в каком же смысле — управится?

— Вообще — управится, во всяком смысле, — уклонился от прямого ответа начальник. — Вы идите, товарищ корреспондент, вас туда проводят, а я позвоню...

При мне начальник звонить почему-то не хотел. Жевал свою булочку и ждал, покуда я уберусь в седьмую бригаду.

Длинными коридорами и переходами щеголеватый секретарь — адъютант начальника — повел меня к таинственному Бодунову, который должен был со мной «управиться». Тут, в сумерках, насыщенных застарелым табачным дымом, запахом дезинфекции и сырости, бродили и дремали на деревянных скамьях какие-то подозрительные личности с поднятыми воротниками, женщины, преимущественно под вуалями, и, как я успел заметить, довольно много матерей с малолетними детишками...

— Хорошо ли здесь мамаш с ребятишками задерживать? — спросил я моего сопровождающего.

— А здешний контингент детей преимущественно на прокат берет, — сказал мой бодрый спутник. — Девяносто процентов на жалость работает. И даже больше. А если *действительно* мамаша, она постарается ребенка сюда не приносить.

Бодунов встретил меня в дверях своего небольшого кабинета — высокий, очень стройный, с широкими плечами, подтянутый, еще не успевший перестать смеяться, как я правильно догадался, после разговора с начальником. Видимо, корреспондентов тут недолюбливали, впоследствии я это понял очень осязательно.

— Ну так, — деловито и сухо вато сказал Бодунов, быстро пожав мне руку своей сильной, большой и горячей ладонью, — так. С чего начнем? Какие вам нужны кошмарные преступления? На сегодняшний день ничем похвалиться не можем выдающимся по вашей части, а в музее имеется кое-что. Направимся в музей? Или хотите побеседовать с героями будней уголовного розыска? Есть и такие. Рянгин имеется, Берг Эрих, Чирков Николай Иванович — мужик дошлый. У нас все есть...

Даже несмотря на отсутствие житейского опыта, я по-

чувствовал в скороговорке Ивана Васильевича насмешку. Почувствовал остро, как чувствуют в молодости.

— Нет,— не без твердой злобы произнес я,— мне пока просто бы присмотреться. Я постараюсь никому не мешать.

— А вам к какому числу нужно ваш очерк закончить?

— То есть как это к какому?

— Обычно, когда к нам из газеты приходят, то торопятся. Говорят: «Материал намечен в полосу на завтра».

Смотрел он на меня остро, лукаво-насмешливо, но довольно доброжелательно. Должно быть, забавлялся моей обидчивой молодостью. Да и красен я был, наверное, от происходящей беседы.

— На когда ваш материал намечен?

Я ответил, что не тороплюсь, что моя газета серьезная, да и не только в газете дело. Тут я замялся. Говорить о себе как о писателе мне было неловко. Впрочем, тогда я и не думал писать о «сыщиках и ворах».

— А в чем же еще дело? — быстро осведомился Иван Васильевич.

Теперь он буквально сверлил меня своим живым, добродушно-лукавым взглядом.

— Хочу подетальнее ознакомиться, поближе все узнать, пояснее себе представить.

— Соскучитесь! — предупредил Иван Васильевич.

— Разве у вас можно соскучиться?

— Случалось со многими. Впрочем, дело ваше. В нашей бригаде товарищи предупреждены — присутствуйте, вам мешать никто не будет.

Он поднялся — такой ловкий и ладный человек, что невозможно было им не любоваться,— взглянул на часы, поправил ремень на гимнастерке, повернул ключ в сейфе и, не оставив нигде ни одного клочка бумаги, уехал. А я начал «присутствовать»: подсел к Рянгину, который до-

прашивал некоего старика, похожего на Минина с памятника в Москве, про каких-то гусей.

— Битая птица, — диктовал юный Рянгин сам себе, — обнаруженная...

Старик не соглашался:

— Гуси, а не птица! «Птицу» не подпишу!

— А гусь не птица, что ли?

— Не подпишу, и все. Мой верх.

Про гусей было действительно очень скучно. Я подсел к Эриху Карловичу Бергу — высокому, красивому, бледному, в черной сатиновой косоворотке, в накинута на плечи пиджаке. Перед ним курила папиросу сильно накрашенная блондинка, покачивала ногой в лаковой туфельке, плакала быстрыми слезами:

— Вы подвергаете меня клевете, — жалостно говорила она, — не дай боженька попасть к такому куколке, как вы, гражданин начальничек. Какая могла быть стрельба, когда я в их общество и не входила? Больно мне нужны ихние преферансы...

— Не будем придуриваться, Наполеон, — со вздохом сказал Берг, — мы же не в первый раз встречаемся...

Я написал Бергу записку: «Почему — Наполеон?»

Он сказал женщине:

— Вот начальник интересуется, почему вы, гражданка Псюкина, Наполеон?

— Прозвали! — пожалала Псюкина плечами. — С другой стороны, мое фамилие — рвать охота! А на Наполеона, говорят, похожа — не в анфас, а в профиль. Похожа, начальничек?

Она действительно была вылитым Наполеоном с известного барельефа, только без лаврового венка.

— Вот опишет, Наполеон, ваши похождения начальник — некрасиво получится, — посулил Берг. — Рассказали бы все лучше по-честному! Этот товарищ — из газеты!

Псюкина-Наполеон вдруг вдохновилась.

— А и пусть опишет! — заговорила она громко. — Мы, как те чайки — белоснежные птицы, стонем и плачем, плачем и стонем. Что жизнь наша?

За ее спиной распахнулась дверь, вошел Бодунов, в кожаном реглане, веселый, румяный от мороза. Наполеон не слышала, ее охватило вдохновение лжи, она, что называется, зашлась:

— Берутэ Сажают! Не входят в психологию! Ломают жизни! А мы белоснежные птицы-чайки...

Я ничего не понимал, но мне было жалко Псюкину-Наполеона. И бледный, усталый, иронически улыбающийся Берг вызывал чувство раздражения. А за спиной птицы-чайки Псюкиной веселился здоровый, сильный, рослый, уверенный в себе Бодунов.

— Здесь жестокие люди, — трагическим голосом, на нижнем регистре, патетически произносила Наполеон, — жестокие, нечуткие бабашки железные, а не перевоспитатели...

Из глаз Наполеона вдруг хлынули слезы.

Обильным слезам трудно не верить. И по виду моему Бодунов, конечно, понял, что Псюкина-Наполеон тронула мое сердце.

— Ната, ведь не он в вас стрелял, а вы в него, — негромко сказал Иван Васильевич.

Наполеон вздрогнула.

— Уже раскопал, — сказала она, — вот здесь был, а вот вернулся и раскопал. Прямо на три аршина под землю смотрит.

Слезы еще текли по ее густо напудренным щекам, но она уже улыбалась кокетливо и, по ее понятиям, обольстительно.

— Это я пошутила, гражданин начальник, — сказала она мне, — они не слишком жестокие люди, они закон-

ность не нарушают. А что слезы у меня пошли, так это от глубокого раскаяния. Такая охота вырваться из преступного мира.

— Будем писать? — спросил Берг.

— Уже и протокол писать! Я еще и с гражданином Бодуновым не поздоровалась...

Все еще сидя спиной к Ивану Васильевичу, Наполеон напудрилась, покрасила губы, послюнила ресницы и наконец, обернувшись, сказала сюсюкая, как ребенку:

— Ух какие нацальнички холосенькие! Ух какие класавцики! Так бы и скусила без маслица...

— А за что стреляла? — спросил Бодунов.

— За цасики, — все так же сладко пропела Наполеон. — Он все золотые сасики-цасики себе забрал, сеснадцать пар...

— А скупочный пункт он ограбил?

— Это секрет, — подбравшись и блеснув на Бодунова еще недавно масляными глазками, произнесла Наполеон. — Смотря по его поведению...

Бодунов и Берг встретились глазами. Они, конечно, знали много больше того, что могла предположить Наполеон. Но, наверное, было еще рано выкладывать карты на стол.

Или они играли с Наполеоном?

— Я подумаю, — попросила Псюкина. — Ямщик, не гони лошадей, нам некуда больше спешить.

— Спешить некуда, — согласился Иван Васильевич. — Фрумкин умер, он не упал со страху за прилавок, а умер. Пуля пробила сердце.

---

— А мне показалось, что плакала она совершенно искренне, — через час сказал я Бодунову. — И жалко ее было.

— Они заводятся,— задумчиво ответил Иван Васильевич.— Бывает, что и сами себе верят. В нашей работе нужны факты. Точные факты. Хорошие, проверенные, серьезные, деловые. Наполеон — опасная преступница. Крайне опасная. Вообще, советую, всматривайтесь внимательнее. Здесь очень легко ошибиться, а расхлебывать ошибку будете не вы, допустим, совершивший ошибку здесь, а совершенно ни в чем не повинный человек, как старик Фрумкин, которого они убили. А это не первая кровь на Наполеоне.

— Ее уже судили?

— И поверили чистосердечному признанию вины. Она так завелась на суде, что...

Он махнул рукой и сказал то, что я не раз потом слышал от Ивана Васильевича в минуты горькой досады:

— Добрые за чужой счет!

В соседней комнате Берг все еще допрашивал Наполеона. Вид у Эриха был совершенно измученный.

— Вдается в вопросы любви,— пожаловался он Бодунову,— теперь у нее вариант, что она мстила Жоре за измену.

— Он жутко страстный ко всем женщинам,— пояснила Наполеон.— Если моложе семидесяти лет, он пропадает. Разве я не могу внести этот мотив?

Потом мы вчетвером, Бодунов, Берг, Рянгин и я, пошли обедать — «щи флотские, биточки по-казацки». Берг, сидя за столом, засыпал.

— Шестнадцать суток мотался,— сказал Иван Васильевич про своего оперуполномоченного.— И повязал Чижа. Теперь, естественно, носом клюет. Нет, конечно, он спал, но спал не по-настоящему, спал сидя, полулежа, зная, что должен услышать то, что понадобится услышать. А еще, наверное, попадет от жены, она уже мне звонила, сказала: «Все вы, мужчины, друг друга покры-

ваете,— у него вторая семья». Написали бы про нас, чтобы жены не сердились, а то у них теория — «позвонить-то можешь!».

## 2. «ОРЛЫ-СЫЩИКИ»

**Н**е раз впоследствии я замечал, что Бодунов любит на своих «ребят», как называл он работников бригады — совсем молоденьких помощников оперативных уполномоченных, тех, кто чуть постарше, — «оперов», и «стариков» — старших «оперов». «Старикам» было лет по тридцать, не больше, но солидностью и они не отличались: иногда по соседству с кабинетом Ивана Васильевича раздавались тяжелые, грохочущие звуки, напоминавшие топот копыт в деннике, — это бригада упражнялась в различных видах борьбы...

— Разминка! — улыбался Бодунов. — Застоялись! Ох, народец!

И в этом «народец» слышалась мне ничем не прикрытая гордость — прекрасное качество любого начальника, — гордость подчиненными.

Однажды Берг и Коля Бируля притащили в кабинет Бодунова потертый, с кожаными швами, страшной тяжести портплед. Расстегнув ремни, оба сыщика со скупящими лицами, как и положено настоящим, всего повидавшим мужчинам, продемонстрировали начальнику бригады сотни часов, портсигаров, колец, браслетов, царских импералов и полуимпералов, серебряных с золотом шкатулок и подстаканников, ложек, ножей, вилок и прочего ценного товара. Портплед, по словам Берга, «тянул на миллионы».

— Ну уж и на миллионы! — поддразнивающим голосом сказал Бодунов.

— А чего? Тут чистое золото есть, платина...

— Больно вы разбираетесь...

— Так это ж одному человеку не поднять! — тоже обиделся Коля Бируля. — Вы попробуйте!

Бодунов попробовал и — поднял.

— Мало каши ели! — сказал он.

Выяснилось, что каши «оперы» ели действительно мало. Сидели в засаде, потом гонялись за бандой, потом выслеживали портплед, потом охотились за каким-то Устином, а портплед потеряли, и все это, не успевая перекусить. Теперь они страшно хотели есть, но вначале надо было сдать лицу, на это уполномоченному, ценности. Лицо же отсутствовало.

— Мы поедим, — сказал Коля Бируля, — а мешок тут полежит. Можно, товарищ начальник?

Они вышли, не закрыв за собой дверь. И тотчас же из соседней комнаты донесся голос Берга:

— Коля, одолжи два рубля.

— Ты мне с прошлой получки еще пятерку не отдал, — сказал Бируля. — Живешь не по средствам.

— В среду сразу семь отдам. Тебе же выгоднее.

Бодунов слушал, счастливо улыбаясь.

— Не отдашь. Ты и Чиркову должен, и Рянгину. Ты, брат, зашился, и положение твое безвыходное...

— Тогда я буду тебя щекотать! — страшным голосом сказал Берг, и Бируля тотчас же взвизгнул...

В бригаде все знали, что бесстрашный Коля отчаянно боится щекотки.

Бодунов тихонько прихлопнул дверь.

— Вот какие ребята! — сказал Бодунов. — Видали?

Я ничего не понял. Бодунов пояснил: ворованных ценностей в портпледe несметное и несчетное количество. Тем, у кого эти ценности изъяты, только лучше, чтобы

награбленного и наворованного было поменьше. А у ребят туго — до полочки совсем плохо.

И, посмеиваясь, стал рассказывать подряд обо всех: и о Пете Карасеве, и о Яше Лузине, и о Бургасе, и о Силантьеве, и о Жене Осипенко, и о Куликовском, и о Васе Сидорове...

— Тут года два назад большой шум был,— говорил Бодунов, прохаживаясь по своему кабинету.— Бо-о-ольшой. Для вас эти процессы незаметно проходили, а здесь, по нашим будням, круто пришлось, очень круто. Видите ли, с концом нэпа нэпман как таковой вовсе не сдался. Он ушел в подполье и стал взаимозаменяться. «Торговля кожевенными товарами» из Ленинграда юркнула в Харьков и стала там жить да поживать с идеальными документами на имя, допустим, Удодова. А «Торговля строительными материалами» переехала из Харькова в Ленинград и обосновалась здесь тоже с новыми документами, на имя, скажем, Худякова. Эти граждане предполагали использовать новую экономическую обстановку. Люди все свои, рука руку моет, эшелоны в Харьков из Ленинграда, встречные сюда — короче, частная лавочка во всесоюзном масштабе. Ну мы, естественно, крупных нэпманов знали и не по документам, а лично, потому что это все с уголовщиной перепутано. Конечно, для таких исторических преобразований нэпман ничего не жалел, на все шел: и материально, и морально. Главный рычаг — взятка. Ничего, сдюжали. Тогда нэпман пошел стеной на выдвигенца (а у нас в торговлю были направлены представители рабочего класса — выдвигенцы). Тут нэпманы обратились к двум братьям — братишечки Береговые. Чрезвычайно классные бандиты. Сколько они народу побили в первые же дни — не пересказать! Вот тут мои ребята себя и проявили. Четыреста засад в магазинах выдержали. Четыреста! Ведь это не на час, на два, это неде-

лями сидели. Береговые-то как действовали? С наганамн в магазин: «Ложись, выдвиженцы! Считаю до трех! Раз, два, три... А выдвиженец — рабочий товарищ. Он грудью на кассу. Здесь и били. Сколько хороших людей поубивали! И еще интересно, как мои ребята кипели. Каждый выстрел бандитов — по ним лично, понимаете? Гук у нас, старший оперуполномоченный, так он и есть перестал во все. Только воду пил, пока Береговых не повязали. «Я, — говорит, — не могу в таких условиях суп ложкой кушать». А повязали — двое суток спал.

Еще Валевка был такой, охотников убивал — за ружья. Хорошее ружье дорого стоит. Ну, а какой охотник в другом охотнике заподозрит убийцу? Любители природы покурят, поврут друг другу, а Валевка с десяти шагов и влепит жакана. Тут же закопает труп в лесу — нищи потом свищи. Мои ребята и взялись. Охотниками пошли по лесам и полям. А дело, конечно, рискованное. Долго мучились, долго искали...

— А вы сами обычно сидели в кабине? — спросил я.

— По-разному бывало, — ответил Бодунов. — Иногда и сам под охотника кривлялся.

А с Береговым, со старшим, тоже еще деталь: одна засада едва его не взяла — подстрелили, сильно ранили. А он нырнул в этом же доме к частному врачу и сказал ему, что ранен на любовной почве. У врача у этого и отлежался после извлечения пули и перевязки. А доктор-то только наутро узнал, когда Береговой ушел, что прятал бандита-налетчика. Конечно, прибежал каяться, да что с покаяния? Долго еще ловили Берегового.

— Кто же его взял?

— Мы.

— Кто «мы»?

— Да наша же бригада.

Я спросил у Чиркова, кто повязал Береговых.

— Как кто? — удивился Николай Иванович. — Начальник. Едва братишки его не убили — по стволу нагана ударил, наган в воздух выстрелил.

Бодунов гордился своими «орлами-сыщиками», «орлы» гордились начальником бригады. Я слышал такой разговор:

— Гринь, а Гринь, верно, что тебя Бодунов к себе взял?

— Честное пионерское под салютом всех вождей.

— Сам вызвал и забрал?

— Сам.

— С чего ж это?

— Наверное, с того, что в моем лице ты видишь выдающегося грозу жуликов и убийц нашей необъятной Родины!

— Повезло тебе, Гриня.

— Я и сам удивляюсь.

— Ты намекни про меня.

— Не намекну.

— Почему?

— Бесплезно.

— Почему бесполезно?

— Отзывался о тебе, что ты больно много болтаешь. «Звонит, — говорит, — и звонит. Не сыщик, а разговорщик».

— Так и сказал?

— Точно так. Так что ты пересмотри свое отношение к болтовне.

Любили Бодунова самозабвенно.

Рассказывали о нем легенды. В рассказах выдумка перемешивалась с правдой, но сомневаться «орлы-сыщики» не позволяли никому.

— Льва Романовича Шейнина знаете? — спросил меня Берг.

— Знаю.

— Все, что он пишет,— это про Бодунова.

Рянгин сказал:

— Иван Васильевич сам убил Леньку Пантелеева, взял Чугуна, в бою ликвидировал Котика, Барона, Вову-матроса...

Я спросил об этом Ивана Васильевича.

Он весело отмахнулся:

— Врут! Но кое-что и на мою долю пришлось...

Что это «кое-что», я так и не узнал. Бодунов терпеть не мог рассказывать про себя. Но его «орлы» рассказывали подробности. От Берга я услышал:

— Пантелеев носил два пистолета в рукавах. И знал, что наш батя на его следу. А Иван, не будь прост, из карманов реглана, не вынимая пистолета, засадил. Жалел потом пальто очень. Кожа хорошая была, а батя наш — аккуратный старик!

«Старику» в ту пору шел тридцать пятый год.

— Наш Иван Васильевич уважает открытый бой,— не торопясь, рассказывал степенный Рянгин.— Эти засады-шмасады не по его характеру. Да и перевелись нынче крупные хищники. Чугуна не сыщешь. Вот старика бросить бы на американских гангстеров — он бы им дал жизни.

Николай Иванович Чирков, заместитель Бодунова, говорил:

— Иван Васильевич любит хитрые дела. Чтобы подумать, поразмышлять. Чтобы разобраться во всех ходах, перекрыть пути отступления и идти на ликвидацию красиво. Бодуновские дела, как цветочки, изящные. Он, например, считает, что стрельба — лишний фактор, в некоторых случаях безграмотность. Палят, бывает, от страха. Сам, бывает, как скажет: «Спокойненько, ручки кверху», и действительно — спокойненько, никуда не денешься.

Сам Иван Васильевич только улыбался на мои расспросы.

И рассказывал про своих «орлов-сыщиков».

По его словам, лучшей бригады не было ни у кого. Даже знаменитый в те годы Колодей не имел таких «мальчишков».

— Золото! — говорил он, радостно блестя глазами. — Вот Рянгина изучите. Явился ко мне в двадцать восьмом году: возьмите в сыщики. Я выгнал мальчонку: куда мне такой! Кончил экономический институт — пришел опять: возьмите, я бухгалтер-экономист. Сейчас по бухгалтерским комбинациям — крупнее головы нет. Любого эксперта забьет. А оперативник какой! И это при том, что с его способностями он бы главным бухгалтером треста мог бы стать. Оклад — соответственно. Машина. Костюм — шевииот. Галстук — «бабочка». Бефстроганов на ужин. А у меня что? Стихи товарища Маяковского — «Моя милиция меня бережет»?

Про Берга:

— Классный токарь, замечательные руки. Прапрадеда царь Петр привез токарем. Все — потомственные, пролетариат высшей закалки. Мог бы на уникальных станках заработка зарабатывать, однако по комсомольской мобилизации к нам пришел, и через год — через год всего! — вручили мы ему золотое оружие. Занимается, изучает что положено, а если где в городе преступление — бледнеет. Все ему кажется, что перед трудящимися, перед народом он лично виноват, упустил, проглядел, прохлопал. Воспаление совести хроническое...

Про Володю — совсем юного «орла-сыщика»:

— Грузчик он, возчик, на автокачке работает. Вез ночью сельди в бочонках и икру — банки голубые в ящиках. Напали двое — по-старинному, с инструментами, как в песне поется, «не гулял с кистенем». Так эти как раз

с кистенями гуляли. А Володя — сами знаете — с виду ничего особенного. Но богатырь душой. Изловчился, поднявши руки поначалу, обоих сгреб лапщами да и ахнул лбами друг о друга, отбил памороки. Инструмент бандитский — кистени подобрал, а голубчиков братьев-разбойников привязал своей снастью к селедкам и ящикам с икрой, накрыл сверху брезентом, чтобы вид был у автокачки культурный, и к нам сюда, на площадь Урицкого. В три часа ночи доставил. Наши, конечно, дежурящие и оперативники мне позвонили, чтобы увидел я своими глазами картину, достойную кисти художника. Володя же попросился у нас работать — «хоть в ученики, хоть в сторожа для начала». Взял я его. Феноменальный товарищ — и мозгами богатый, и силой, и кротостью. С таким нигде не пропадешь.

Про Чиркова:

— Выдержанный товарищ. Можно положиться при любых обстоятельствах. А у нас — это большое дело. Бывает, оказываешься вдвоем, два человека — и тыл, и фронт, и связь, и командование, и резерв главного командования, и штаб, и арсенал. Станем спина к спине и раздумываем. Впрочем, сейчас времена сравнительно тихие, главное миновало, власть Советская существует, а было... Было, что и вовсе захлебывались от бандитизма. И война, и интервенция, и голод, и холод, и эти твари шуруют. А Чирков вам пусть про свой бриллиант расскажет, хорошее было дело, красивое. Хлебнул тогда наш Николай Иванович. Сейчас смешно, а в ту пору не до смеху было...

Про всю свою бригаду:

— Один к одному народ подобрался. Можно спать спокойно.

Это смешно, этому даже тогда не очень верилось, но это — факт: «крупная дичь» — квалифицированные мошенники, а они в ту пору еще водились, взломщики-про-

фессионалы, старые воры-комбинаторы гордились друг перед другом, что «сидят за Бодуновым».

— Кто тебя брал?

— Папа Ваня.

— Сам лично?

— За ним сижу.

— А что ты такое сделал, что за ним сидишь? Из тебя же песок сыплется. Видали, люди, он за папой Ваней сидит.

Если допрашивал «сам», это было предметом гордости. Берг мне как-то пожаловался:

— Вот, сидит и на меня печально глядит. Желает только самого Ивана Васильевича.

Ворюга-рецидивист, по кличке Муля-офицер, портрет которого в форме краскома долго висел в музее уголовного розыска, вздохнул:

— Хорошему человеку приятно сделать хорошее настроение. Гражданин Бодунов будет мною доволен. А с этими... — Он показал рукой на Берга. — С этими... Они даже не знают, какие у нас есть воспоминания с гражданином Бодуновым.

Бывшая княгиня Голицына, женщина вызывающе, грозно красивая даже тогда, в тюрьме, говорила мне:

— Бодунов — сильная, выдающаяся личность. Он верит в свое дело, в коммунизм. Разумеется, мы с ним не болтали на эти темы, но он — сама убежденность, которой трудно противостоять. Я рассказала ему все и не знаю, как это случилось. И он не повысил на меня голос ни разу, он был безупречно вежлив, даже аристократичен, может быть, изысканно аристократичен. Раздавила меня его улыбка...

Я спросил у Ивана Васильевича, какая это его улыбка «раздавила» княгиню Голицыну.

Он искренне удивился:

— Улыбка?

Потом вспомнил:

— Конечно, смешно. Она продала наш Мраморный дворец американскому гражданину Дугласу Ф. Уортону. За хорошие деньги. Купчая была оформлена по всем правилам, деньги княгиня получила изрядные. А одна фразочка там действительно меня насмешила: «Сия купчая вступает в законную силу не более чем через три дня после падения Советской власти, но однако же не позднее чем через десять лет после ноября 10 дня года 1930». Дуглас этот самый подождал в аккурат до одиннадцатого дня, а там и пошла чесать губерния. С этого вопроса я и стал, наверное, улыбаться.

Бодунов и сейчас, рассказывая мне о проделках княгини, улыбался. Потом сказал с насмешливой уважительностью:

— Способная тетя. Ей бы там, в капиталистическом мире, цены не было.

— Один Мраморный дворец продала или еще что-нибудь? — спросил я.

— Из недвижимости? Да нет, понемножку рассказывает и о других своих махинациях. Грозится даже валюту вернуть. Подождем — увидим. Женщина неглупая, свою выгоду понимает...

Жила бригада Бодунова поразительно дружно. Патетических слов там не произносили, это было бы просто неприлично. Но подолгу простаивали перед планом Ленинграда, как бы разгадывая и упреждая грядущие неприятности. Заседания были у Ивана Васильевича не в чести, разговаривали походя, коротко, густо, «звонить» считалось непристойным, обмениваются адресами — кто куда поехал, и вся недолга. Но кропотливо и подолгу, не жалея времени, обсуждали свершенную по воле обстоятельств или по неопытности самую мельчайшую ошибку. Не

бранились, но исследовали. Назывались эти обсуждения в бригаде «судебно-медицинскими вскрытиями». Последним заключал Иван Васильевич. Это всегда делалось с истинным блеском. Мы слушали его, затаив дыхание. Будничное вдруг превращалось в героическое, героическое — по форме поступка очередного «орла-сыщика» — оборачивалось в глупое фанфаронство, в игру со смертью, в кокетство. Фамилия виновного не называлась: все знали и так. Про допустившего оплошность говорилось «он». Или «этот». Или — самое страшное — «наш вышеуказанный пинкертон». «Вышеуказанного» было нетрудно опознать по пылающим щекам и потупленному взору.

Было еще страшное наказание, формулировалось оно так: «С оперативной работы временно снять».

Это никуда не записывалось. Здесь работали коммунисты. Ошибка в прямом смысле этого слова могла стоить жизни. Наказание определялось не капризом или прихотью начальника, а той его резолюцией, которая вытекала из результатов «вскрытия». Такое решение диктовалось коллективной волей товарищей-коммунистов, формулировал решение самый опытный, самый даровитый, истинно и искренне любимый всеми старший товарищ.

Такого «с оперативной работы временно снятого» я видел как-то в мгновение, когда Иван Васильевич дернул его за нос и сказал:

— Ну, горе-сыщик? Выше голову, хвост трубой!

Жили дружно и будно. Помню, как недоумевал Рянгин:

— И зачем этот хапуга хапает? Ну сколько можно скушать котлет? Четыре раза котлеты. Ну — шпроты. Ну — кисель, компот, блинчики. Ну — выходной костюм, ну — велосипед...

Водку не пили, иногда пили за обедом пиво. Если кто появлялся в новом пиджаке или вдруг строилось пальто —

начинались разговоры о том, что обладатель новой одежды, наверное, женится. Вечно друг друга поддразнивали, «розыгрыши» сменяли друг друга по нескольку раз в день. Иногда в седьмой бодуновской бригаде стоял такой хохот, что буквально дрожали старые стены здания бывшего главного штаба. «Орлы-сыщики» изображали друг друга — беззлобно, необыкновенно наблюдательно, весело, остроумно, с абсолютной точностью. Показывались целые спектакли, и Иван Васильевич, смешливый по натуре, как все добрые люди, буквально, утирал слезы от смеха. Сюжеты представлений были такие:

«А. задержал на толкучке по ошибке не ту скупщицу грабленого, которую следовало, а знаменитую артистку Н. Он объясняет артистке, что она барыга. Артистка объясняет А., кто он такой. Прокурор по надзору беседует с А. о том, как он опозорился. А. идет к артистке домой с извинениями. Артистка выгоняет А. помелом. Горемыка А. докладывает начальнику, как его выгнали».

Другой сюжет нехитрого представления:

«Р. имеет сведения, что в обозе нечистот, вывозимых из поселка такого-то, будет спрятан бидон с золотом. Навивный Р. выспрашивает у «золотовозов», где золото. «Золотовозы» объясняют, что они все везут «золото». И т. д.»

Третий сюжет:

«Н. рассказывает любимой девушке о риске, с которым сопряжена работа в розыске».

В четвертом показывалось, как Екатерина Ивановна Чиркова — супруга замнача Николая Ивановича — бежит по перрону за уходящим поездом, дабы ее Коленька не уехал ловить бандитов в мерзлые февральские болота без валенок. «Стойте, стойте!» — будто бы кричит Екатерина Ивановна вслед поезду и бросает в тамбур сначала один валенок, а в тамбур другого вагона второй. «Ничего, Коленька соберет!»

Чаще всего показывали, как Николай Иванович отправился с Катенькой в ресторан и как Катеньке пришлось вместе с Бодуновым и мужем ловить бандитов. С тех пор будто Екатерина Ивановна от приглашений в рестораны решительно отказывается.

В театр ходили почти всегда все вместе. Это не были официальные культпоходы, просто врозь этим побратимам-сыщикам было неинтересно. Они начинали спорить уже в антрактах, они должны были обсуждать увиденное сразу после спектакля: «дан тип» или «не дан тип», «жизненно это» или «не жизненно», «есть тут для ума и сердца» или «одно только глупое развлечение». Очень любили, чтобы «было для ума и сердца». И ходить с ними в театр — с высокими, статными, чисто выбритыми, умеющими думать и жадно смотреть — было приятно. Иван Васильевич свои мнения по поводу спектаклей или кинокартин высказывать не слишком любил. Посмотрев то, что было ему по душе, он задумывался, в ответ на решительные слова своей бригады посмеивался, иногда говорил:

— Здорово все всё понимать стали! С грамотой еще не управился, а писателя судит. Ты попробуй сам напиши. Справишься?

Помню, как поразил всех «Егор Булычов». И вдруг оказалось, что Бодунов таких видел, знал, разговаривал с ними по долгу службы. Тогда, после спектакля, мы стояли над неподвижной Фонтанкой и долго слушали про Булычовых в жизни.

Как-то раз Бодунов грустно сказал:

— Все-таки мало еще показывают замечательных людей. Таких, чтобы с их личности брать пример. Ведь замечательных очень много, только они, как правило, незаметные. Сейчас Советская власть правильно делает, что товарищей писателей нацеливает на хорошее. Подумайте

сами, ведь раньше только про всякие преступления газеты, например, писали. И чем преступление гаже, подлее, отвратительнее, тем ему и места больше. Для чего так делали?

Поражало меня и радовало то, как много и страстно разговаривали в седьмой бригаде о природе подвига, о наших героях, о Щорсе, Тухачевском, Буденном, Чапаеве, о силе человеческого духа, о великих путешественниках и первооткрывателях, о докторах, ставивших опыты на себе, о летчиках, рискующих жизнью...

Люди, для которых риск жизнью стал будничной профессией, люди, раненные и контуженные в мирное время, люди, каждая ночь которых и даже каждый час мог стать их последним часом, говорили о подвиге, как о чем-то совершенно непостижимом и недостижимом, словно были они счетоводами, или бухгалтерами, или фармацевтами, или садоводами. И горе было тому, кто хоть на одно мгновение изменял этой традиции. Про него тотчас же начинали говорить так:

— А это наш знаменитый Петя. Не слышали? Ну как же — Петя Котяшкин. О Пинкертоне слышали? О Шерлоке Холмсе слышали? А о Пете не слышали?

Читали в бригаде много, но бестолково. Из-за прочитанного ругались с криками, я же нес ответственность за все, даже за издания 1860 года. Отбиваться от атак бывало затруднительно.

— Почему считается зазорным писать интересно?

— Почему Порфирий у Достоевского умный, а современные следователи выводятся дураками?

— Почему в заграничной печати восхваляются их классовые сыщики, а у нас это называется «детектив на низком уровне»?

— За что обругали Жарова?

— Вот мы видели «Дни Турбиных», там правдиво по-

казано белое офицерство, и пьеса за Советскую власть, а ее ругают. Как так?

— Почему про Чумандрину написано, что он Бальзак?

— Почему в кино все хорошие люди — красавцы, а плохие — некрасивые. Это же примитив. Упрощение жизни.

— Почему Алексея Толстого ругают? Он замечательный писатель!

Они все хотели знать, эти «орлы-сыщики». И про пролетарских писателей и про попутчиков. И про критический реализм и про романтизм. И про Маяковского, из-за которого тоже ссорились, и про Жарова с Уткиным, и про Алтаузена, и про Безыменского. Хотели, но не успевали.

Под Петрозаводском появилась банда — ликвидация срочно, ответственный — Бодунов, выезд. В Павловске убит кассир — выезд, ответственный Бодунов. Во время пожара на Петроградской похищен сейф — ответственный — Бодунов.

Иван Васильевич садился в машину рядом с шофером, протягивал руку к поводку завывающей сирены, — в Павловск! Чирков садился в другую — рука на поводке, — Петроградская сторона, Малый Гейслеровский. Петрозаводская группа мчалась на вокзал своим ходом — до поезда считанные минуты. А дежурный принимал новые телефонограммы... Ответственный — Бодунов, Бодунов, Бодунов.

Иван Васильевич звонил из Павловска:

— Как, Сережа?

Сережа докладывал.

Впрочем, были дни и тихие. Случались!

### 3. ПРОФЕССОР КРЕЖЕМЕЦКИЙ

**Б**одунов позвонил мне домой:

— Приходите сейчас, у меня в кабинете любопытный тип. Он вам расскажет о себе. Преимущественно правду.

Я явился тотчас же. В клеенчатом кресле против письменного стола сидел джентльмен за шестьдесят лет, солидной, привлекательной и располагающей к себе наружности. У него была бородка а-ля Немирович-Данченко, которую он иногда как бы ласкал тыльной стороной ладони с золотым перстнем на пальце, на ногах поблескивали лаковые туфли, костюм из серого твида был великолепно сшит. В кабинете непривычно пахло дорогим одеколоном. Я взглянул на почтеннейшего профессора и подался назад.

— Послушайте, — сказал я Бергу, перехватив его в коридоре. — Вы просто приволокли сюда какого-то профессора?

— Это который в кабинете у папы Вани?

— Ну да. Мне неловко туда войти. Будет же страшный скандал.

— Почему скандал?

— Он выглядит знаменитостью...

— Так это же его специальность — выглядеть. А вообще не расстраивайтесь. Он гонял майдан еще при царе Горохе...

— Что значит «гонял майдан?»

— Крал в поездах. А теперь согрешил похуже. Можете с ним говорить откровенно — не обидится. В тюрьме его зовут дядя Гутя или Профессор. А кличек у него штук семь: Студент, Акула, Крежемецкий, Тихоня, Добратский... Больше я не помню...

Берг убежал. Я ничего не понял и довольно робко вернулся в кабинет, где полировал ногти Профессор-Студент-Акула.

— Присаживайтесь! — пригласил меня дядя Гутя.

Из-под очков он быстро и оценивающе оглядел меня. «Беспокойная ласковость взгляда», почему-то вспомнил я, но тут же накрепко забыл, опять угнетенный мыслью, что все это ошибка.

Но ошибки не было.

— Я бывший поездной вор, мой дорогой друг, — сказал Профессор церемонно. — Бывший. В нашу славную эпоху индустриализации вспоминаю свою старую специальность с омерзением. Бр-р! Низость и гадость. Вы любите Цвейга?

Растерянным голосом я проямлил, что конечно, почему бы и нет.

— Он удивительно тонко, я бы выразился трепетно и терпко, понимает нюансы души, — продолжал Профессор, — понимает тайное тайных трепета сердец...

«Жулик!» — твердо решил я.

— Моя биография проста, — услышал я. — Но в простоте сложна. Вот этот тайный зов, зов, мастерски схваченный пером Цвейга, зов к приключениям, к туманностям, к странствиям...

«При чем здесь Цвейг?» — уныло подумал я.

А Профессор вдруг быстро и деловито осведомился:

— Вы не знаете, почему я понадобился гражданину Бодунову? Что вдруг стряслось?

Я, разумеется, ничего не знал, а Профессор заговорил опять:

— Короче, я учился в институте инженеров путей сообщения. Учился, молодой человек, плохо. Кутил. Донон, Медведь, Палкин, литературные вечера, о, скетинг-ринг, головокружение от поэзии Бальмонта, вот это певуче-шепелящее:

Тише, тише совлекайте с древних идолов одежды,  
Слишком долго мы молились, не забудьте прошлый свет...

И вдова Клико.

— Вы влюбились во вдову? — показал я свою темноту и полную необразованность.

— Вдова Клико — марка шампанского, — отдельно произнес Профессор. — В мое время это знали даже воры, не то что писатели. Но не суть важно. Короче, мой молодой друг, меня выгнали из института за громкое поведение и тихие успехи. У папахена было именье в Курской губернии. Этакий «Вишневый сад». Уходящее дворянство. На последние деньги я купил первый класс до станции Львов 1-й. Купе на двоих; на мне полупогончики, я несчастен, что ждет меня от папахена? Великий бог, упреки! От муттер? Господи, мигрени! И жениться на приданом? Какая мука, какое страдание! Мой визави в купе — помещик, помню даже фамилию, — несчастный порядочный человек, получивший десять тысяч в банке для уплаты за рощу. Березовую рощу! Мы пили с ним за молодость, за идеалы, за идеалистов, за студенчество (конечно, он тоже студент в прошлом). И пели «Гаудеамус игитур», потом «Во поле березонька», потом «Быстры, как волны...» Вино, водки, коньяки. Коньяк сразил бедняжечку. А я вышел с чемоданчиком крокодиловой кожи, в котором было десять тысяч рублей имперIALами, крахмальные сорочки, британские принадлежности и две пары исподнего, на станции Клин. Это было первого марта десятого года. Так скончался Боря Добрынин и родился новый человек...

Профессор замолчал и задумался в картинной позе, приложив ладонь к высокому, красивому, с залысынами, профессорскому лбу.

— Но когда же вы стали Профессором? — осведомился я.

— Еще нескоро. Труды и дни, дни и труды.

— Вы продолжали... вашу деятельность... в этом роде?.. — промямлил я. — Так сказать, в смысле... майдана?

Слово «вор» я не мог выговорить.

— Продолжал и развивал. Мне сделали заграничный паспорт. До Ривьеры в поезде «люкс» всего семьдесят часов от Петербурга. Стоимость проезда в рублях до Ментоны — сто сорок девять. Развинченной походкой усталого денди я входил в международный вагон и еще до границы брал не менее чем на десять тысяч. Драгоценности-то, эти обломки разбитого вдребезги, всегда возили в чемоданах.

— Но вас... задерживали?

— Четвертной в лапу — и все в порядке. Царская Россия же насквозь была прожжена язвой взятки.

— А потом?

— Империалистическая бойня. Я штабс-капитан. Правая рука на черной перевязи. На груди полный бант ордена святого Георгия. Золотое оружие. Генералы вставали, когда я появлялся...

Глаза Профессора ярко загорелись.

— А одному рамолику я приказал освободить место. И он — повиновался. Таков уж я был, да, молодой человек, со мной шутки в сторону. Пardon! Господин генерал! Попрошу! Мерси! Еще миль pardon!

Я оробел: передо мной действительно был блестящий и наглый, уверенный в своей безнаказанности старый офицерюга.

— Генералы же всегда ездили, и на фронт и с фронта, не без барахлишка, как сейчас выражаются. Да и монету держали в чемоданах. Конечно, работать было нелегко: нервы, нервы и еще раз нервы. Но семья — ничего не попишешь; в ту пору я уже женился на очаровательной женщине, правда не совсем комильфо, но и я ведь не был тем, за кого себя выдавал. Она полюбила мечту, туманность,

призрак, героя с полным бантом Георгия, а не афериста. Но потом, позже, я сознался.

— А после революции? — спросил я. — Ведь штабс-капитан не действовал?

Профессор кивнул:

— Вы поразительно догадливы, молодой человек. Мне пришлось совершенно перевооружиться, паровой флот пришел на смену парусному, согласитесь, не падать же до того, чтобы воровать в третьем классе то, что плохо лежит. Я засел за книги. Идея элементарная и блестящая: знать в каждой науке один раздел, но так, чтобы чертям тошно стало. И быть для геолога педиатром, для педиатра — астрономом, для астронома — знатоком Эллады, для энергетика — историком литературы. В литературе я был, например, эрудитом по части «Энеиды». Основное — не напороться в купе на человека, который может тебя разоблачить, то есть узнать профессию попутчика. А дальше все просто — до скуки. Особенно крупные удачи у меня связаны с волжскими пароходами. Там однажды мне удалось сложить в свой чемодан вещички двух крупных нэпманов и профессора-геолога, а потом их троих благородно ссудить тремя червонцами на дорогу из их же денег.

— И вас не поймали?

— Гражданин Бодунов догадался. Вещи я возвратил, все, кроме денег. Я сказал трогательную речь о родимых пятнах капитализма, обе заседательницы плакали. Мне удалось даже ввернуть что-то насчет моих приреволюционных заслуг. Шесть месяцев.

— А Бодунов?

— Он в суде не присутствовал. Гражданин Бодунов лично мне сказал, что не переносит, когда я кривляюсь. Он выразился, что ему стыдно за человечество. Но уже семь лет, как я навсегда порвал со своим прошлым...

Профессор замолчал.

— Как же... вы порвали? Как это случилось?

«Беспокойная ласковость взгляда» опять мелькнула и погасла за стеклами очков.

— Меня потряс один... Вам, мой друг, только правду! Артист П. Вот кто переплавил меня в горниле своей души.

Артист П. действительно был прекрасным человеком, и я сразу же поверил, что дядя Гутя «переплавлен».

— Нелегко об этом говорить, — прикладывая платок и внезапно пролившимся из-под очков слезам, сказал Профессор. — Нелегко!

«Заводится»? — усомнился я, но тут же обругал себя за цинизм, дядя Гутя был явно взволнован.

— На вокзале я пошел за П. Конечно, не за ним лично, а за его чемоданом. П. в то время для меня не существовал. Существовал чемодан, тяжеленный. Погубил меня именно этот чемодан. Я попытался его вытащить из купе, когда мой визави обедал в вагоне-ресторане. Не осилил, вывихнул ногу. А в чемодане было не золотишко, а только книги. Артист ехал в санаторий и решил там как следует почитать, нагнать упущенное. Книги, пижама, туфли для пляжа и паршивый летний костюмчик.

Именующий себя Профессором вновь замолчал.

— Ну? — спросил я.

— Перед артистом я чистосердечно раскаялся и принес ему мои извинения. Конечно, рассказал историю своей жизни весьма живописно. Он не высадил меня по дороге, не сдал милиции. Он довез меня до самого Симферополя. Там, в вокзале, мы с ним пообедали. И он сказал мне: «Вот что, старый негодяй. В нашу лучезарную эпоху вы не имеете права на существование. Ваша грязная биография кончена. Кто не трудится, тот не ест. Я устрою вас в театр, вы будете трудовым человеком, вы будете уча-

стником великих свершений и созиданий. Небольшая зарплата, скромная жизнь — ну что вам нужно в вашем возрасте?» Так сказал мне этот замечательный человек, а потом они все вместе пришли сюда к большому начальству. Они дали за меня клятву. Конечно, я плакал, как ребенок... В бутафорском цехе для меня нашлась должность...

Профессор хрустнул длинными, красивыми пальцами. Если бы этот человек не был вором, про него можно было бы сказать, что пальцы у него музыканта.

Досказав, он опять задумался. Его история меня тронула. Я вышел. Вскоре приехал Иван Васильевич.

— Ну? — спросил он меня.

— Пожалуй, об этом имеет смысл написать, — сказал я. — Человек стал на ноги.

— Вы думаете? — спросил Бодунов.

— А что?

— Пойдемте, вы увидите конец истории.

Когда мы вошли в бодуновский кабинет, Профессор вскочил с несвойственной его возрасту резвостью. Я заметил даже движение — он приготовился к тому, что Иван Васильевич поздоровается с ним за руку, но Бодунов руки не подал. Это не ускользнуло и от внимания Профессора. Крежемецкий как-то сразу увял.

— Зачем вы ездили в Вологду? — садясь за свой стол, спросил Бодунов.

— К супруге, — последовал быстрый ответ.

— Ваша супруга проживает в Архангельске. Вы вышли из поезда в Вологде? Так? Отвечайте сразу, Крежемецкий, быстро.

Я взглянул на Профессора. Он был белее бумаги. Ничего не осталось от снисходительного величия, с которым он недавно повествовал о своей жизни.

— Ну?

Крежемецкий прошептал что-то неслышное. Он разваливался на глазах. Голос больше не повиновался ему.

Что-то негромко стукнуло: это Бодунов положил на стекло письменного стола золотую запонку — скачущий конь с развевающейся гривой.

— Эта была в шестом купе.

— Но я-то здесь при чем? — прошелестел Профессор.

— А вторая у вас дома в коробочке от монпасье. Так?

И тихим, брезгливым голосом Бодунов заговорил:

— Вы действительно отправились к супруге. Но не выдержали искушения и купили себе мягкий билет, что вам не по средствам. Купили, чтобы «подработать». Наверное, вы думали: «в последний раз». Инженер Воловик, с которым вы ехали, клюнул на профессора. Вы узнали, что в своем чемодане он везет кроме своих подъемных изрядную сумму денег. Разумеется, вы его подпоили. Воловик — астматик, его тяжелое дыхание вы приняли за глубокий сон. И полезли в его чемодан. Он вскочил, вы ударили его пепельницей по голове, а потом потерявшего сознание Воловика вы задушили. Поезд уже подходил к Вологде. Так это было?

Профессор беззвучно шевелил губами. Пожалуй, он не понимал того, что говорил размеренно и неторопливо Бодунов. Но я понимал все.

— В Вологде вы попросили проводника запереть купе, дабы никто не разбудил вашего больного попутчика. Деньги задушенного вами человека были в ваших карманах. Свой пустой чемодан вы оставили на месте преступления. Но вы оставили и эту запонку — она вывалилась из манжеты во время драки. Потерю вы заметили, потому что, вернувшись, вы все перевернули дома в поисках пропавшей запонки. А парную к ней вы не выбросили, потому что она золотая. Золото для вас дороже жизни. Вы не

смогли ее выбросить... У вас не хватило на это сил. Так, Крежемецкий?

Крежемецкий кивнул, как марионетка.

— Расстрел? — едва слышно спросил он.

— Возможно, — безжалостно ответил Бодунов.

— Он сам... дрался...

— Да, конечно, — согласился Бодунов, — а вы действовали только в целях самообороны.

Профессора увели.

— Как вы могли узнать запонку, — спросил я. — Ведь все началось с запонки?

— Запомнились лошадки, — устало ответил Иван Васильевич.

Смутная тень пробежала по его лицу, он поднялся и, широко распахнув форточку, долго дышал холодным зимним воздухом. Потом заговорил отрывисто, зло, жестко:

— Когда артисты пришли ко мне, я дал им от ворот поворот. Не поддался на душещипательное обращение старого негодяя в святые. Я всегда понимал, что он плохой человек. Артисты обиделись на меня, зашумели даже и пошли выше. И вяли. Хорошо быть добрым, хорошо, приятно, весело. У инженера Воловика осталось двое детей, жена, мамаша и неоконченное изобретение. Полезное изобретение. Эх, товарищи дорогие, я бы и сам был добрым: занятие приятнее, чем с начальством не соглашаться и выглядеть этаким бюрократам и перестраховщиком. Да что поделаешь, когда эта доброта за чужой счет? Сын Воловика сказал мне: «Как вы можете допускать, чтобы убивали таких людей, как папа!»

Когда я выходил из кабинета, Бодунов стоял перед планом Ленинграда, хмурил темные брови, жевал мундштук погасшей папиросы. И я вдруг подумал: «Это его город. Он отвечает за этот город. Как это бесконечно трудно, наверное».

#### 4. В ОТСУТСТВИЕ НАЧАЛЬНИКА

**В**сякие интересные истории про Бодунова я узнавал преимущественно в дни его отсутствия. О себе Иван Васильевич говорить избегал, говорил больше о своих «ребятах», но так как главной движущей силой в бригаде был именно он, то рассказы получались куцые — без главного действующего лица, без героя, «рассказы вообще». Когда Бодунов уезжал, бригада рассказывала мне его дела.

Старый коммунист, человек острого и насмешливого склада ума, наборщик в прошлом, носивший нынче два ромба, Петр Прокофьевич Громов сказал как-то с грустью:

— Оно, конечно, так, работаем дружными коллективами, помогает общественность, широкие слои трудящихся, но и в нашем деле есть люди талантливые. Скрипач — еще не значит талант. Это еще только профессия. Специальность. Даже композитор — еще не значит талантливый. И композитор может сочинять музыку далеко не талантливо. Так вот, это я к тому, что Бодунов наш — талантливый человек. Конечно, законность, факты, точность, но и наука наша криминалистика в руках бездарного человека вовсе даже не наука. Ошибку на ошибке дает, хоть очень они обижаются, криминалисты, и всячески в свою химию верят. Химия химией, а человековедение человековедением. Здесь особый талант нужен, большой талант. Вы когда-либо примечали, что Бодунову легко рассказывать? Он замечательный слушатель. Вот, бывает, знаете, делишься с ним по-товарищески, он только выслушает, а тебе и легче. Обратите внимание, как он с подследственными беседует иногда. Конечно, положено по разным сторонам стола сидеть — начальник тут, подследственный

тут; а еще есть такие научные фарты, что стул с подследственным аж на середину кабинета выставят: гляди, дескать, чувствуй, какой ты ничтожный передо мной, огромным начальником, человечиска. Насекомое! А я возвышаюсь в порядке и благополучии за своим письменным столом. Это, заметьте, редко случается с Бодуновым. Обычно он беседует. На диванчике, бывает, посиживают да чай попивают. Приезжал тут один — ножками в сапожках затопал. Иван дал ему от ворот поворот. Талант Ивана в том, что он умеет с людьми говорить, из преступника вытаскивает все то, что осталось в нем человеческого, и на этих человеческих струнах как хочет, так и играет. Еще заметьте: он никогда никаких ложных обещаний не дает. Он всегда заявляет: «Судить тебя буду не я, а наш советский суд. Он и даст, что заслужил. А мы с тобой совместно выясняем правду».

— Разве он говорит на «ты» с подследственными? — осведомился я.

— Бывает, — сказал Громов. — В нарушение всех правил. Но это только тогда, когда перед ним человек в несчастье, в беде. Это «ты» — помощь. Поддержка. На такое «ты» не каждый способен. Это и есть талант. Конечно, сухарь и бюрократ придерутся, дурак тоже, иногда и не дурак, как говорится, засбоит, но никому столько люди сами не рассказывают, сколько Бодунову. Он слушает не по казенной надобности, он — лицо всегда глубоко заинтересованное и не из тех, кто твердит, как попка: «Это к делу не относится». Ему главное, чтобы человек открыл душу, полностью, без заслонок, тогда он разберется.

Я спросил Громова, открываются ли Бодунову подлинные бандиты, убийцы, такие, которые знают: ничем не поможешь — от расстрела не уйти.

— Полностью, — с усмешкой ответил Петр Прокофье-

вич. — Абсолютно открываются. Про братьев Береговых — налетчиков слышал?

— Слышал.

— Старший-то, который Бодунова чуть не убил, именно ему, а не кому другому, рассказал, как эспманы сыграли на его любви. Уговорили эту, допустим, Р. — так ее назовем, она и ныне здравствует и не знает, кто был ее возлюбленный, — уговорили и подкупили, дабы она «полюбила» старшего Берегового. С этого и началось. Вот в какие марионетки играли. А в этих венах, бывает-случается, кровь кипит, «страсти роковые». Не зная подробностей, не разберешься. Береговой «работал» на своих хозяев — Р. встречалась с ним, бастовал — Р. исчезала.

— В чем же секрет этого бодуновского таланта? — спросил я.

— Талант — сам по себе секрет, — ответил Громов. — Но если разобраться, то тут самое существенное еще и в том, что Иван наш верит в свое дело, в его необходимость, партийность, честность. Он никогда душой не кривит. Если поступает, то поступает так, а не иначе потому, что абсолютно убежден: только так, и точка. Вы ведь и биографию Бодунова учтите: отца-бедняка в восемнадцатом убили, дом сожгли дотла. Что при этом юноша в девятнадцать лет чувствует? А на деревне-то еще кулачье командует. Правду не отыскать. Вот и привел в свои девятнадцать в Петербург к Дзержинскому убийц. И остался в ВЧК работать. С юности понимал: бандитизм может захлестнуть революцию. Между прочим, были периоды в этом смысле грозные...

Николай Иванович рассказывал, что учился Бодунов в начале революции еще у старых полицейских сыщиков. Учился основам ремесла. И запоминал кое-какие фамилии. Так, запомнил он фамилию крупнейшего в царской России медвежатника — взломщика сейфов — Тихоми-

рова. Этот старый преступник, откупившись в свое время от царского правосудия, построил себе в Петрограде заводик под названием «Завод художественного литья». Был у него, у Тихомирова, что называется, свой почерк. Этот тихомировский почерк и опознал Бодунов в двадцать восьмом году, когда из «Мосторга» на Невском, неподалеку от Елисеевского магазина, был вынесен чемодан золотых вещей и иных изрядных ценностей. Вместе с нынешним оперуполномоченным бригады Васей Сидоровым Бодунов осмотрел стенку цветочного магазина, из которого был сделан пролом в ювелирный, и вспомнил Тихомирова. Все было в точности — только старик работал этим способом.

Поехали к Тихомирову, доживавшему «на покое». Советская власть освободила старика от забот по собственному заводу.

— Ваша работа? — спросил Бодунов.

— Нет, — твердо ответил старик.

— Ваша. Стенка просверлена по-вашему, сейф вскрыт килчницей, по-вашему.

Тихомиров был польщен.

— Видишь, старуха, — сказал он жене, — десять лет прошло, как я свое прошлое бросил, а еще помнят! И долго помнить будут мою руку.

И выяснилось, что старик сам «Мосторг» не брал, но теоретическую беседу имел с неким бывшим казачьим есаулом из станицы Цимлянской. Кажется, фамилия его — Валуйсков...

Фамилии посыпались из старика, когда Бодунов, кое-что сопоставив, назвал грабителем единственного сына Тихомирова, назвал вдруг, по наитию, нечаянно вспомнив сведения десятилетней давности, — тогда у фабриканта был двенадцатилетний парень.

Иван Васильевич угадал. Старик учил сына своему

ремеслу, но с ним и целую банду. Золото нашли на станции Кикерино. Николай Иванович Чирков с понятыми считал и составлял опись. В это мгновение в избу ввалился поп с кадилом: по Кикерину ходил крестный ход. Глаза у попа полезли из орбит: Тихомиров-то был здесь церковным старостой.

— Так-то, батюшка, — сказал Бодунов, — нехорошо!

— Да уж чего хорошего! — помахивая кадилом, ответил поп. — Ну, отправились дальше!

Иван Иванович Красношеев, начальник милиции, рассказал:

— Иван Бодунов долгое время ловил одного жулика. Большой вор, классный, не мелочь, ничего нельзя сказать. Охаивать не стану. И по ювелирным магазинам баловался парень, даже скифское золото наметил из Эрмитажа забрать. Главное горе — одиночка. Ни с кем водку не хлещет, никогда по ресторанам не болтается, снимает комнату у старушки в неизвестном районе, пьет какао, кушает домашние обеды, читает книги, ходит в кино и в театры, хорошо одевается, духи — высшая марка, папиросы — самые дорогие. Это все, конечно, потом выяснилось. Но только повяжи такого. Он на «дело» идет раз в год. Ему хорошо: он свое будущее дело «разрабатывает» двенадцать месяцев — сделает, и тихо. Крови, конечно, ничьей не проливает, но государственную собственность присваивает, и в каких масштабах! Иван Бодунов, наш друг, даже с лица спадать стал. Однажды был такой случай: гонял жулика Бодунов полночи по крышам Апраксина двора. Что делать-то, оттуда по телефону не позвонишь! Упустил. Назовем мы этого вора пока понарошке Жаров. Он и нынче жив. Почему понарошке — дальше будет ясно. Короче, взял его Иван Бодунов в одна тысяча девятьсот тридцатом году, в январе. В Эрмитаже и взял, подробности не расскажу: многие выдающиеся ученые Эрмитажа по-

казали себя величайшими шляпами нашей эпохи. Купил их Жаров своей начитанностью в вопросах искусства, а выдал себя за красного командира — краскома. Ну, известно, умилилась интеллигенция: какие у нас краскомы! Все было на мази, даже банка с хлороформом в кармане у Жарова, для его покровителя — профессора и доктора наук. Однако же наш Иван и тут профилактировал преступление. Привел Жарова своим ходом через площадь, к нам. Красивый парень, холеный, кроме как ругательств — ничего не говорит. А дело-то пахнет керосином, ничего другого, как расстрел, человека не ждет. Не знаю уж, какие ключи Иван Бодунов к этому Жарову подобрал, какие они там чай возбраняемые распивали, но только Жаров ему открылся. Все рассказал. И поехал Бодунов в Одессу, выяснить факты биографии, невеселые, надо сказать, факты. Все подтвердилось. Году этак в двадцатом умерли у Жарова в одночасье оба родителя. Жил мальчик один в коммунальной квартире, как мы выражаемся, ходил в школу. Постепенно все проел, что было, вплоть до тахты. В школе успехами интересовались, а что кушает — не до того было. А мальчонка-то и вовсе оголодал. И, оголодав предельно, стянул на кухне две серебряные ложечки. Буквально тут же он был пойман, схвачен за руку, мальчонка не слишком старался украсть незаметно, он просто взял ложки и сунул в карман, ведомый голодом, который плохой советчик. И поднялись вопли: «Вскормили вора!», «Мы к нему, как к родному...», «Среди бела дня...»

Страшна квартира, набитая бешеными собственниками. Ни один голос не раздался в защиту голодного ребенка, и здесь, как и в школе, никто не подумал, на что и как жил мальчишка, его схватили и поволокли к «начальнику» в милицию. Ну, а тому что? Факт есть факт! Протокол составлен. Парнишка ничего не отрицает. И ввергли его в камеру. Времена были крутые. Одесса-мама славилась раз-

бойничками всех мастей и калибров. Жаров попал в камеру именно к таким бандитам — безжалостным и потерявшим всякий человеческий облик. Мальчишка ревел, когда за ним захлопнулась железная дверь. Ревел и мешал бандитам играть в карты. Их чуткий слух отвлекали его рыдания и вопли. И надзиратель мешал картежникам: он заглядывал в волчок на рыдающего мальчишку.

Ему велели замолчать. Он завопил еще пуще.

Тогда ему залепили затрещину. Мальчишка зубами впился обидчику в руку. И они все — бандиты народ дружный, особенно если это ничего не стоит, — все вместе, все четверо учинили над Жаровым такую расправу, что его унесли в больницу избитого, как били когда-то конокрадов. Это был не ребенок, а котлета.

Из больницы же вышел не мальчик, а звереныш. Звереныш этот сначала нырнул в беспризорничество, где ему не понравилось. И тогда он стал «одиноким волком» — это слова из его показаний. Не было для юноши ни бога, ни черта, ни Советской власти, ни правды — ничего решительно. Он желал жить сытно, в тепле и довольстве. Сделал себе талантливо документы, не подкопаешься, сам про них выразился, что «лучше, чем настоящие, для себя же старался». Выше доложено, что готовился он к своим «операциям» по году — не менее. Украденное в Ленинграде продавал, например, в Ашхабаде, да и то не ранее чем через полгода после «дела». Ненавидел все и всех. Читал книги по криминалистике, читал речи судебных ораторов, приключениями и сыщиками не интересовался нисколько. Одесский милиционер вкупе с четырьмя давно расстрелянными бандитами выковали врага Советской власти.

Все то, что Иван Бодунов узнал от Жарова в своем кабинете, оказалось правдой. И тут наш Иван Васильевич

заявил, что поедет в Москву отбивать Жарова от «вышки». Доводы свои он изложил так:

«Мы — милиция. В Одессе был тоже милиционер. Он, одесский болван и негодяй, дискредитировал нашу милицию. Мое личное дело — честь этой милиции в глазах Жарова восстановить и преступника вернуть в наше советское общество. Жаров — человек одаренный и сильный, мы за него несем ответственность».

И поехал Бодунов по большому начальству. Явился, говорят, к самому Максиму Горькому. Рассказал суть дела. Алексей Максимович спросил: «Но вы его ловили?» — «Так точно, ловил, много лет». — «И поймали?» — «Заключен под стражу». — «Не виноват?» — «Виноваты мы, милиция».

Отсидел Жаров в общей сложности два года и три месяца. Впоследствии побеседовал с Горьким. И направился от нас некто Жаров учеником токаря на завод имени Карла Маркса, где в ближайшее время и влюбился в хорошую девушку Люсю. Комнатку Иван Бодунов тоже раздобыл молодоженам — бывшую людскую в четыре метра. Ну, а Жаров не из тех, кто на малом мирятся. Ему догнать ведь надо многие годы потерянной жизни. Стал он не только токарному делу учиться, но и вообще пошел шагать. А трудненько! Денег-то мало! Не привык жаться. Рассказывал Ивану Васильевичу:

«Люся ребенка носит, а я ей не могу модельные туфли купить. Был случай — лет тому пять, — отцепил я на станции Любань вагон обуви. А тут одна пара. Входите в положение?»

Бодунов, конечно, входил, но что толку?

Сейчас, по прошествии времени, вдруг открылись в «одиноком волке» необыкновенные способности к наукам. Да надо еще сказать, что и воля у него редкостная. Занимается для себя беспощадно, да еще с субботы на вос-

кресенье с артелью грузит в порту, подрабатывает на семью. Родил сына, назвал Иваном, не без намека на Бодунова. Обучается еще и заочно. Вот так наш товарищ Бодунов вернул человеку его Советскую власть, а человек, как думается, — время еще покажет — недюжинный. Сейчас почти что цехом командует, квартиру получил из двух комнат, и никто не знает, каков таков наш Жаров в недалеком прошлом...

Красношеев вздохнул и спросил у меня:

— А сколько таких Жаровых у наших Иванов? Не знаете?

Я, разумеется, не знал. Ответил сам Иван Ионович:

— Много. Очень много.

## 5. САША СВИСТОК И РАЗНЫЕ ДРУГИЕ

**Д**верь отворилась почему-то совершенно бесшумно, и я увидел странную картину: на кургузом клеенчатом диванчике сидел грязный оборвыш и плакал, охая и хлюпая носом, а возле оборвыша стоял Иван Васильевич и большой, сильной рукой гладил сальные, спекшиеся волосы парня, приговаривая ласково и дружелюбно:

— Вот сейчас, Александр, напьемся мы с тобой чаю, покушаем бутербродов с колбасой, смотаешься ты в баню, а вечером займемся твоими делами как надо. Да не реви, словно девочка. Ты же рабочий класс, краса и гордость, мало ли чего в жизни случается...

— Обидно, — сквозь слезы, давясь и кашляя, сказал парень. — Из князи да в грязи...

— Будешь из грязи в князи. Мы же при Советской власти, Саша, проживаем. А ты припомни, дорогой това-

рыц, из последнего отребья, из ворья в квалифицированного слесаря — это не рывок?

— Рывок! — кивнул Саша.

— От водки и марафета в чистое общежитие, за книгу — это как?

Чтобы не вышло, будто подслушиваю, я кашлянул.

— Обидели человека, сволочи, — сказал Бодунов, — а он — обиделся. Вы заходите, познакомьтесь, некто Саша Рыбников, в далеком прошлом классный вор по кличке Свисток. Так вот, товарищ Рыбников за руку поймал одного фрукта, который зарывал в шлак, чтобы потом вынести с завода, кусок приводного ремня. А тот, с больной головы на здоровую (вор смекалистый), свалил все на Александра; покопались в биографии и вспомнили слово «рецидив». В отделение милиции, а тамошние пир... пин... — Бодунову всегда с трудом давалось слово «пинкер-тон», — в общем, тамошние сыщики Александра доставили к себе. Ну, конечно, к этому времени наш Сашенька уже напился водки, это же закон: если несправедливость — напиться. Так, Саша?

И Иван Васильевич снова потрепал Сашку по голове.

— На врача хочу учиться, — угрюмо пробормотал Свисток. — Купил себе «Курс частной хирургии» — про-рабатываю.

— Самоучкой?

— Ага, — ответил Александр. — Делов-то!

Из столовой принесли чай и огромную тарелку бутербродов с колбасой. Бодуновпил вприкуску, Свисток съел 12 (двенадцать) штук бутербродов. Чай Александр запил двумя стаканами воды из графина.

— На баню есть?

— Нету, — ответил Свисток. — Совсем мальчик пустой.

— Три рубля. Отдашь. Я не барон.

— А было — не отдавал? — обиженно буркнул Але-

ксандр.— Или кто из нас вам не отдавал? Тогда поделитесь воспоминаниями — бывает, старые дружки, встречаемся.

— Для чего встречи?

— Поговорить — кого расстреляли, кто где сидит, кто на светлую дорогу жизни вышел.

— А разве выходят? — улыбаясь глазами, спросил Бодунов.

— Ваши — выходят.

— Кто да кто?

— А вы не знаете будто... Например, Мишка Удувленник...

— По фамилии!

— Лобазников. Он вешаться хотел, вы его разубедили. Кочегаром на «Ветеране». Опять же Дзюба, украинец, тот женился, ребенка заимел. Но это еще что, — оживился и заулыбался Свисток, — это мелкие семечки. А вот Зуб — это да!

— Какой Зуб? Зубков Юра?

— Ага. В цирке работает. Воздушный номер. Называется «Два Франсуа два». И еще «Франсуа и Франсуаза». Я как узнал, так прямо помешался, честное-пречестное. Ходил беспрестанно в Шапито. Ну кто мог подумать? Нормально, мальчишек по форточкам лазил, нам дорогу делал, а теперь про него в газетах пишут: «Блестящий фейерверк мастерства». Вы бы посмотрели, гражданин начальник; я скажу — он вам билеты пришлет. Даже расспрашивал про вас. Вообще, к вам у него отношение хорошее.

— Да что ты! — улыбнулся Бодунов. — Простил, значит, меня за то, что он воровал, а мы его ловили...

— Все пошучиваете! — сказал Свисток.

Едва он ушел, Бодунов принялся звонить по телефонам. На душе у меня было светло, хотелось кому-нибудь

пересказать то, что я только что видел и слышал, хотелось рассказать, какое лицо было у Бодунова, как славно он посмеивался, как блестели его глаза, когда Свисток хвастался ему своими товарищами, «вступившими на светлую дорогу жизни».

Я постучал к знаменитому Колодею — грозе бандитов, начальнику первой бригады. Тот отлеживался на диване после сердечного приступа, в кабинете пахло медикаментами.

— Закурить нету? — спросил он своим характерным, насмешливым тенором. — Тут санчасть у меня изъела все курево.

Колодей посмеивался над всем: даже над собственным смертельным недугом. Я начал ему рассказывать то, что переполняло меня, и вдруг испугался, что он посмеется надо мной. Но он вдруг сказал с гордостью:

— У меня тоже есть такие. Двое даже в армии служат, честь по чести. Послушайте, а вы знаете, за что у Ивана орден Красного Знамени?

— За Кронштадт?

— Это ясно. А как он его получал?

Откуда мне было знать, как получал орден Бодунов.

Колодей жадно и аппетитно раскурил еще папиросу и велел:

— Только ему — ни-ни!

— Конечно.

— Вот вручает Михаил Иванович нашему Ивану орден, а тот не берет. «Не могу, — говорит, — взять, я, — говорит, — писал об этом, но меня все-таки наградили. Я, — говорит, — Михаил Иванович, когда врывался в ворота крепости, был до того испуган, что хотел убежать. У меня сложилось намерение задать деру, но нечаянно я вбежал именно в ворота. И тогда я об этом нашему командиру заявил. И здесь повторяю!» А Калинин ему: «Если бы, — го-

ворит, — моя воля, я бы тебе за твою правду еще дал награду. Носи на здоровье и никогда не снимай, попадешься без ордена — накажем!»

— Это точно? — осведомился я.

— Проверьте у Калинина, — хихикнул Колодей.

Забрав у меня последние папиросы, Колодей спрятал их в сейф — от медиков-сыщиков и лег вздремнуть. Иван Васильевич встретил меня невеселым взглядом, таким, что я даже спросил:

— Что случилось?

— Доклад надо делать товарищам женщинам восьмого марта.

— Ну и что?

— Не подниму. Для меня нет хуже — доклады делать.

— Подберете литературу...

— Зачем же рассказывать то, что всем известно? Это же стыдно.

Он все еще пытался соединиться с кем-то по телефону. Потом подумал и, пробормотав: «Авось большевистский бог не выдаст», назвал в трубку номер.

— Сергей Миронович, — сказал он подтянутым военным голосом. — Докладывает Бодунов, из уголовного розыска. Разрешите две минуты... Лично? Сейчас? Слушаюсь...

Положил трубку, усмехнулся и сказал:

— Он такой. Не на той неделе, а сейчас. Ждите!

Натянул реглан и уехал. В соседней комнате Берг опрашивал старуху, которая написала жалобы в несколько инстанций на ту тему, что у нее украли шесть говорящих попугаев и никто не обращает на ее горе внимания. В другом, затененном углу комнаты сидел здоровенный парень в ватнике и чем-то шелестел.

Я взял газету и сел за стол Рянгина.

— Вкусно-то! — сказал здоровяк. — Ах, хорошо, ах, люблю...

Я посмотрел на него: он отрывал от листа бумаги кусочки и жевал их.

— Мои попугаи записаны в книгу Мараджера, — трещала старуха, — их употребляли на засъемки в кино. Моего Киви нарисовал художник Ясенский-Худилевич, его замечательные литографии...

— А я Бобик, — сказал здоровяк. — Меня засадили в тюрьму, а я психованный.

Он вдруг подошел ко мне и велел:

— Почешите Бобику животик! Гражданин сурьезный, чайничек-начальничек. Заблошал Бобик! Гр-р-р, вау-з-з... — непохоже зарычал он. — Укушу чайничка!

Мне стало жутковато.

— Берут несчастного инвалида психической травмы, — опять заныл здоровяк, и я увидел, что его лицо вовсе не толстое, а опухшее, что глаза у него больные, что заключен в тюрьму больной человек.

— Бумажечки хочешь пожевать?

Я выскочил в коридор. Навстречу шел веселый, всем довольный Бодунов.

— Там сумасшедший, — сказал я, — собакой лает. Ест бумагу. Заблошал, хочет, чтобы почесали ему живот... Разве можно держать в тюрьме сумасшедших?

Когда мы вошли, старуха изображала крик своего главного попугая, а сумасшедший, сев на пол, чесался, как собака.

— Муля! — сказал ему Бодунов. — Ну как же тебе не совестно?

Муля вскочил, вытянулся по стойке «смирно», сказал задушевым басом:

— Приветствую вас, гражданин начальник. Нет, я ничего такого... Развлекался помалости. Они молоденькие, — он кивнул на меня, — глядят, пугаются. Дай, думаю, поиграю. Ну как ваша-то жизнь проходит, как здоровычко?

— Работаем, ловим, вас, жуликов, помаленьку...

— Да, с нами нервы нужны и нервы...

В своем кабинете Бодунов сказал:

— Доложил про это отношение к таким ребятам, как Рыбников, товарищу Кирову, прямо скажу, не удержался, все выложил. Под стенограмму.

Густой румянец залил его крепко выбритые щеки. С веселым гневом он добавил:

— Звонят сейчас телефоны по нашему городу, ох звонят. Это его артподготовка. Не любит Сергей Миронович, чтобы человека обидели! Не переносит.

Зазвонил телефон, Бодунов взял трубку, сказал, подмигнув мне:

— Нашелся, товарищ Кузьмиченко? А я тебе третий день названиваю, никак не соединиться. Дел у тебя, у голубчика, много? Ну, конечно, сочувствую, директор завода. А ничего особенного. Ага. Рыбников Александр. Подмахнул, не читая? Между прочим, ты не обижайся, но в восемнадцатом, когда я еще в бандотделе ВЧК работал, мы одного такого «не читающего» расстреляли. Вот именно...

Он вдруг вспыхнул и закричал:

— В шею из партии! В толчки! Вон! Мы годы тратим, чтобы человека вытащить, на путь поставить, мы за него рискуем, мучаемся, ночи не спим, а такие чинуши, не читая... Нет, я еще и на активе выступлю, у меня, Кузьмиченко, хватка мертвая. Откуда? Я доложил лично.

Вскоре появился Свисток — отмытый, томный, важный. Бодунов сказал ему спокойно и уверенно:

— Езжай, Саша, в свое общежитие.

— Пустят?

— Сказано — езжай. Завтра выйдешь на работу.

— А пропуск в завод...

— Пропуск будет.

— А...

— Ни пуха ни пера, Саша...

— Но ведь, гражданин начальник...

— Я тебе не начальник. Я тебе Иван Васильевич. Завтра же и аванс получишь, не забудь три рубля... А директора увидишь — Кузьмиченко Степана Данилыча, — привет ему от меня, теплый привет, так и скажи. Теплый...

Рыбников ушел, опять зазвонил телефон.

— Сегодня же выеду, — сказал он в трубку. — На Мурманск в одиннадцать, по-моему.

Хитрая улыбка появилась на его лице.

— Будет сделано, — сказал он, сияя. — Обязательно. Нет, зачем же, если это Ложечкин, я его живым привезу.

Все еще чему-то радуясь, он сказал:

— Недели на две, не меньше, бандитов ловить.

И не выдержал — проговорился:

— Доклад-то не я буду делать.

— Как так?

— Очень просто! Не прошел их номер. Слышали, как повезло? Бандитов поеду ловить. Там все тихо-мирно, а тут пей воду из графина, проси продлить регламент. Нет, это не по моей части...

## 6. ЖИЗНЬ — ОНА СЛОЖНАЯ!

**Р**аз в две, в три недели совершалось убийство. Преступник стрелял своей жертве в затылок, потом снимал шубу, костюм, забирал бумажник, часы, иногда тело закапывал сам же убийца.

По Ленинграду пошли зловещие слухи, количество убитых преувеличивалось в сотни раз, шепотом рассказывали сначала о банде, потом о бандах, наконец о целом

отряде грабителей под командованием какого-то преступника по кличке Чума.

Уголовный розыск лихорадило, люди не спали; невыспавшихся, издерганных, не успевших даже попить чаю, их созывали на внеочередные совещания, где такое же замученное и издерганное начальство предлагало уже принятые меры к исполнению и исполненное — к неукоснительному руководству.

В эти трудные времена приехал в Ленинград работать некто Т. Я не называю его фамилию, потому что погиб он смертью солдата в дни Великой Отечественной войны и, быть может, этим, не зависящим, впрочем, от него обстоятельством хоть отчасти смыл позор, который заклеил имя Т., — заклеил многими его предыдущими делами.

Рыжий, энергичный, размашистый, умеющий элегантно прихвастнуть и своими заслугами и заслугами дальних, но известных родственников, Т. через несколько дней после своего первого появления в розыске взял таинственного убийцу и даже продемонстрировал его, маленького, дрожащего, низколобого, длиннорукого дегенерата, успевшего сознаться в своих страшных преступлениях. Да, он стрелял, раздевал, продавал, закапывал, конечно, он все подтверждает, так именно и было.

В эту пору ко мне уже претерпелись в уголовном розыске. Я был то ниспосланное богом или чертом наказание, бороться с которым было бессмысленно. Мне никто ничего не показывал, мне никогда ничего не демонстрировали. Если я присутствовал, меня не замечали. Мне это было, впрочем, удобно, хоть и несколько унижительно. Мне дозволялось сосуществовать с ними, но не на равных. Например, они обменивались мнениями, я же, как существо низшего порядка, должен был помалкивать, потому что если я вдруг заговаривал, то на меня смотрели с изумлением, словно хотели сказать:

- Смотри-ка!
- Провещился!
- А наш-то, тоже...

Когда Т. показал мне убийцу, я пришел к Бодунову и с интонацией, которую и по сей день не могу вспомнить без острого чувства ненависти к себе, произнес:

- А Т. его посадил! Изобличил и посадил!
- Кого?
- Которого вы ищете.
- Разве?

— А вы не знаете? Он уже и сознался во всем. Я сам с ним говорил. Лоб вот такой, сам вот этакий, смотреть и то страшно.

— Скажите, пожалуйста! — удивился Бодунов.

— Разве вы не верите?

— В нашем деле на «верите — не верите» далеко не уедешь.

— А Т. говорит: интуиция. Он еще говорит...

— Говорит Т. красиво! — сказал Бодунов.

И нельзя было понять, что кроется за этим «красиво».

В этот день произошло еще одно убийство. Было ясно, что действовал тот же преступник, которого Т. «повязал» и который сейчас сидел «за ним» в камере шестнадцать тюрьмы предварительного заключения. А это было по меньшей мере странно. Т. объяснил мне, что его подследственный, разумеется, действовал не один — это мстят за его арест.

— Скажите, пожалуйста! — опять подивился Бодунов моему рассказу.

За эти дни Иван Васильевич осунулся, в бригаде почти не бывал. А если сидел у себя за столом, то вместе с Чирковым вычерчивал какие-то схемы. И вновь вся седьмая бригада разъезжалась по разным направлениям, по паркам и заиндевелым пригородам Ленинграда, по полустая-

кам и дачным местностям, по рынкам и толкучкам, по пивным и портерным, по чайным и буфетам.

— Бросьте, Иван Васильевич,— как-то сказал Т. Бодунову.— Все же ясно. Убийство на Пороховых было слепой и последней мезтью.

Бодунов яростно взглянул в веселое, розовое, самодовольное лицо Т. своими измученными, ввалившимися глазами.

— Я не дам осудить невинного! — сказал он ровным голосом.— Преступление не будет раскрыто и преступник останется на свободе, если позволить вершить дела по-вашему.

Они стояли друг против друга в кабинете Бодунова — оба статные, сильные, крупные, оба с виду бесстрашные.

— Палки! — с невыразимым презрением произнес Иван Васильевич.

Т. ушел, хлопнув дверью.

«Палками» оказались значки, которыми отмечались в сводках раскрытые преступления.

Вновь в парке в Удельном грянул выстрел.

А вечером в кабинете Бодунова сидел, вольно развалившись, белозубый красавец, нагло и весело рассматривал Ивана Васильевича ярко-синими, невинными глазами, поигрывал мускулами одной руки под тонким сукном пиджака, спрашивал со смешком:

— Значит, берете безрукого рабочего человека, любящего мужа, отца маленького ребенка, берете паропроводчика, имя которого не сходит с Доски почета, берете...

Я не верил сам себе: Бодунов допустил такую ужасную ошибку? Ведь видно же, что это отличный парень, добряк, ничего не боящийся...

Что-то глухо стукнуло: это был хромированный наган, который Иван Васильевич положил на стол. Через несколько минут привезли хорошенькую, маленькую жен-

пину — это была жена убийцы, которая заманивала жертвы в парки, назначая смертникам-донжуанам свидания. Муж появлялся в наиболее безлюдном месте и стрелял. Жена быстро толкала жертву вперед, чтобы кровью не залило шубу, костюм, пальто...

— Продала? — яростно спросил положительный герой.

— Спокойненько! — велел Бодунов.

Он уже давно и твердо знал, мой Иван Васильевич, что убийца стрелял из левой руки. Он знал, кто продавал вещи убитых. И еще он знал непоколебимо: тот, кто сознался, — больной, неполноценный человек. Железная воля Т. заставила, принудила больного «сознаться» во всем том, о чем он даже понятия не имел. А месть — жалкая выдумка.

Лабуткин — так звали убийцу — методично и спокойно рассказал о всех своих преступлениях. Днем позже он показывал куда зарывал не найденные тела. Синеглазое, белозубое чудовище, оборотень и по сей день стоит перед моими глазами.

— Но ведь тот-то сознался, — сказал я тогда Бодунову.

— Если бы вам обещали жизнь за то, что вы сознаетесь в убийстве одиннадцати человек, да если бы еще ко всему тому у вас обнаружили часы и костюм одного из убитых, да если бы за вами числились годы психиатрической клиники...

— Но он же знал, что его расстреляют за это?

— Этот человек не отвечал за свои действия. Есть заключение экспертизы. И он видел заключение.

— Но как же вы отыскивали Лабуткина?

— Старались мои ребята, — устало сказал Бодунов, — очень старались.

И, словно вколачивая в меня фамилии работников своей бригады, Иван Васильевич стал называть их, не торопясь, каждого, всех:

— Петя Карасев — тот совсем замучился; Рянгип Миша, Бирюля наш, и так в чем душа держится; Яша Лузин (вы, кстати, мало с ним разговариваете, а человек он выдающийся). Бургас еще работал, Леня Соболев, Осипенко Женя (тоже очень интересный работник). А Гук сколько сделал? А Чирков Коля? Екатерина Ивановна уже по два раза на день звонит: «Мой Коля еще живой?» Сдержанная женщина...

---

Надо думать, что именно в эти дни красавец Т., с его сверкающей улыбкой сверхположительного героя, с его раскатистым смехом и картинностью поз и речей, окончательно возненавидел полную свою противоположность — Ивана Васильевича.

В ту пору Т. часто зазывал меня в свой роскошный, не в пример бодуновскому, кабинет. В часы досуга Т., тоже не в пример всем прочим сыщикам, на работе переодевался и тогда являл собою крайне странное зрелище: в шелковой вышитой косоворотке, в шароварах из бархата с напуском, в остроносых сафьяновых туфлях, надушенный, он напевал обрывки арий, загадочно посмеивался, изрекал какие-то странные, двусмысленные истины. Друзья мои — сыщики, посмеиваясь, рассказывали, что дома у Т. развешено немыслимое оружие, будто бы им самим отобранное у каких-то небывалых бандитов, рассказывали, что Т. — врун и авантюрист, но больше молча пожимали плечами и посмеивались.

Позже я услышал фразу Колодея:

— Если это все правда, ему нужно при жизни поставить памятник, а если он врет, расстрелять сегодня, сейчас...

## 7. ДНИ НАШЕЙ ЖИЗНИ

**Н**аступила еще одна зима, и вдруг — я обнаружил это неожиданно — мы все стали своими. Седьмая бригада, с ее длинными рабочими трудными буднями и редкими праздниками, как бы признала меня полноправным товарищем. Случилось это так: однажды, очень морозным вечером, часов в восемь, я вошел к своим новым друзьям и сразу почувствовал, что готовится операция. Люди разговаривали, как перед боем, — чуть повышенно, чуть слишком бодро, чуть более остро, чем обычно.

— Едете? — спросил я Берга, чистившего маузер.

— Надо быть, едем, — неопределенно ответил Эрих.

Здесь определенно мог сказать только Бодунов. А в его отсутствие — Николай Иванович. Может быть, они собирались утаить от меня операцию, я уже давно унылым голосом просился поехать с ними, а они почему-то не брали.

— Возьмите с собой! — попросился я у Рянгина, который обувался в бурки.

— Я же не начальник, — сказал Рянгин.

— Идите к папе Ване, — посоветовал Берг.

Бодунов и Чирков, выслушав меня, переглянулись.

— Убьют его, а потом с нас спрос, — сказал Бодунов.

— Обязательно спросят, — согласился Николай Иванович.

— Так уж непременно и убьют! — неуверенно произнес я.

Бодунов вздохнул:

— Бывает — убивают.

Чирков тоже вздохнул:

— Банда трудная, нешуточная...

— И замерзнет он, — сказал Бодунов. — Ишь при-

оделся — полуботиночки, пальтецо коротенькое, кепочка. А на улице градусов двадцать жмет.

— К тридцати! — сказал Чирков.

— Товарищи,— заныл я,— но ведь в конце-то концов должен журналист видеть своими глазами...

И я произнес речь. Интонации ее были преимущественно жалостные. И в некотором смысле — угрожающие. Я дал понять, что если так пойдет дальше, то у меня не будет иного выхода, нежели переметнуться к Колодею. Там у меня тоже есть друзья. И не перестраховщики. Свою речь я закончил категорическим требованием — взять меня не завтра, не когда-нибудь, а нынче.

— Не возьмем! — сказал Бодунов.

— Пожалуй, не надо брать! — подтвердил Чирков.

— Да почему же? — заорал я.

— Он уже не наш! Он колодеевский! — сказал Бодунов.

В общем, они меня разыгрывали: я уже был свой — меня можно было разыгрывать.

Когда мы вышли на площадь Урицкого, под ложечкой у меня засосало: кроме «орлов-сыщиков» в двух оперативных машинах на операцию ехали еще два автокара с курсантами из школы милиции. В автокарах были пулеметы.

— Кого же это... будем... вы будете брать? — робко осведомился я в машине у Бодунова.

— Угол гуляет возле Красного кабачка, на Петергофской дороге,— сказал Иван Васильевич.— И всех дружков созвал.

Насчет Угла я был наслышан: мурашки побежали по моей спине. Но обратного хода не было. И, словно читая мои мысли, Иван Васильевич осведомился:

— Может, высадить? А то поздно будет...

— Я не мальчик! — отрезал я.

Завыла сирена — регулировщики давали проезд «орлам-сыщикам». Прохожие оглядывались — «милиция, оперативники, наши незаметные герои». Я волею судеб тоже был героем. Я мчался под вой сирены в черной оперативной машине, и, угревшись, слева и справа от меня уже дремали Берг и Рянгин. Маузер Эриха — его «золотое оружие» — врезался мне в бок.

«Батюшки, а у меня и пистолета не имеется, — канцелярскими словами подумал я. — Прихлопнут, как мышонка!»

Но говорить про оружие было стыдно.

Когда выехали на Петергофское шоссе, огромная луна засияла во всем своем великолепии. Ветер пощелкивал в слюдяных окошках, морозная пыль холодила щеки, уши, губы. А Рянгин и Берг сладко спали в своих подбитых мехом казенных регланах, в бурках, в теплых шапках. Подремывал спереди и Бодунов.

Я же внезапно услышал мощные и печальные ритмы поповского траурного марша. Это меня хоронят. «Безвременно. От руки бандита... Встретил грудью... Удар ножа...» И разумеется, «группа товарищей» или даже поименно.

Было сладко и грустно, возвышенно и страшно.

Старый, постройки еще XVIII века, помещичий дом, в котором гуляли бандиты, стоял в полусотне метров от дороги. Освещены были только несколько окон во втором этаже; первый казался нежилым.

Бодунов послал одну группу курсантов к заливу, чтобы бандиты Угла не ушли в Финляндию, другую — в снежный кустарник за домом. Мы же, восемь оперативников и в их числе «некто я», гуськом, прячась в тени деревьев, отправились к зданию, из которого доносились звуки баяна и грохот: наверное, там танцевали. Я казался себе в эти минуты посторонним. Это был не я. Это был — он. И его —

вели. Зачем? У всех в руках пистолеты, а у меня что? Кто этот штатский, в кепочке, кто он?

Ходьба по глубокому снегу быстро согрела меня.

— Берг — под это окно, — шепотом командовал Бодунов. — Рянгин — под это, к углу. Гук — за угол. А вы вот сюда — к этому окну...

Проваливаясь по колону, я подошел к дому и уставился на темные заиндевелые стекла. Берг был метрах в пяти от меня. Все стихло. На сияющем лунном свете я знаками спросил у Берга, что мне делать, если «оно» выпрыгнет из окна.

Эрих показал пистолет.

Я беспомощно развел руками, что должно было показать отсутствие у меня оружия.

Тогда Берг, скроив зверскую гримасу, показал мне, как я должен задушить бандита. На ярком лунном свете Эрих в своем реглане и шапке казался огромным, даже тень он отбрасывал титаническую. А моя тень напоминала удилице.

Внезапно звуки музыки наверху смолкли, их словно отрезало. И тотчас же раздался выстрел. Это Бодунов там, по своей манере, крикнул: «Ручки, ручки вверх», или: «Ложись», или: «Спокойненько».

От страшного напряжения и, главное, неумения, как поступать в таких случаях, я слегка, для плотности, раскорячился, присел на корточки и вытаращился на «свое» окно, более готовясь доблестно погибнуть, нежели осилить бандита с ножом и пистолетом.

Но все было тихо.

В людей Бодунов стрелял, как мне рассказывали, только когда стреляли в него. Сейчас он, вероятно, выстрелил в потолок, для острастки, чтобы уложить бандитов на пол. Они и лежали как паиньки, а я торчал тут, стуча

зубами от зверского мороза, а может быть, и не только от мороза.

— Ведут, голубчиков! — сказал озябшим голосом Берг.

Это было как во сне, наверное, не меньше чем через час после выстрела. Я, как говорится, уже и себя не помнил от холода.

— Заколели? — сочувственно спросил Рянгин.

Бандиты шли медленно, держа руки высоко над головами. Их было девять человек — вся полностью девятка Угла, девятка, которую ловили в Харькове и Одессе, во Владивостоке и Баку, в Тбилиси и Перми. Сзади шел Иван Васильевич, сосал леденец.

— Пообедать даже не успел с этим детским садом, — сказал он мне сердито, — а у них на столе гуси жареные непочатые...

Женщин — бандитских подружек — вел Володя. Лицо у него было оскорбленное: тоже, нашли дело для заслуженного товарища. Подружки кудахтали, как курицы, по их словам, они ни в чем не были виноваты, просто «приглашенные на танцы».

По дороге — к тропочке задом — фырча подошли две тюремные машины. Прибежали курсанты — веселые, довольные, счастливые: как же, они повязали самого Угла! Растирая уши ладонями, выбивая дробь остроносыми туфлями, крихтя от мороза, я втиснулся между Эрихом и Рянгиным в замороженную машину и бодрым голосом спросил у Бодунова, сколько времени продолжалась вся операция.

— По хронометражу в десять минут уложились, вернее, в одиннадцать.

И спросил в свою очередь, повернувшись ко мне с переднего сидения:

— А как у вас? Все нормально было? Тихо обошлось? Странное клохтанье послышалось мне со стороны

Берга. И Рянгин издал какой-то звук, покашлял или чихнул — я не разобрал.

— Обошлось, — ответил я. — А разве...

— Все могло быть, — угощая меня леденцом из коробки, сказал Иван Васильевич. — Бандиты — народ неожиданный...

«Хорошенькое дело! — горько подумал я. — Все могло быть, а он даже про пистолет не побеспокоился. Везли бы сейчас не меня, а то, что называется «тело». Тоже орлысыщики!»

Но именно после этой истории ко мне в бригаде резко и в мою пользу изменилось отношение. Тогда я это лишь почувствовал. А понял много позже. Понял уже в годы Великой Отечественной войны.

---

Летом сорок третьего года я на тяжелом бомбардировщике, пилотируемом Ильей Павловичем Мазуруком, прилетел с Северного флота в Москву. И, любуясь столицей, не повидав еще никого из друзей, на Петровке, неподалеку от Мосторга, встретил Ивана Васильевича, с которым мы не виделись лет пять. Я был флотский, капитан, если не хлебнувший войны полной мерой, то, во всяком случае, военный; Бодунов же был совершенно штатский человек, в штатском костюме, в рубашке без галстука, загорелый, спокойный, только сильно и круто поседевший с тех дней, когда мы виделись в последний раз.

Он мне обрадовался, я ему, разумеется, тоже. Мы обнялись, поцеловались. Он поинтересовался — откуда я, я спросил — откуда он.

— А из тыла, — посмеиваясь, ответил Иван Васильевич, — наше дело, милицейское, — порядочек чтобы был. Давайте рассказывайте, как в морях-океанах воюете...

С легким чувством превосходства над тыловиком Бодуновым я воодушевленно принялся рассказывать.

— Живых фрицев видели? — спросил меня Иван Васильевич.

— Пленных, конечно! — сказал я. — И разговаривал с ними.

— Ну и как? — лукаво осведомился он.

Весь этот вечер я пробыл у Ивана Васильевича — рассказывал. Он внимательно и добродушно слушал. Пришли еще штатские товарищи, на столе появилась нехитрая снедь того времени, у меня с собой была водка — называлась она ШЗ, по фамилии изобретателя этого отвратительного пойла, «шеремет-шереметовская зараза» — так именовался коричневый, препротивный на вкус напиток. У штатских напитки были получше.

Я рассказывал. И другие штатские слушали меня внимательно. Все это были здоровые, еще молодые, полные сил люди, и я вдруг сердито подумал, что не слишком ли много еще у нас этаких забронированных военнообязанных штатских.

— А ШЗ ваше немецкий солдатский ром напоминает, — сказал вдруг Бодунов. — Тоже табуретовка.

Другие штатские подтвердили схожесть обоих табуретовок.

— А где же вы немецкий ром пили? — спросил я. — Как он в тыл попал?

— Тыл бывает разный, — с веселой усмешкой ответил мне Бодунов. — Есть наш, а есть и фашистский, на временно оккупированных территориях.

Я похолодел. Так вот кому я имел наглость рассказывать о том, что такое война! Впрочем, в те московские дни мы больше к этой теме не возвращались. Говорили о другом: о мирном времени, вспоминали всякое той поры. И вдруг Иван Васильевич вспомнил, как «мы» брали бандита по кличке Угол. Я багровел от похвал, которые сыпались на меня. По рассказу Ивана Васильевича выходило,

будто один я повязал Угла. Мне показалось, что он надомной подсмеивается, я слегка обиделся, уточнил тогдашнюю диспозицию и пожаловался друзьям Бодунова на то, что никто в ту пору не осведомился, есть у меня пистолет или действовать я буду безоружным.

Тут вдруг мой Иван Васильевич буквально зашелся от смеха. Он всегда был смешлив, как все хорошие люди, умел в минуты роздыха смеяться до слез, но, чтобы человек так веселился, как сейчас, я никогда еще не видел. А смеялся он так заразительно, что и друзья его стали посмеиваться...

С грехом пополам мы все же выяснили, что именно тогда произошло.

А произошло нижеследующее: я просился давно и настойчиво участвовать в операции. В случае с Углом Чирков и Бодунов вспомнили, что дом, в котором засели для гулянки бандиты, имеет одно фальшивое окно: снаружи застекленная рама, а изнутри кирпич на цементном растворе. Вот это, с виду совсем обычное окно и было отведено мне в бодуновско-чирковском оперативном плане, с той целью, чтобы на этом посту, на глазах у Берга, я бы и показал свое поведение. Я его и показал, это поведение.

И Бодунов, опять заходясь от хохота, изобразил перед своими гостями то, что ему, наверное, изображал на их самодеятельных концертах Берг, как я, раскорячившись от напряжения, полусижу в снегу, изготовив руки к тому, чтобы задушить бандита.

— Ручками,— стонал и охал Бодунов,— рученьками. Зайца и то, так не уловишь, укусит, а тут... вооруженные... с финками... с револьверами... ой... пир... пин... пинкертонны на мою голову...

Хохотали все. Я сидел набрякший. Теперь было понятно, почему заклохтал Берг тогда в машине и издал чихающий звук Рянгин. Конечно, им было смешно слушать,

как Бодунов спрашивал, все ли было благополучно у меня под мертвым, зацементированным окном.

— Зачем же вы это спросили? — осведомился я.

Иван Васильевич вдруг перестал смеяться.

— А мы вас проверяли.

— Как это?

— Просто: на вранье. По-вашему — на фантазию. Самое страшное, вот мои товарищи не дадут напутать, самое страшное в нашей работе — ложь. Испугаться можно, спутать можно, ошибиться можно, все мы люди. Но соврать! Ужасные, невероятные последствия в нашей работе ложь дает...

Гости Бодунова шумно и горячо его поддержали, и я вдруг почувствовал, что здесь он совершенно как в своей седьмой бригаде — самый любимый, самый главный, самый уважаемый.

— В тридцать седьмом последствий этой лжи хлебнули, ну а мы, с Дзержинским начинавшие, учены, как за ложь карать надобно...

Он помолчал, отхлебывая чай большими глотками, потом улыбнулся:

— Вот этак и проверили. Могли же вы сфантазировать: дескать, окно открылось, поглядел на меня зверский бандит, прыгнуть не решился, и всех делов. Этого мы и ждали... Ну... и уйти могли. Сказали бы: оружия не имею — находиться в секрете считаю бессмысленным. Разве не могли бы? Вы не обижайтесь, но надо же знать, с кем имеешь дело. Так что вроде проверка боем, разведали мы вас маленько.

Когда гости разошлись, Бодунов сказал:

— А что без оружия — тоже не обижайтесь. Вам же нужна была психология, что переживает сыщик в такой ситуации. Вот и пережили доподлинно. А оружие — штука непростая, особенно в нервных руках. И по своему можно

выстрелить случайно, и по бандиту даже, но тогда, когда и без стрельбы бы обошлось. Задерживать лучше живого: мертвый, во-первых, может такого наказания и не заслуживать, а, во-вторых, если и заслуживает, бесполезен — ничего не расскажет. Да и вообще оружие! Почему-то сыщики, когда их описывают, непременно палят. Между тем в жизни знаете как бывает? Вот в Ленинграде, в давние годы, ушел у...

Он помедлил. Я знал: если что-нибудь интересное — не назовется. Расскажет про «другого». Так случилось и сейчас...

— У одного сыщика случай был. Сыщик не дурак, соображал малость. Время — разгар нэпа. Ушел бандит. С сильной политической окраской. Из-под носа ушел: в последний вагон поезда на ходу вскочил. А граница тогда возле самого Сестрорецка проходила. Бандит туда и кинулся. Мой сыщик, естественно, за голову схватился: уйдет, подлюга, к финнам. Сильный был бандит, артистически работал, а главное, нахальный. С восемнадцатого года уходил, гранатами в Москве отбился. Короче, сыщик другим поездом в Сестрорецк. Напал там на след и опять потерял. А жарница, а духотища, день — воскресный, народищу в Сестрорецке — курорте — полно. Видит мой сыщик — плохо дело: сейчас свалится от усталости; решил искупаться. А этот самый бандит за сыщиком следом ходил. И когда тот в воду кинулся, унес и одежду его и наган. Остался сыщик голый и босый, да к тому же безоружный.

— Ушел бандит?

— Нет. Его безоружный сыщик взял и повязал бесславно.

— Как же так?

— Умнее был, чем бандит. И на народ на советский положился. В двадцати метрах от границы вязали, возле Бе-

лоострова. Тридцать два человека нас было... их было... в плавках и в трусах. Так что голова многое значит, если ею думать...

— Иван Васильевич, много раз вы были в их тылу? — спросил я.

— После войны подсчитаем, — ответил он, — тогда бухгалтерия откроется.

— Трудно там?

— На переднем крае труднее.

Он вышел меня проводить. Штатский человек из тыла — военного моряка, скоро отбывающего на флот. И как мог я опять попасться на такой простой розыгрыш?

— Но кто вы сейчас?

— Как кто? Милиционер! Кто же еще?

Я заметил, что он вдруг погрустнел, будто вспомнил что-то печальное. И спросил у него об этом.

— Да так, — со вздохом ответил он, — опять в голову взбрело...

И рассказал мне о том самом «классном воре», «одиноким волке», о котором когда-то рассказывал мне Красношеев.

— Жаров? — спросил я.

— Да не Жаров, — ответил Бодунов. — Впрочем, сейчас все равно. Прочитайте.

Это было письмо с фронта, обычный треугольничек тех лет. Почерком сильным и крутым «одинокий волк» писал, что был дважды ранен, что вновь воюет, что получил новую машину, что теперь стал командиром, «большим начальником», имеет звание майора. И дальше шли фразы, читать которые даже в те военные годы было нелегко.

«Жаров» писал, что никакой кровью и никакими ранениями ему не рассчитаться «с моей Советской властью за то, что она в Вашем лице, Иван Васильевич, сделала для меня. Так что если и придется погибнуть, то это будет

первый взнос в счет расчетов, которые не состоялись без моей вины».

Дальше было написано, что авось в случае чего Иван Васильевич позаботится о Люсе и о девочках.

— Погиб! — хмуро сказал Бодунов, когда я вернул ему письмо.— Сгорел в танке. Посмертно награжден орденом Ленина. Был уже инженером, золотая голова...

Иван Васильевич вышел меня проводить. И долгое время я ничего не знал о нем, кроме того, что он, кажется, жив.

## 8. КАК МЕНЯ ПОВЕЛИ В ТЮРЬМУ

**Т**ут придется опять возвратиться обратно в тридцатые годы.

Пока Иван Васильевич, отбоярившись от доклада к восьмому марта, ловил очередных бандитов в тундре, мой друг Эрих Берг наломал дров в седьмой бригаде. На Васильевском острове случилась большая драка. В драке действовали и кастетами, и ножами, и даже стреляли. Разобравшись, Эрих всех чохом посадил в тюрьму. Будучи человеком трезвым и твердых нравственных правил, страстно ненавидя всякое хулиганство, он не побоялся немножечко и перегнуть. Посидят — отрезвеют, подумают, как жить дальше.

Бодунов привез своих бандитов, поспал, побрился-помылся и со свойственной ему молниеносной быстротой выяснил, что Берг в запальчивости посадил в тюрьму трех человек, которые случайно вышли из подъезда в то мгновение, когда лавина драки накатила на парадное. Эти трое были молодые ученые, изрядно под хмельком возвращавшиеся со дня рождения своего друга. Разумеется,

Бодунов перед ними элегантно извинился, позвонил начальству на работу — сообщил, что произошла безобразная ошибка и виновные будут строго наказаны, самих пострадавших отправил на своей машине по домам, позвонил женам пострадавших, известил свое начальство...

Эрих стоял ни жив ни мертв. При всем-при том он присутствовал при всех извинениях. Стоял неподвижно — серый и униженный, не испуганный, нет, потрясенный собственным злодеянием и кротким бешенством Бодунова. От брезгливой ненависти ко всему происшедшему у Ивана Васильевича даже голос изменился: он заговорил фальцетом.

При беседе с Бергом я не присутствовал. А на мой вопрос, чем все кончилось, Эрих только махнул рукой.

Спросил я и у Бодунова.

— Наказан ваш Берг! — отрезал он.

И тут попутала меня нелегкая вступиться. Я сказал, что в каждой работе есть процент неизбежного брака и ошибок. Я сказал, что молодые ученые просидели в камере совсем немного. И добавил, что перед ними извинились, позвонили им на работу, отправили по домам в машине.

Бодунов, стоя ко мне спиной, рылся в сейфе.

По «выражению» спины я чувствовал, что Бодунов злится.

Но остановить себя я не мог. Я уже успел крепко привязаться душой к седьмой бригаде, и мне искренне представлялось, что по отношению к Бергу совершена несправедливость. А все мы в эту пору нашей жизни непременно борцы с несправедливостью!

— Послушайте, а за вами когда-нибудь захлопывалась дверь тюремной камеры? — резко спросил Иван Васильевич.

— Нет! — бодро сказал я.

— А если бы захлопнулась?

— И потом передо мной извинились?

— Когда захлопывается, человек не знает, извинятся или нет. Короче, оставим этот разговор! Пока что начальник здесь я.

Пожав плечами, я ушел. Но на следующий день не сдержался и доложил Бодунову унылым голосом, что на Берга-де невозможно смотреть, что он заболел, что с ценными работниками так безжалостно обращаться нельзя и т. д. и т. п. Бодунов только быстро на меня взглянул и опять ничего не ответил.

Будучи человеком от природы довольно настырным, еще через день я завел ту же музыку о несчастном, погибающем, погибшем даже Эрихе. Берг, кстати, совсем не погибал. Он только дулся, «временно отстраненный от оперативной работы». Дулся и подшивал бумаги. Но мне казалось, что такие кончают самоубийством.

Прошел месяц. Эрих вновь ловил жуликов, прощенный Бодуновым. Жизнь шла своим чередом. Я в совершенстве овладел блатным жаргоном и как-то, решив поразить Бодунова фундаментальностью своих знаний, сказал ему примерно такую фразу:

— Вчера, я слышал, одному выключили зажигание, думали — он дубарь, а он похрял. Наверное, теперь останется на всю жизнь крахом. Конечно, кто сделал, свалился, до хавиры бандит недоконал. Не знаете, когда крестить будут?

— Простите, не понял, — с ледяной вежливостью ответил Бодунов.

— Чиркухаете! — сказал я.

— У нас жаргон запрещен, — произнес Бодунов. — И, когда жулики с нами начинают фамильярничать, они переходят на жаргон. Здесь — Россия.

Мне стало стыдно. Но я не сдался.

— Все строгости! — сказал я. — И неправильные. Так же, как с Бергом...

На этот раз мне не сошло.

К первому мая все в седьмой бригаде получили подарки. Какой-то вздор, но подарки — не дорог подарок, а дорога любовь — мыло, одеколон, бритва, конверты с бумагой. Получили все, кроме Берга.

И тут я затеял всю свою музыку сначала, но уже в присутствии Эриха и многих других «орлов-сыщиков». Я защищал право на ошибку.

— А если врач вам по ошибке оттяпает ногу? — спросил сердитый Рянгин.

— Или расстреляют по ошибке? — осведомился Чирков. И добавил строго: — У нас ошибаться — преступление.

Мне казалось, что все против Берга. Каково же было мне услышать, что сам Берг согласен с тем, что совершил преступление?

Бодунов молчал.

Пятого мая — я хорошо помню, что это было именно пятого мая, — я пришел на площадь Урицкого. Пропуск у меня был разовый — белая бумажка. Но в седьмой бригаде все двери оказались закрытыми. Я сел в коридоре и при свете тусклой лампочки стал читать газету. Какие-то подозрительные личности прохаживались неподалеку, со мной рядом села страшенькая, намазанная старуха абортмахерша и стала спрашивать, «кто тут берет в лапу, чтобы поскорее отпустили». Шел одиннадцатый час вечера.

Почитав еще, я отправился в первую бригаду, но там дежурил незнакомый юноша. Апартаменты большого начальства были закрыты.

Мне стало, что называется, муторно. Войти я сюда вошел, а как я выйду, если из седьмой никто сегодня не придет? Мне было известно правило, что около двенадцати по

коридорам розыска проходят товарищи с винтовками и забирают всех «коридорников» в тюрьму, здесь же, во дворе.

Стрелки показывали без четверти.

Я еще рванул дверь седьмой бригады — тишина.

Без пяти двенадцать я услышал «их» шаги и характерное «давайте, граждане, давайте проходите!»

Все было правильно: честному гражданину нечего делать в эту пору тут.

— Давайте, граждане, проходите давайте...

Я впился глазами в газету: разумеется, все эти «давайте» ко мне не относились. Сидит приличный товарищ, читает современную печать, этот товарищ — писатель...

На свое горе, я сказал на их «давайте»:

— Я писатель!

Мне ответили сдержанные смешки. Изучая блатной язык, я знал, что по-блатному писать — это «работать» безопасной бритвой; все те, кто вырезают куски дорогого меха из шубы или срезают дамскую сумочку, «пишут», и называют их «писателями».

— Раз писатель, тем более! — вежливо сказали мне.

Тут-то я вспомнил. Но было поздно. Я теперь не шел. Меня вели.

И тут я стал говорить речь. Каких только угрожающих слов в ней не было! И «беззаконие». И «вам покажет сам Бодунов». И «вы еще встретитесь с Колодеем». И «я напишу Максиму Горькому».

— Перестаньте, — сказала абортмахерша. — Через вас у меня лопнут уши!

Мы шли и шли бесконечными коридорами, нас становилось все больше, подозрительных людей, уводимых в тюрьму. От бешенства я уже хрипел. Я даже крикнул, что ноги моей больше не будет в этом здании...

— Ох, мальчик, я тоже давал себе такие заверения, — сказал мне какой-то отталкивающий субъект. — Так разве

мы сами сюда приходим? Нас же привозят. Транспорт ихний...

В самом преддверии тюрьмы меня окликнул знакомый голос. Оказывается, рядом с нами изрядное время шел Бодунов.

Теперь мы стояли вдвоем — друг против друга — в пустом, тускло освещенном коридоре.

— Громко вы кричали, — сказал Иван Васильевич. — Очень громко. Я издали услышал. Сильно грозились...

Я молчал. Деваться было некуда. Что к чему — я понимал.

— А ведь дверь тюремной камеры еще не захлопнулась за вами.

Что мне было сказать?

— Горького вспоминали. Пойдем, пройдемся...

Мы вышли на Неву. Было не светло, но уже чувствовалось приближение белых ночей, весны, тепла. Ловко закурив на ветру (он всегда делал все ловко, точно, умело, быстро), Бодунов сказал:

— Мы бы извинились перед вами, позвонили бы вам домой, на моей машине отправили бы вас к семейству. Что ж шуметь?

Нет, он не злорадствовал. Он говорил грустно, словно сам с собой. Потом, погода, добавил полувопросительно:

— А правда, что нервные клетки не восстанавливаются?

— Правда.

— Ошибочки? — вдруг, видимо, теряя власть над собой, с тихим бешенством, яростно заговорил Бодунов. — Что, сейчас революция в опасности, что ли? Карьеры себе делают, мерзавцы. И этот делает...

Я еще не понимал, о чем и о ком он говорил. Шел год 1937-й. «Этот» был розовый, красивый, рыжий Т. Он еще не приступил к действиям внутри ленинградской милиции

но уже готовился к прыжку — убийца! И Бодунов это чувствовал.

Возле управления прохаживался молодой человек в шляпе, сидящей на ушах, и в модном плаще с огромными плечами.

— Мусин! — удивился Иван Васильевич. — Вы что тут гуляете?

— Сдаваться пришел, — сказал некто Мусин. — Явка с повинной — заметьте. Напишите записочку, чтобы культурно оформили, в камеру получше...

— А в «Асторию» не желаете? Или в «Европейскую»?

Но Мусин не расположен был шутить. Мы еще посидели в кабинете Бодунова, где Мусин показал нам, как вывинчиваются его золотые зубы, каждый порознь — лагерная валюта.

— Профессор-стоматолог делал, — соврал Мусин, — я потому и не являлся, что хотел ротовую часть оформить. Приходил сюда и вчера, и нынче. Все вас не видать. Работы много?

— Да, хватает.

— А жизнь одна, — философски произнес Мусин. — Одна, и пролетает, как муссон.

— Как кто?

— Муссон! — последовал ответ. — Ветер.

За Мусиным пришел конвойный. Я собрался домой. Бодунов угрюмо предложил:

— Посидите.

Открыл сейф, достал оттуда старенькую, проношенную тетрадку, полистал и прочитал вслух, с трудом разбирая старые, полустертые карандашные строчки. Это было записано еще в апреле 1918 года — юным чекистом Иваном Бодуновым, и он сейчас не столько читал, сколько говорил наизусть, лишь сверяя свою память с записью того далекого года. А я только в 1958 году обнаружил эту самую

инструкцию «для производящих обыск и записку о вторжении в частные квартиры и содержании под стражей» в сборнике «Из истории ВЧК», изданном Политиздатом.

— «Вторжение вооруженных людей,— читал Бодунов, и спокойный голос его вдруг стал срываться от волнения,— на частную квартиру...»

Губы его дрожали, когда он кончил читать.

Заперев тетрадку в сейф и тщательно проверив замок, Бодунов, наверное чтобы успокоиться, молча постоял перед планом Ленинграда, потом резко спросил:

— А нас что сейчас заставляют делать? Что? Обычную уголовщину квалифицировать как политические дела? Это выходит, что у Советской власти врагов полным-полно? Это как же понять?

Через несколько дней Бодунова перевели в Москву.

Там я застать его не мог. Он всегда был в отъезде. По слухам, ловил бандитов на Дальнем Востоке, в Сибири, в Осетии, в Узбекистане. Но что я мог узнать, когда и друзей моих по седьмой бригаде разметало по свету, и седьмая бригада перестала существовать?

В слезах ко мне прибежала жена Берга.

— Эриха посадили. Говорят — немец. Он же ни слова по-немецки не знает. Как так?

Я отправился к Т. Он был теперь за главного. Сидел в огромном кабинете — огненно-рыжий, наевший морду, с красными глазами, розовый, выхоленный, добродушный.

— Зря к нам не навеваетесь,— сказал он,— тут интересные дела разворачиваются. Кое-что переоцениваем.

Про Берга он выслушал с той же улыбкой.

— Ручаться все-таки не советую,— сказал Т.— За отца и то даже я не поручусь. Так-то вот,

Мне было тошно.

А Т. продолжал:

— Про Бодунова про вашего интересные истории выясняются, кстати. Тут, когда указ был, он в одно дело самоуправно вмешался, в Сланцах. Находился в командировке и вмешался в местные дела. Посадили деда — украл четыре буханки хлеба в магазине. А Бодунов ваш нашел какую-то тетку Дарью, и, несмотря на то что дед настаивал на своем, настаивал, что у вдовы украсть не может по совести, а в магазине хлеба много, Бодунов, пользуясь своим авторитетом, деда отпустил.

«Милый Иван Васильевич, — думал я, — я же знаю, какой вы человек. Отпустили деда, которому грозили десять лет за четыре буханки хлеба. Конечно же голодного. Молодец!»

— Правильно отпустил! — сказал я.

— Вот как?

— Он всегда все делал и делает правильно, — с яростью сказал я. — И тогда с Лабуткиным был прав он, а не вы. Про таких, как он, говорил Дзержинский: «У чекиста должны быть чистые руки, холодная голова и горячее сердце»...

Т. ответил значительно:

— Сейчас другие времена.

Его холодные, кошачьи глаза смотрели на меня подозрительно.

И я выслушал лекцию о «других временах». Следовало подозревать всех. Нельзя было никому верить. Не существовало больше ни друзей, ни близких, ни авторитетов. Я слушал и молчал, хоть и думал: «Ты не сдвинешь меня с места. Бодунов, а не ты — настоящий. Я верю абсолютно сердцу и уму Бодунова, а тебе не верю».

Лекция была длинная.

Т. прохаживался по своему кабинету в вышитой шелковой рубашке, в турецких, с загнутыми носами туфлях — огромный, жирный, самодовольный котище. Неприятно, не

по-мужски пахло от него сладкими духами. И говорил, говорил, говорил:

— Они, оказывается, вместе с Чирковым обнаружили тут типографию. Эта типография торговала бланками справок для детей репрессированных, чтобы сии выродки могли попадать в наше святая святых — в наши вузы. Двадцать семь человек ваши Чирковы-Бодуновы выборочно проверили в ленинградских вузах и имели наглость написать в Центральный Комитет письмо, что эту молодежь нельзя исключать из вузов. В Центральный Комитет! Какое им дело? Их — запрашивали?

Сытый кот вдруг пришел в ярость.

— Я Чиркова вызвал, — крикнул он тонким голосом, — предложил ему пистолет: давай стреляйся за дверь, только по-быстрому, все равно тебя пуля ждет. Так он ответил: «Я при Советской власти стреляться не намерен, все равно наша правда, а не ваша».

В коридоре я встретил постаревшего, похудевшего Громова:

— Ты к рыжему не ходи, — сказал он. — И про Ивана нашего, что болтает — не верь. На таких Иванах, как Бодунов, русская земля испокон веков держалась, и Советской власти она основа. Ничего, наступит еще наша правда.

Больше на площадь Урицкого я не ходил.

Чирков ездил где-то в области, ловил бандитов и жуликов. Рянгин, Петя Карасев, Бируля, Лузин на телефонные звонки не отвечали. Про Женю Осипенко я узнал, что он арестован. Т. действовал всюду.

В столе у меня хранилась маленькая фотография Бодунова. Иногда я вглядывался в это смелое, открытое лицо, в глаза, которые так весело и лукаво светились. И мне становилось легче.

## 9. ИВАН БОДУНОВ — НАШ ДРУГ

**М**ного позже я понял: в молодости непременно должен быть у тебя старший товарищ, мудрый и спокойный друг, много испытавший, много повидавший, для которого не так все просто в жизни, как для тебя, и про которого ты знаешь совершенно твердо: это настоящий человек! Это рыцарь без страха и упрека. Он никогда ничего не испугается, не свернет с дороги совести, правды и порядочности, ни в чем, ни в самой малой житейской мере не пойдет на компромисс, не говоря уже, разумеется, о выполнении долга коммуниста.

Такой — старший как бы поверяет и проверяет твою жизнь и твою совесть, твое мужество и твои силы, если они нуждаются в испытании. На такого — старшего, не только возрастом, но и нравственным зарядом, ты, молодой, оглядываешься, с ним сравниваешь различные перипетии твоего бытия, в нем находишь постоянный пример и при помощи его образа как бы закаляешь себя, ежели нуждаешься в закалке.

Таким человеком стал для меня Иван Бодунов — старый коммунист, по специальности «сыщик», как он выражался про себя, «милиционер», как любил рекомендоваться, «папа Ваня», как называли его за глаза подчиненные.

Нельзя было его не любить: собранный, удивительно чистый нравственно, хоть и без всяких ханжеских разговоров о том, что можно и чего нельзя, что хорошо, а что плохо, просто природно, инстинктивно безгливый к пакостям и грязи жизни, никогда не рассказавший ни одного хоть приблизительно скабрёзного анекдота, ловкий, быстрый, веселый, аппетитно подвигающий к себе тарелку с борщом, вкусно закуривающий, убежденный, несмотря на

свою трудную специальность, что «люди — великолепный народ», наделенный талантом справедливости, — разве можно было не любоваться таким человеком, не видеть в нем примера, не стараться стать по мере сил таким, как он!

В его бригаде все хотели походить на него. Все ходили быстро, все говорили по телефону в его отрывисто-вежливой, четкой манере, все считали неприличным и недостойным мужчины произносить высокие слова о своей профессии, все, даже не слишком наделенные этим даром от природы, шутили и острили бывало и в невеселые минуты, все докладывали только правду, какой бы горькой для докладывающего она ни была. И правду докладывали Бодунову не осторожными словами, а самыми прямыми, как есть. Требовал он, как есть, — и докладывали. Не «он от меня ушел», а «я его упустил, понимаете, товарищ начальник, моя вина, прошляпил». На объективные обстоятельства ссылаться было нельзя. Он не признавал их. И молодежь вокруг Бодунова не признавала объективных обстоятельств — никогда, никаких.

Он редко хвалил словами. Он только вдруг взглядывал — на мгновение, но так ясно, так светло, весело и поощрительно, так этим взглядом обласкивал и такую, казалось, речь произносил, что молодой работник словно на крыльях взлетал, весь заливался краской, до багровости, и только много позже спохватывался, что Бодунов-то и произнес всего ничего — одну фразу:

— Далеко ты у нас, Володя, пойдешь, если милиция не остановит.

И служебное:

— Продолжайте работать, — уже на «вы».

За своих «орлов-сыщиков» он вечно хлопотал. Конечно, комнаты — первое дело. Разумеется, премия; у такого-то и такого-то жена родила, а теща в больнице, нужна

нянька, иначе жене на работу не выйти, а с деньгами худо.

«Большое начальство» знало: Бодунов зря не попросит. Но сами сыщики представления не имели, почему этот получил комнату, а того переселили из полуподвала во второй этаж. Никто не знал, каких трудов стоила Бодунову путевка в санаторий Володе, сколько времени он потратил на то, чтобы, допустим, Оля перестала закатывать сцены своему благоверному, Сереже, за то, что тот сидит в засаде — ловит жуликов, а билеты в оперу — пропали.

Бодунов людям нравился сразу, с первого взгляда открывались ему навстречу сердца. И ничего для этого он не делал: никогда не старался нравиться, никогда ничего не рассказывал героического о своей профессии, милиционер как милиционер. Однако же умный и наблюдательный Сергей Аполлинариевич Герасимов, народный артист впоследствии, сказал, познакомившись с Бодуновым:

— Какой человечиче! Кто он?

— Сыщик.

— Просто сыщик?

— Милиционер...

— Перестаньте разыгрывать...

Кинорежиссеры И. Хейфиц и А. Зархи сказали в один голос:

— Он, главное, талантлив во всем!

Они только видели его, но не знали, как знал я.

Они, например, не знали того прекрасного чувства ответственности за все в нашей жизни, которое всегда и поражало меня, и радовало. Он никогда не был ничему посторонним. Он отвечал за все. Не раз и раньше, и впоследствии видел я с тоской и злобой «начальничков», главным занятием которых было проследить, уехал старший из управления или еще нет. Если уехал, значит, можно уезжать и младшему. И, когда я однажды удивился на такое

поведение «младшего начальничка», он у меня спросил:

— Про записку повесившегося парикмахера знаете?

— Нет.

— Забавный анекдот. Парикмахер написал: «Кончаю жизнь самоубийством, потому что всех все равно не переброешь».

Бодунов отлично знал, что всех ему «не перебрить». Но когда, сложив руки за спиной, подолгу простаивал он перед планом Ленинграда, я понимал: он отвечает за все перед своей совестью коммуниста, а не перед старшим начальником.

Кстати, об этом плане нашего города.

Как-то, постучав по зеленому Васильевскому острову, Бодунов сказал:

— Интересно, что даже вы, можно выразиться, наш работничек, не интересуетесь самым главным...

— Чем же это? — приготовился обидеться я.

— Несостоявшимися преступлениями. А в нашей бригаде это самое главное — предупредить, профилактировать, не дать состояться убийству, грабежу, бандитскому нападению.

И действительно, как выяснилось, это было основой работы Бодунова, но такой невидной, неэффективной, скромной...

Впрочем, это тогда мне так казалось. Сейчас я понимаю, какой это был титанический труд.

Однажды в театре Иван Васильевич мне показал:

— Видите, вон такой почтеннейший, глубокоуважаемый, седой мужчина. Грушу кушает. С супругой в этом... в как его... ну, в бусах...

Академического вида громадный старик красиво разрезал грушу, а седая, роскошная его супруга, в жемчугах и накинутой на обнаженные плечи шали, пила лимонад.

— Так вот, они — покойники. Все разработано было, вся операция в деталях. Кто академика тюкнет, а кто — супругу. По науке, с планом квартиры. Сильная была группочка. А супруги так ничего и не знают по сей день.

Терпеть не мог Бодунов, когда обижали слабых, когда видел он ненавистный ему персонаж — хулигана, когда хулиган одерживал верх над коллективом человеческим, над обществом...

— Как-то в воскресный знойный летний день поехали мы в Петергоф — в парк. Иван Васильевич, как всегда, был в штатском: в белых парусиновых, тщательно начищенных туфлях. Пошли по аллее близ «Марли», а там тогда сразу возле дорожки начиналось тенистое, зеленое, ядовито-бархатистое болото.

Мы шли, мирно болтая, тяжело дыша в парной духоте, в пыли, поднимаемой сотнями, если не тысячами ног. Шли к заливу. А перед нами вышагивали совсем вплотную два отвратительных подонка в сапожках, в насунутых на уши кепках, в брючках с напуском, невымытые шеи их были нам ясно видны, и было видно, как мучают они двух девушек с косами, почти девочек, которые шли перед этими подонками.

Разморенные духотой два пьяных паршивца дергали девочек за косы, и пребольно притом, говорили циничные, отвратительные фразы, пытались поставить подножку то одной девушке, то другой.

А те, бедняги, иногда гневно оглядываясь на своих мучителей, продолжали делать вид, что безмятежно болтают, что наслаждаются прогулкой, что все хорошо.

Убежать, прорваться сквозь плотное месиво гуляющих девушки не могли. Что же им оставалось делать?

— Перестать! — четко, сквозь зубы, с известной мне яростью произнес Бодунов. — Пе-ре-стать!

Хулиганы обернулись.

— Шьто? — спросил один, безобразно коверкая русскую речь. — Шьто? Вы на кого желаете замахнуться?

Гуляющие остановились, так как образовалась пробка. Никто ничего не понимал. И тут вдруг и хулиганы и Бодунов исчезли. В короткое мгновение он железными ручищами схватил их за грязные цыплячи загривки, стукнул друг о друга головами и пропал с ними за огромным, разросшимся кустом в болоте. С минуту оттуда доносились какие-то повизгиванья, кряхтенье и кудахтанье, потом все затихло, и Иван Васильевич вернулся в молчаливую, виноватую толпу.

— Изгваздался как! — сказал он сердито, отряхивая мокрые, в ряске и тине штаны. — Черт бы их подрал!

Из-за куста донеслось всхлипывающее клохтанье, по которому я понял, что хулиганы живы.

— Сидеть там тихо, пока за вами не придут! — крикнул Иван Васильевич.

— Ва-ва-ва-имся... — донеслось до нас непонятное.

Толпа смотрела на Бодунова восхищенно и угнетенно. Было слышно, как какая-то женщина выговаривала, вероятно, своему мужу, который видел хулиганов и не помог девушкам. Муж мямлил, что он-де не милиция. А девочки с косами смотрели на Бодунова с молчаливым и счастливым восхищением.

В пикете милиции товарищи милиционеры в холодке играли в пашки. Была не просто игра, а что-то вроде турнира. Эти забавы Бодунов разогнал так же, как сделал это с Учредительным собранием много лет назад матрос Анатолий Железняков. За хулиганами были посланы двое. Главный в пикете, исповедывающий нехитрую религию, что «всех не перебреешь», пытался объяснить свои трудности в «парниково-фонтанном» объекте.

— У вас тут, между прочим, крепко хулиганством воюет, в вашем объекте, — брезгливо сказал Бодунов. —

И с ними вы в этом смысле тоже разберитесь, горячо советую, а то другие разберутся, но уже вместе с вами...

Мы ушли на взморье. Бодунов хмурился, отстирывал брюки, отмывал туфли.

— Я им почему в пикете не представился,— сказал вдруг Иван Васильевич,— чтобы не поняли, кто я. Пусть думают, что не милиционер, а как все, гуляющий. Тогда они будут бояться всех. Понимаете?

И добавил сердито:

— Почему эти все прогуливались и делали вид, что не замечают? Конечно, замечали. Не могли не замечать!

А погодя сказал с невыразимым презрением:

— Посторонние!

Я хорошо понял тогда, как ненавидел он посторонних. Никогда, нигде, ни в чем не бывал он сам посторонним. Наверное, сказывалось то, что называл он выучкой Дзержинского.

— А вообще-то народ замечательный,— сказал он погодя, садясь на камень и с хрустом потягиваясь на солнце-пеке.— В трудные минуты, случается, так вдруг поможет трудящийся человек — хоть золотое оружие ему вручай за храбрость и доблесть.

Орудовал в начале нэпа барон Тизенгаузен. Ворюга высшей категории и грабил все, знаете ли, своих бывших. А время было доброе...

Бодунов засмеялся.

— Мы ж, товарищи большевики, все искали и ищем, как человека исправить. Как ему по-добру втолковать — беседами, агитацией, как до сердца дойти. И того, случилось, не учитывали, что имеются индивидуумы вовсе без сердца. Нет у них такого органа, и вся недолга. Доходили до сердца и барона Тизенгаузена. И за примерное поведение по дням воскресным отпускали из тюрьмы домой — для отдыха и наслаждения в семейном кругу. И пони-

маете, как на зло: как воскресенье — так грабеж. И какой! Старичок один выручил, краснодеревец. Он еженедельно к своему бывшему барону Тизенгаузену наведывался: тот ему еще со старопрежних времен задолжал. И ни в одно воскресенье барона застать не мог. Вот и сопоставил он грабежи среди своей бывшей клиентуры с отпусками Тизенгаузена и эти свои соображения нам доложил. Мы за голову и схватились. Но засаду не там засекретили, где надо было, а наш старичок оказался в истинном месте происшествия. Наставил на барона пустой патрон винтовочный и скомандовал: «Руки вверх, паразит!» А потом на извозчике вместе с грабленным к нам привез. И откуда берется?

Так же посмеиваясь, рассказал Бодунов и про медвежатников Володи-интеллигента. Интеллигент разрабатывал лишь технический план взлома несгораемой кассы и вычерчивал инструменты, а также руководил изготовлением всех этих «балерин» из легированных сталей. Банду Иван Васильевич накрыл, взломщиков судили, они «дали слезу» на суде, разумеется, напомнили про родимые пятна капитализма и получили небольшой срок. В тюрьме они выразили бурное желание работать, и им была предоставлена великолепная мастерская, в которой они стали изготовлять новую партию непревзойденных инструментов для взлома. Руководил работами вышеназванный Володя-интеллигент, а начальство тюремной мастерской не вмешивалось, ибо было указание «не давить на психику заключенных, что хотят, то пусть и делают, главное же — работа». Вот и поработали.

— А как поймали? — спросил я.

— Старушка одна помогла. Очень помогла. Знаете, есть такие — «коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Остановила нам коня, а то бы мы хлебнули горя...

Он замолчал надолго, задумался.

И опять вышло, что в поимке Тизенгаузена и шайки Володи-интеллигента Бодунов почти не участвовал...

---

Наступили великие дни возвращения ленинских норм социалистической законности. Оклеветанные возвращались домой. Домов, семей, близких — не существовало. Реабилитированного нужно было устроить, нравственно обогреть, помочь и в малом и в крупном. «Указники», которым «отвешивали» по десять лет за то, что вдова погибшего солдата накопала на колхозном поле в фартук картошек детям, — такие указники возвращались в родные места. Тюрьмы, в которых содержались «враги народа», были срочно переоборудованы в общежития, где транзитные реабилитированные могли переночевать, помыться, поесть. Прекрасные дни возвращения народу поправленной правды наступили во всем своем блеске, красоте и ясности.

Бодунова я нашел уже генералом.

Он почти совсем поседел, но сильное лицо его помолодело.

— Вот видите? — сказал он мне, гордясь и радуясь временем, в котором мы жили. — Видите? Я знал, что так будет. Так не могло не быть! Партия вон как могуча. Не побоялась всю правду выложить.

Мы поговорили не более получаса. У Бодунова не было времени. Он занимался самым главным: восстановлением добрых имен, устройством, прописками, розысками родных.

Вот в эти-то дни я и узнал самое главное про Ивана Васильевича. Узнал о его 1937 году. Не все, только один случай.

Вот этот случай.

Ныне покойный, дзержинец Александр Михайлович Леонтьев, старый товарищ Бодунова по ВЧК, как-то вызвал Ивана Васильевича и сказал ему следующее:

— Мне поручено послать тебя, как сыщика номер один, в Воронеж. Там совершенно несколько убийств с ограблениями, убийства зверские, ужасные. Обвиняется группа старых большевиков. Мысль такая: они это делают для того, чтобы вбить клин между нашими карающими органами и народом. Дескать, народ убивают, а органы не чешутся...

— Что за бред! — сказал Бодунов.

— То-то что бред. Но один старый большевик уже успел «сознаться». Тебе, Иван Васильевич, нужно отдать все силы, но найти подлинных убийц, нужно их осудить, сообщить в печати, а потом...

Леонтьев замолчал.

— А потом, — добавил он, помолчав, — тебя, товарищ дорогой, вполне смогут уничтожить. Но ведь ты мог и не раскумекать, что от тебя требовалось. Ты же милиционер, просто сыщик, поймал убийц — и порядочек. Так говорят в милиции?

Иван Васильевич ничего не ответил. Как-никак у него была жена и дети.

— Размышляешь? — осведомился Леонтьев.

— Нет, — сказал Бодунов, — хочу только просить, если что, то семья моя...

— Это само собой, — ответил Леонтьев, ни в чем не пытаясь утешить своего друга. — Только всегда думай, Иван: правда наша вернется.

Бодунов уехал в Воронеж. Старый большевик, испуганный недозволенными методами следствия, унижениями, действительно успел «сознаться». Бодунов дал ему понять бессмысленность того, что он со страху натворил. От своих первоначальных показаний старичок отказался. А через два дня Бодунов поймал двух глухонемых, которые на пустыре бинтами душили вновь приезжих, чтобы воспользоваться их багажом из камеры хранения. О душителях

было сообщено в газете. Процесс старых большевиков лопнул, а Иван Васильевич инкогнито отбыл в Кабардино-Балкарию ловить какого-то опытного горного убийцу. Воронежские старые большевики и по сей день, наверное, не знают, кто рискнул своей жизнью ради них в те времена.

Так вот рискнул Бодунов Иван Васильевич — «сыщик-милиционер», проживающий и поныне в городе Москве.

И. В. Бодунов на пенсии.

И вот это трудно понять.

Да, иногда он болеет, да, пережитое дает себя знать, да, болят старые раны. Но ум его ясен и светел, сердце у него по-прежнему горячее, знание людей поразительное, опыт огромный. У него нет университетского значка, иногда он может сделать неверное ударение. Но его много раз посылали учиться и отзывали — работать! Очень много раз. Разве виноват он в том, что ради счастья и спокойствия теперешних «университетских» молодых людей он не успел «заработать» свой значок? От дней кронштадтского мятежа и до Великой Отечественной войны он бился всегда на переднем крае. И в мирное время не знал, что такое спокойная ночь. И в самое мирное время он стрелял и в него стреляли.

Разве был бы он плохим советчиком для нынешних молодых «орлов-сыщиков»?

Разве не имеет смысла посоветоваться и нынче с человеком такой чистой совести, такой кристальной чести, такой высокой партийности, как наш друг — Иван Бодунов?

И неужели талантливость так мало значит?

Я думаю, что обижен пенсией, разумеется не размерами ее, а самим фактом пенсионерства, не один Бодунов. И может быть, об этом следует подумать. Не в порядке мероприятия, кампании, а по существу человеческой биографии. Иногда ведь не сам человек выходит в отставку, а

становится пенсионером из-за неосторожного, недоброго слова, попросту из-за обиды. Но обижать таких, как Бодунов, — себе дороже.

Имеются сведения, что о своей отставке Бодунов узнал от шофера. Конечно, это безобразие! Но самое печальное, что безобразие это не исправляется. Иван Васильевич не из тех людей, которые наделены гонором или амбицией. Он скромный человек. Но именно со скромными людьми так нельзя обращаться.

Исторический процесс понятен и величествен. Возвращение к ленинским нормам законности — дело поистине прекрасное. Но именно здесь-то и может проявить себя наш друг — Иван Бодунов. Именно в этом грандиозном процессе возвращения правды и справедливости нужен талант человековедения, которым так щедро наделен Бодунов.

Разве это старость — шестьдесят три года? И разве не случаются старики в тридцать лет и юноши душой — в семьдесят? У Ивана Васильевича есть телефон.

Будь бы я начальником, я бы позвонил. Все так просто и ясно.

Разве имеет значение вопрос звания, размеров кабинета, разных иных деталей? И столпится вокруг Ивана Бодунова университетская молодежь, и скажет им Иван Васильевич своим совсем молодым голосом:

— Вот что, «орлы-сыщики»! Попробуем мы сделать так...

---

С величайшим трудом мне удалось несколько лет тому назад привезти Ивана Васильевича в Ленинград на телевидение. Волновался он ужасно, даже валерьянку ему капали. Металлическим голосом сказал несколько слов и был таков. Но после его выступления телефон у меня звонил буквально круглосуточно.

— Кто его спрашивает?

— Так, один знакомый.

Иван Васильевич ездил по старым друзьям, и застать его у Чиркова, где он остановился, было трудно. Тогда стали спрашивать, каким поездом он уезжает...

И вот наступил день отъезда.

Провожали Бодунова человек двадцать старых и верных друзей. Когда же мы подходили по перрону к вагону, возле него оказалась толпа — человек сто.

— Наверное, балерина или Райкин уезжают, — сказал Иван Васильевич.

Нет, уезжал Бодунов, Иван Васильевич, наш друг — Иван Бодунов. В густой толпе провожающих были и простые, замасленные рабочие ватники, и бобровый воротник, и полковничьи погоны.

— Иван Васильевич, — сказал Бодунову человек лет за сорок, во флотской шинели, с погонами военного врача. — Не узнаете?

— Нет, — сказал Бодунов.

— Я Свисток, к которому вы... помните, к Сергею Мионовичу...

Эти все сто человек были обязаны Бодунову жизнями. Слесари и токари. Врачи и инженеры. Парикмахер и директор чего-то. Это были *люди Бодунова*. Они все пожимали ему руку, все трясали его, щупали, хватали за полы пальто, желали долгих лет жизни, здоровья, сил...

— Я ж вас сажал, ребята, — произнес Иван Васильевич сквозь слезы.

— За дело!

— А как же!

— Не сидели бы за вами, давно бы нам конец...

Сентиментальных людей здесь не было, но плакали все. Плакал, стоя в дверях тамбура, и сам Иван Василье-

вич, все еще красивый, несмотря на седьмой десяток, подтянутый, легкий, быстрый...

Поезд двинулся, мы пошли рядом с вагоном.

До свидания, Иван Васильевич, наш друг! Здоровья вам и сил!

А провожающие, с которыми я возвращался, вспомнили:

— Ты — Щука?

— Неужели узнал?

— Так мы же в тридцать четвертом сели в один день.

За сахар.

— Точно. У меня это конец был. Все. Завязал.

— Евстигнеев? Здорово выглядишь.

— Метро строю.

— В качестве?

— Архитектор. А ты, Кум?

— Кум в Крестах остался, а здесь Родион Никифорович.

— И верно, седой. По рукам — рабочий класс?

— Дома строим. Автово — мои дома.

— Плохо строите. У меня дует!

Один вдруг сказал:

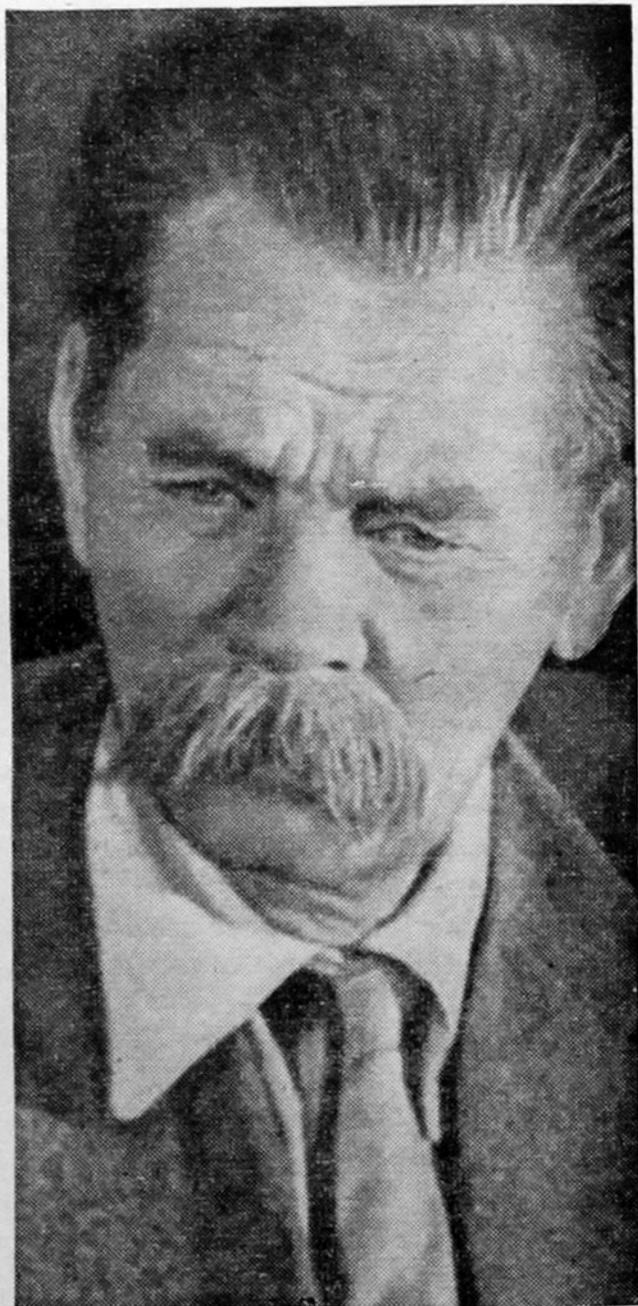
— Знаете что, товарищи. Как бы нашу сотню назвали в дни войны? Хозяйство Бодунова. Точно?

У меня сжалось сердце: точнее нельзя было сказать. А сколько таких хозяйств у нашего Ивана Васильевича по всему Советскому Союзу?

1963 г.  
Сосново.

**О ГОРЬКОМ**

**В жизни всегда есть  
место подвигам.  
И те, которые не  
находят их для себя,  
Те просто лентяи,  
или трусы, или  
не понимают жизни.**



**Б**ЫЛО мне немногим больше двадцати одного года, когда в тихой парикмахерской на Малом проспекте Васильевского острова прочитал я добрые слова, сказанные Алексеем Максимовичем Горьким про меня. Добрые, но осторожные. Помнится, была там такая фраза: «Если малый не свихнется, из него может выйти толк».

«Не свихнется», — недоуменно размышлял я. — А почему, собственно, мне следует свихнуться?»

Это самое «не свихнется» сверлило меня и в вагоне поезда, шедшего в Москву, и в Москве, когда подходил я к особняку на Малой Никитской, и в машине, которая везла нас на дачу к Алексею Максимовичу.

Парило, собиралась гроза. Всем нам в машине было страшновато. Никто из нас, кроме шофера, еще никогда не видел Горького. Мы знали его по портретам, по собраниям сочинений, по однотомикам, по газетным статьям. Каждый из нас представлял его по-своему, как представляли мы себе Чехова, Толстого, Короленко, Лермонтова, Пушкина. Мы ехали к живому Горькому, зная, что живой

Горький в то же время классик. Это не вязалось одно с другим, и когда много позже я вспоминал этот час в автомобиле, мне казалось, что никто из нас за все время пути не сказал ни единого слова.

Как я вошел в кабинет Горького — не помню начисто. Словно плотный туман накрыл меня, а когда туман этот рассеялся, я увидел Горького, увидел, что сижу перед письменным столом и что Горькому ужасно как неловко от того состояния, в котором я находился. Он вообще терпеть не мог всякую «чувствительность» — это я понял впоследствии, а сейчас мне было не до размышлений и не до наблюдений. И почему-то мучительно казалось, что Горький непременно начнет задавать такие умные вопросы, ни на один из которых я не смогу ответить. Например:

— Как вы относитесь к Гегелю?

Но про Гегеля он меня не спросил. За большим, широко распахнутым окном бушевала летняя гроза. Летели по ветру листья, сверкали длинные молнии. Зрелище было грозное и располагающее к значительным фразам о бессмертных красотах природы и различных ее явлениях, но Горький грозы как бы даже и не замечал, а принялся выпрашивать меня заинтересованно и деловито: где и как я живу. Сдавленным голосом я сообщил, что на Васильевском, но Горькому не это было нужно. Оказалось, что интересовался он размерами моей комнаты, соседями и коммунальной квартирой в ее целом. Дверь моей комнаты выходила в кухню, взаимоотношения владельцев примусов были сложные. Горький протянул мне листок бумаги и карандаш и предложил схематически эти взаимоотношения изобразить. Характернейшим жестом разглаживая усы, он спрашивал:

— Эта против этой? А эта — нейтралитет? Ах, она совместно с этой? Очень любопытно, чрезвычайно любо-

пытно. И все вместе объединены против этой угловой? А угловая что же? Скажите на милость, какая храбрая дама! А у вас есть свой примус? И где он?

Внезапно я заметил, что Горький спрашивает у меня, чем я питаюсь, и что я подробно, без всякого смущения и совершенно позабыв, что передо мной живой классик, на эти вопросы отвечаю.

— Брюкву жарили на воде? А вам не кажется, что жарить на воде невозможно? Ведь как будто бы жарение и вода — процесс взаимно исключаящий. Жарят, насколько мне известно, на жире...

Пожалуй, мне никогда не доводилось встречать людей, которых бы так интересовала обычная, ничем не примечательная жизнь их собеседников, как интересовала она Алексея Максимовича. Я видел людей, которые умели слушать. Не раз видел таких, которые, разговаривая с другими, в основном слушали себя и сладко упивались производимым ими впечатлением. Я видел людей, слушающих умело вежливо, но при этом думающих свои думы. Мне доводилось встречаться со многими людьми-слушателями, но никогда я не представлял себе, что человек может быть так искренне внимателен, так сочувственно и напряженно заинтересован, так искренне близок своему собеседнику, как бывал Алексей Максимович. Разумеется, тут дело не во мне, с моей самой обычной биографией, тут дело в другом, в значительно большем. Мы все, все наше поколение, были интересны Горькому во всем решительно. Он хотел понять, что же мы такое. Его интересовали, занимали и даже волновали самонаименованные подробности не только нашей жизни, но и нашего быта. Он желал знать не только о том, что мы читаем, но и что мы едим. Он был лично заинтересован в нас, в молодом поколении еще только будущих литераторов, в нашем физическом и нравственном здоровье, в том, чтобы у нас были чистые и ясные мысли,

в том, чтобы жизнь наша не разменивалась на пустяки, в том, чтобы не решали мы давно решенные вопросы, в том, чтобы шли мы каждый своим путем и делали это с максимальной пользой для того государственного устройства, гражданами которого мы являемся.

...Разговоры о жареной брюкве и примусах на коммунальной кухне дали мне возможность опомниться. Теперь я видел Горького. Помню голубую рубашку и серый пиджак, помню отблески молний на лице Горького, помню, как, вставляя в мундшук сигарету, он заговорил о моей книге. Приготовившись выслушать речь прочувственно-комплиментарную, я, со свойственной молодости самоуверенностью, даже не запасся карандашом и бумагой для того, чтобы записать замечания Горького.

И тут начался разгром, но какой!

Помню, что поначалу я даже не понял, что все эти жесткие слова относятся именно к моей книге. Мне показалось, что речь идет о совсем другом сочинении, которое Горькому не нравится, — не в пример тому роману, который он быстро перелистывал своими длинными пальцами. Низким голосом, сердясь (именно сердясь, потому что Горький никогда не был безучастен или величествен, разговаривая о литературе), Алексей Максимович подверг суровейшему разносу языковые неточности, «болтовню», попытки мои к афористичности, общие места, гладкие, казалось бы, без сучка и без задоринки, обтекаемые фразы. Пресловутая путаница с «одел» и «надел» вдруг вывела его из себя:

— Если вы литератор, даже и молодой, то будьте любезны в этих самых «одел» и «надел» навечно разобраться. Это основы ремесла. Или вы на редактора, быть может, надеялись? А редактор — на корректора?

Я молчал.

— Вы сколько раз этот свой роман переписывали?

— Один, — не без гордости заявил я.

— А вам, сударь, не кажется, что это хулиганство? — осведомился Горький.

И, помолчав, смешно добавил:

— Такие вещи скрывать надо от людей, как мелкое воровство, а не хвастаться ими. Один! — повторил он с непередаваемой интонацией возмущения и брезгливости. — Значит, сколько посидел, столько и написал. Хорош добрый молодец!

Не глядя на меня, Горький долго и сосредоточенно молча сердился, потом объявил:

— Эту книгу нужно написать всю наново. И не переписать, отметив в предисловии, что вы очень мне благодарны за советы, а просто написать наново, как будто этот птичий грех с вами и не случался. Вы в Китае и в Германии были?

— Нет, не был, — промямлил я.

— А написали... — сокрушенно сказал Горький. — Ну что теперь с вами станешь делать? Как же это вы так?

Я рассказал, что инженер Нортберг, который был прототипом моего Кельберга, довольно много рассказывал о своих скитаниях по белу свету, что роман «Вступление» вначале был всего только очерком в журнале «Юный пролетарий» и что мне просто очень захотелось написать подробнее о судьбе такого вот иностранного специалиста, как Кельберг.

— Захотелось, захотелось, — ворчливо произнес Горький. — Привезли бы мне или прислали ваш очерк, подумали бы вместе, поехали бы вы по границам, какая бы книжища могла получиться. Ну и переписали бы, разумеется, раз десять...

И во второй раз он заговорил о романе. Со стороны можно было бы подумать, что роман даже еще не напечатан, что он, может быть, только пишется и что вот он,

Горький, советует мне, как можно написать такой роман...

Советуя, он ни разу не спутал действующих лиц, помнил их фамилии, характеры, помнил сюжет. И оттого, что он, тот самый великий Горький, который только что отругал книгу, все-таки все в ней помнил, я делался лучше в своих собственных глазах, мне становилось легко и свободно, и было даже мгновение, когда я забыл, что передо мной сидит и со мной разговаривает не кто иной, как Алексей Максимович Горький. Я на что-то возразил ему, сказав:

— Нет, Алексей Максимович, это совсем не так...

Разумеется, я мгновенно опомнился. И даже испугался. Но Горький как бы даже обрадовался моему возражению. Он заставил меня подробно развить все мои доводы и тогда, весело потирая руки, разгромил меня наголову.

Сколько раз впоследствии я замечал, как Горький раздражался на слишком легко соглашающихся и поддакивающих ему людей, как он вдруг замолкал после поддакиваний и изъявлений восторгов и в глазах его появлялось выражение скуки и усталости.

Разговор о романе кончился так:

— Я ваш роман перехвалил, — сказал Горький. — Очень перехвалил. Это случается с нами, литераторами, да и не только с нами. Бывает, стихотворение в высшей степени посредственное, но оно, извините за выпренность слога, в данное мгновение отвечает строю вашей души. И кажется такое стихотворение прекрасным. «Вступление» ваше отвечало многим моим мыслям. Обрадовало меня запальчивостью вашей и убежденностью. Но до настоящей литературы тут еще далеко. Впрочем, вы не огорчайтесь, время у вас еще есть...

И вслед мне сказал:

— Переписывать надо! Запомнили?

«Вступление» я написал наново. Горький прочитал и сказал мне уग्रомо:

— Теперь лучше. Значительно лучше. Почти хорошо. Но, понимаете ли, почти. Надо знать, о чем пишешь. Это закон непреложный. Из жизни надо писать, непременно из жизни, из самой гущи ее, тогда и подробности будут настоящие, а не приблизительные. Ах, какое это горе в литературе — приблизительность, пунктир, порхание. И похоже, а не то. Не обрадуешься, не удивишься, не почувствуешь себя счастливым. Ну да что!

Я задал Горькому вопрос, который, как правило, мучает огромное большинство молодых литераторов. Он развеселился, мотнул стриженной ежиком головой, глаза его зажглись, заговорил:

— Если в человеке есть основания для будущего писательства, то он не должен спрашивать ни у кого, писать ему или не писать. Нельзя спрашивать, понимаете? Я-то ведь не знаю, что у вас внутри. Не знаю, какой там мощности заряд. Трудно это определить, взвесить. Да и что я — безмен? И дело наше другое, чем на скрипочке играть или петь романсы. Там, наверное, можно: «Пойди сбегай к маэстро, маэстро скажет». А я и не маэстро, я сам литератор, читатель. Настоящему литератору можно тысячу раз говорить, что он никуда не годен, а он все-таки будет писать, и ничего с ним не поделаешь. Он, знаете, везде, всегда будет писать по той простейшей причине, что не писать он не может.

Подумал, помолчал и опять заговорил:

— Ну, а есть авторы первых книжек. Это явление безынтересное. Они про себя иногда, к сожалению, да еще при наличии успеха, склонны предполагать, что вот-де мы писатели. А никакие они не писатели. В сущности, нет такого человека, ежели он не кокетка, и не врун, и не самовлюбленный болван, который не мог бы про себя, про

свою жизнь написать небезынтeресную книжку. И не только небезынтeресную, но даже очень интeресную. Вот тут, случается, происходят печальнейшие камуфлеты. Написал книжку, работать бросил, так называемые друзья провозгласили гением, ну а гению сказать больше и нечего. Ищет он при последующих неудачах первопричину не в собственной литературной немощи, а в кознях завистников, в горемычной судьбине, становится эдаким подозрительным, жалобы строчит, ко мне обращается, вроде бы я департамент изящной словесности. И сложно с этими первыми книгами, необыкновенно сложно. Советская власть вызвала из гущи народной тысячи, десятки тысяч интeреснейших судеб. В течение двух десятков лет люди проделали гигантский путь, многие сами себя открыли, — как этими открытиями не поделиться? Есть книжицы, написанные не бог весть как, но читать их спокойно невозможно, горло перехватывает. И точность, и простота, а главное — есть человеку что сказать людям. Есть богатство, которым хочется поделиться, есть мысли, которые и другим пригодятся. И спрашивают: писатели они или нет? Не берусь судить. Не стану, не хочу, не буду...

В другой раз Горький спросил меня, что я собираюсь писать. Я рассказал, сбиваясь. Он ходил по комнате, покашливал, поглядывал на меня. Неожиданно остановился и сказал:

— По поводу этого ирландского восстания есть стенографический отчет на английском языке, если не ошибаюсь. Году эдак в 1913-м издан. Кроме того, в те же годы по газетам многое разбросано.

И, стоя посредине большой, почти пустой комнаты, глядя мимо меня напряженно вспоминаящими глазами, он стал диктовать даты, брошюры, журнальные статьи. Я записывал, и мне казалось, да и до сих пор кажется, что это чудо: вопрос был узкий, в России тем более мало из-

вестный, прошли десятилетия, — как могло все это удержаться в памяти Горького?..

Потом я проверил. В двадцати двух названиях были только три ошибки.

Вечером за чаем Луговской спросил у Горького, как он справляется с тем огромным количеством писем, которые ежедневно приходят к нему. Алексей Максимович со смешком сказал:

— Отвечаю. Всем, кроме вымогателей и душевнобольных.

Помолчал и добавил:

— Впрочем, душевнобольным тоже отвечаю. Необыкновенно интересные, знаете ли, встречаются среди них индивидуумы. Иногда даже, грешным делом, подумаешь: а и в самом ли ты деле душевнобольной? И хитер, и умен... Один приезжал ко мне, вначале действительно было занимательно, а потом — нет, все-таки сумасшедший... Вот тоже случаются любопытные стечения обстоятельств. Был у меня весной рационализатор один из Свердловска. Занятнейший человек, образованнейший, светлая голова. Много сделал, много делает, и все как-то на пользу людям, все для людей, все то, что сейчас каждому человеку нужно. И тут же, в это же время, из Свердловска же от одного литератора получил письмо, исполненное желчи и эдакой всеобщей тоски. Не о чем ему, видите ли, писать, героя нет, и хотелось бы нечто создать, да не о ком. Нет для его стиля достойного характера. Не видит он Человека с большой буквы (эка ко мне хитро подольстился!). Пришлось написать ему адрес свердловчанина-рационализатора, теперь обождем, что из этого образуется. Не любопытны мы, до удивления не любопытны.

О книге моей «Бедный Генрих» Горький прислал мне ругательное письмо, а при свидании сказал невесело:

— Вы не обижайтесь, но на старости лет мне все

больше и больше хочется, чтобы люди замечали вокруг себя и хорошие дела, и хороших людей, и то, как эти хорошие люди формируются. Черта вам заграничная жизнь далась, что вы в ней понимаете? Один вот из вашего брата прислал мне поэму об итальянской жизни. А был там всего ничего — сколько пароход стоял. Моряк-механик. Стал мне о своих друзьях рассказывать — я заслушался. А в поэме все — мадонна, мадонна. Какое ему, дурачку, дело до мадонны?

И спросил совсем грустно:

— Почему вы такие?

Долго ходил по комнате из угла в угол и неожиданно посоветовал:

— Написали бы о Феликсе Эдмундовиче Дзержинском. Книжечку. Для ребят. Я вам один сюжет расскажу — желаете?

И рассказал, чему-то улыбаясь, покуривая сигарету, короткую и трогательную историю про то, как чекисты в голодные годы гражданской войны «обманули» Дзержинского. В столовой на Лубянке в тот день кормили супом из конины, а Дзержинскому сжарили несколько картошек на свином сале. И доложили, что у всех сегодня на обед картошка с салом.

— Я тоже в этой игре участвовал, — сказал Горький. — Меня предупредили, чтобы не выдавал...

Еще походил и еще рассказал:

— Однажды приехал к Феликсу Эдмундовичу заступаться (очень уж много в ту пору уговаривали меня разные — заступись да заступись), ну а Дзержинский мне навстречу вышел, в коридоре встретились. Глаза красные, знаете ли, как у кролика, и спрашивает: «Алексей Максимович, когда же отпадет необходимость в жестокости?..» Что я мог ответить? Небывалой нравственной чистоты человека было.

Погодя Горький спросил, о чем я пишу сейчас. Я рассказал ему о «Наших знакомых». Он слушал, как всегда, внимательно, переспрашивал, потом сказал:

— О поваре— это хорошо, очень хорошо. Человек, который кормит и старается повкусней накормить, не может быть дурным человеком. Вы прочитайте такую книжку: Брилья-Саварен «Физиология вкуса», много полезного найдете для, с позволения сказать, философии поварского искусства.

И улыбнулся.

— Любопытно, какие только сочинения людьми не написаны.

А я почти с ужасом подумал: «Господи, когда же он успевает все это читать?»

Отрывок из «Наших знакомых» был напечатан в одном из ленинградских альманахов. Горький прочитал про повара и сказал мне недоуменно:

— Ну, а Брилья-Саварен? Ведь это же евангелие настоящего повара.

Я ответил Алексею Максимовичу, что не достал эту книжку. И тут Горький пришел буквально в ярость:

— То есть как это не достали? Как вы могли не достать? Какое вы имели право не достать? Вишь какой беспомощный!

Дня через два мне позвонил секретарь Горького и велел немедленно прийти. В пустой столовой на Малой Никитской я в течение нескольких часов читал Брилья-Саварена и делал из него выписки. Горького в этот день я не видел. И больше никогда об этом он со мной не заговаривал.

Я не знаю и, пожалуй, не знал ни одного человека, который умел бы так восхищаться и радоваться всему талантливому, подлинному и настоящему, как радовался Горький.

Помню, на даче вдруг хлынул проливной дождь, а Горький увидел позабытую в саду книжку. Легкой походкой, бегом, он бросился за ней, мгновенно промок насквозь, но, словно не замечая этого, любовно обтер толстый том и сказал всем нам — молодежи:

— Черти полосатые! Это же Алексей Николаевич Толстой! Как написал! Как отлично написал. Великолепный, замечательный писатель...

И долго здесь же, на террасе, с совершенно юношеским жаром говорил о Толстом, потом переехал на Юрия Николаевича Тынянова — вспомнил «Кюхлю», и вдруг на глазах его буквально закипели слезы восторга. Весь этот день, один из лучших дней, какие я помню, Горький был, если можно так выразиться, энергично, стремительно весел, хвастался нам свежим номером журнала «Наши достижения» (он очень любил этот журнал и даже у меня, молодого литератора, спрашивал, что мы, молодежь, думаем об этом его детище) и неустанно хвалил советскую литературу и в ее настоящем, и в том, какой она станет.

— Вы не знаете, — говорил он, — вы еще молоды и читаете только то, что сами пишете или что сосед написал. А я знаю: нашим литераторам никогда не придется задумываться над тем, для чего нужно искусство и нужно ли оно вообще. А это знаете как важно! Это, товарищи, основа основ...

Попозже, помешивая угли потухающего костра, Горький слушал одного писателя, который изящными и округлыми фразами выражал ему восхищение по поводу нынче напечатанной статьи Алексея Максимовича. Внезапно Горький сказал:

— Не так это все. Я некоторые положения намеренно сгустил. И именно от вас, несколько вас зная, ждал ответа в печати. Предполагал, что разгорится литературная полемика. Без литературной полемики получается не живая

литературная жизнь, а какая-то, знаете ли, кислятина. Скучно! Вот тут молодежь сидит, слушает, делает вежливые лица, а ведь небось у каждого есть свое мнение. Что, есть? Чего моргаете? Ведь тоже, поди, со мной не согласны? Или так уж все нам навсегда ясно, что мы решительно ни в какой литературной полемике не нуждаемся? Ведь это ерунда, ведь это решительно быть не может, ведь это все вздор...

Мы молчали.

Горький вздохнул, но сказал весело:

— Надо, товарищи, прекословить. Литература — дело живое, а стоит мне публично выступить, как это мое выступление вы сразу начинаете цитировать, точно слова мои — закон. Это мое мнение, литератора Горького мнение. И вы уж извольте со мной разговаривать как с литератором, пусть и более опытным, чем вы, а не как с департаментом изящной словесности...

\* \*  
\*

Так я видел Горького живым в последний раз. Потом я увидел его в гробу. Я стоял у гроба и никак не мог поверить, что один из самых живых людей на земле — мертв. И вспомнились мне почему-то слова:

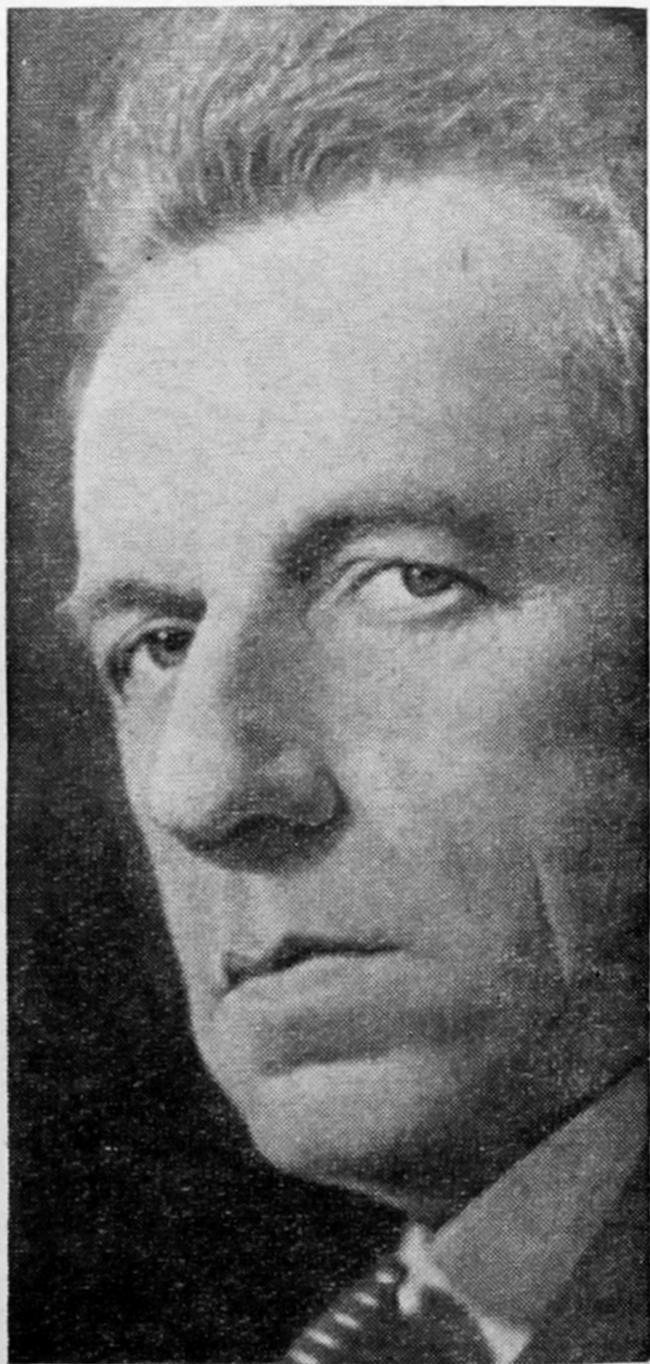
— Надо, товарищи, прекословить. Литература — дело живое...



# **О МЕЙЕРХОЛЬДЕ**

**Лишь тот достоин  
жизни и свободы,  
кто каждый день  
за них идет на бой.**

*Гёте*



**Е**го давно физически нет. И тем не менее он есть. Его беспредельно смелые искания, его гнев, его ирония, его сила и его страстность присутствуют во всем лучшем, что есть в нашем искусстве. Я не знаю, смогли бы народиться на свет «Броненосец Потемкин» без Мейерхольда. Потому что Мейерхольд и никто иной — именно он, вечно ищущий и никогда не останавливающийся, грандиозный даже в своих ошибках, — был одним из первых режиссеров-коммунистов, был глашатаем и провозвестником партийного искусства, искусства, принадлежащего народу и ведущего народ за собой властно и неудержимо.

В тот момент, когда многие еще колебались в выборе своего пути, Мейерхольд, разрывая со многими старыми друзьями, откровенно и точно признал для себя единственным и подлинным путем создание политического театра.

Как все гениальные люди, Всеволод Эмильевич был сложен.

Как все первооткрыватели и пролагатели новых путей, он был настойчив, изобретателен и смел.

Как истинный талант, он был несравненно и беспредельно щедр: сундук с его сокровищами никогда не заперся. Из него брали не стесняясь и берут по сей день. Небезынтересно, что берут именно те, кто поносными словами топтал его имя, берут, конечно в смысле крадут, и уворованное выдают за свое, а ЕГО, истинного создателя этих никогда не меркнущих ценностей, и по день нынешний, когда восторжествовала правда, именно эти «унесшие сокровища» облыжно и низко бранят, поминая, допустим, «Даму с камелиями», которая была не наилучшим свершением гениального художника, но которая делалась травимым и мучимым режиссером. А давным-давно известно, что, когда художника мучают, поносят и пинают, он творит неизмеримо хуже, чем тогда, когда он спокоен. Зачем же знающим, КАК обстояло дело, винить Мейерхольда в том, в чем он не был повинен. Шаровая молния, как известно, бьет по движущемуся предмету. Чтобы не быть убитым, человек, увидев шаровую молнию, застывает неподвижно. Чего же мы хотим от Мейерхольда того периода, когда его травили под свист и улюлюканье? Он видел шаровую молнию, устремившуюся в его сторону, и стоял неподвижно. Эта была пора, когда ему запретили смысл его жизни художника — битву, сражение, атаку. Ему запретили вести сокрушительный огонь по контрреволюционному мещанству, по обывательщине, по приспособленчеству, заявив, что он клеветник. Это и была шаровая молния.

Об этом нужно написать. Написать с той силой правды, с которой написано нынче о Серго Орджоникидзе, об Эйдемане, о Якире, о Тухачевском, как написано о сотнях и тысячах *шедших впереди и ведших на смертный бой*. Всеволод Мейерхольд *шел впереди и вел* «на бой кровавый, святой и правый», — вел работников искусства, вел искусство, вел театр, и нет без Мейерхольда не

только истории советского театра, но нет и театра живого, такого театра, как театр имени Мейерхольда, где в спектакле «Последний решительный» в едином, высоком, грандиозном порыве вставал весь зрительный зал — не для того, чтобы рукоплескать нюансам и полутонам, не для того, чтобы «образованность свою показывать», а только лишь затем, чтобы *защищать свою родину от вторгшегося в ее пределы врага*. Кто видел этот спектакль, тот не может не согласиться со мной, а кто не согласен, тому, как говорится, земля пухом. Каждому свое.

Какова же мораль этого введения?

Мораль проста: Всеволод Мейерхольд в прощении не нуждается. Мы же все нуждаемся в правдивой и страстной, честной и чистой книге о сложном и замечательном коммунисте — создателе и строителе Советского Партийного Театра. И книга эта должна быть написана чистыми руками. Стерильными.

К работе этой нельзя подпускать никого из тех, кто по каким-либо причинам «недопонимал» значение деятельности Мейерхольда. Нельзя допускать предававших, тех, кто кричали: «И я, и я!» Тут не может быть прощения даже старухе, подложившей свою вязанку в костер, на котором сжигали Яна Гуса. Слишком много горя нанесли нашему искусству даже эдакие старухи. Вспомним самоубийство Владимира Маяковского. Мемория о том, что он был лучшим поэтом революции, не возвратила Владимиру Владимировичу его единственную жизнь. Он ничего более не написал, а старухи пишут и похвалы себе слышат, старухи с вязанками. Не надо этих старух идеализировать, не такие уж они божьи коровки.

Из двадцати одного года, которые мне в ту пору миновали, девятнадцать я прожил в провинции.

И вот я в Москве, в душном коридорчике театра имени Мейерхольда, перед «самим».

Помню, мне было жарко, жутко и совестно, и испытывал я такое чувство, что произошла ошибка, что театр вызвал не того человека, что сейчас все, слава богу, выяснится, меня выгонят в толчки, и это самое лучшее.

— Ваше «Вступление» — великолепный роман, — слушал я, словно шум водопада. — Великолепный! Да! Почти шедевр!

Почти! Сейчас меня выгонят. Что может быть хуже «почти шедевра»?

— И Горький, — хитро взглянув на меня, спросил Мейерхольд, — Горький печатно похвалил вас, не так ли?

— Печатно — да, — с тоской ответил я, — но меня он ругал.

— Несправедливо?

— Почему же несправедливо? Правильно ругал.

— Во всяком случае, все, что касается Лондона, у вас превосходно.

— Нет у меня Лондона, — угрюмо пробормотал я. — У меня описан Китай, а потом Германия — Берлин...

Мейерхольд кивнул:

— Да, да, Берлин. Я спутал... Действительно, Берлин и этот толстяк инженер. Послушайте, напишите-ка нам пьесу про вашего инженера. Это может быть очень интересно. Китай — Берлин — СССР. Сядьте и напишите.

Написать пьесу для того театра, спектакли которого я смотрел по десяти раз кряду? Пьесу для Мейерхольда? Для Ильинского, Гарина, Мартинсона, Зайчикова?

Написать пьесу для того театра, куда совсем недавно я не мог пробраться даже на галерку...

Так думать, разумеется, нехорошо. Но именно так я думал.

И мальчишки честолобивы!

Однако порядочность взяла свое. И с отчаянием погибающего я решительно произнес:

— Не умею, Всеволод Эмильевич. Я никогда не писал пьес, я не смогу.

— Многие не могут, однако пишут, а мы ставим.

Глаза Мейерхольда холодно и строго смотрели на меня. Только много позже я разгадал это особое выражение его взгляда — извиняюще-презрительное: все бездарное, вялое, неэнергичное он презирал и не скрывал этого. Так же, как презирал робость, лень, неверие в свои силы, наигранную скромность. «Одаренным» нахалам умел искренне и весело удивляться. Про одного такого даже сказал не без восхищения:

— Ах он такой-сякой! Как изображает! Я чуть-чуть не поверил ему.

Разговор о пьесе продолжался в кабинете Мейерхольда. И по сей день я не помню, какая там стояла мебель, наверное потому, что все здесь всегда было заполнено личностью Мейерхольда. Он заслонял собою всех, он захватывал всегда мое внимание полностью, у меня не хватало сил оторваться от него ни на секунду.

Иногда впоследствии он меня спрашивал:

— Чего уставился?

Я не отвечал: не мог же я сказать, что смотрю, как он держит в своей необыкновенно красивой руке сигару, как дирижирует стаканом горячего молока.

В кабинете он сказал:

— Все просто: по вашему роману вам напишут сценарий, по сценарию вы напишите пьесу.

— А разве так бывает? — осведомился я.

Мейерхольд и сам не знал. Позвали знающего. Тот сказал, что если Всеволод Эмильевич хочет, то можно и так. Этот знающий ко всему привык за свою прикомандированную к этому театру жизнь.

Принесли договор, душистый юрист поставил то, что называется визой. У меня было ощущение страшного сна.

Я погибал и понимал это, а для сопротивления не было сил. Разве мог я сопротивляться *самому* Мейерхольду?

Сценарий был написан бодро, быстро и на редкость плохо. Но мог ли я возражать? Мне «придали» режиссера и художника — милых и покладистых людей, — и мы втроем уехали под Кинешму в Дом отдыха Малого театра, расположенный в бывшем имении великого драматурга А. Н. Островского.

Мейерхольд отбыл за границу, в Париж.

По горькой проницательности судьбы, писал я свою пьесу в кабинете самого Островского, за тем письменным столом, за которым писались «Гроза», «Лес».

За закрытой намертво дверью стрекотали и хохотали артистки, человек двадцать, — там была спальня. По дорожкам под окнами чинно прогуливались, разговаривали густыми голосами знаменитые артисты в кашне, шляпах и с тросточками. Жизнь шла своим чередом. Всем вокруг было хорошо, а мне страшно.

Все было страшно: и халтурный сценарий, превративший мой чрезвычайно несовершенный роман в совсем бог знает что, и то, что аморфное, невнятное и реальное «название условное» было уже запланировано театром как реально существующая пьеса, и то, что талантливый мой режиссер из-за моей спины заглядывал на страницы моих творений, и то, что постоянно чудилось мне вечерами и что помню я до сих пор, как реальный кошмар. Вот он. Я сижу и пишу. Широко распахивается дверь, и входит Александр Николаевич Островский, такой, как на портрете в собрании сочинений: меховые отвороты, рыжеватая борода, неприязненный взгляд. И слышен мне его тенорок:

— Ты что тут делаешь, стрикулист? Ты как смеешь? Вон! Свистун!

А сроки приближались, ужасающая развязка близилась.

В сочинении моем оказалось более трехсот страниц убористого текста, то есть, примерно «товара» на четыре нормальные пьесы.

Режиссура бойко смарала полтора ста, и все оставшееся превратила в спектакль, который Всеволод Эмильевич, вернувшись из-за границы, в грозном молчании смотрел до рассвета. Помню, как резюмировал Эраст Гарин свои впечатления одним словом:

— Пшено.

Мейерхольд все им увиденное запретил и отправился домой. Меня, драматурга, он как бы даже и не заметил во всю ту кошмарную ночь. Было совсем светло, когда в гостинице «Националь» я повалился на кровать. Вот она развязка! Ну что ж, я ведь предупреждал, что не умею писать пьесы.

Зазвонил телефон.

— Ну? — осведомился Мейерхольд. — Худо тебе?

— Плоховато, — сознался я.

— Гвардейские офицеры в старой армии в твоём положении застреливались, — с сатанинским смешком произнес Мейерхольд. — Ты читал об этом?

Тут я разорался. Мне было не до шуток. И он не давил сейчас меня своим присутствием — этот человек. Я не видел его и не боялся. Наваждение и чертовщина кончились. Я заявил, что сценарий — дрянь, что вся затея — халтура, что нынешний просмотр — логическое завершение нелепого замысла. Потом я выдохся и замолчал. Пусть Мейерхольд швырнет трубку, а я с первым же поездом уеду в свой Ленинград. Точка. С меня лил пот.

— А еще что? — спросил Мейерхольд.

— Ничего, — буркнул я, — посплю и уеду.

И тут Мейерхольд сыграл спектакль. Но, боже, как это было грандиозно, этот удивительный театр для троих в восьмом часу утра. Третьей была Зинаида Николаевна

Райх. Держа телефонную трубку так, чтобы я все слышал, он сказал с непередаваемой интонацией отчаяния:

— Понимаешь, ему, оказывается, не понравился сценарий, но он промолчал...

Наступила пауза.

И вновь я услышал голос Мейерхольда:

— Произошло трагическое насилие над его *творческой индивидуальностью*. Ты только вникни в эту бездну заячьей трусости, Зиночка, оцени это отсутствие собственного мнения, этот испуг, это...

— Не так! — заорал я, но он не слышал, он говорил:

— А теперь мы пропали. Мы не получим пьесу о том, что так нас с тобой радовало в его книге, зритель не увидит спектакль о рабстве, не увидит этих немецких безработных инженеров, не увидит смерть Нунбаха, не увидит...

К финалу монолога Мейерхольда я почувствовал себя действительно во всем виноватым. И почувствовал еще то, что необходимо понимать литератору во время работы для блага работы: дело его — нужное дело. И в этом действительно заинтересованы.

Напоминаю, я был мальчиком тогда. Никем. Почти что ничем. Но Мейерхольда интересовала не фамилия, не то, что называется «именем», а сочинение. Ему было нужно не сочетание имен на афише, а *только то, что он хотел выразить*. Он желал смертельно *схватиться* с капитализмом своим искусством, и не нужны ему были для этого никакие самые главные драматургические фамилии того времени. Да и вообще с удивительной, даже неправдоподобной наивностью он никогда не понимал, кто «главный». Даже у меня спрашивал впоследствии и всегда очень удивлялся:

— Да что ты? Вот бы не подумал! Ах, отстал, отстал. Слышишь, Зиночка, он говорит, что имярек теперь самый

и есть Шекспир? Издавали бы, право, какие-нибудь списочки коротенькие, чтобы быть в курсе дела.

И смеялся подолгу, довольный своей идеей.

Сейчас, кажется, такие списочки издаются.

В то невеселое утро он сказал мне по телефону:

— Выспись покрепче. Завтра начнем все с самого начала. В этом спектакле *мы с тобой* покажем унижение человека рабским трудом, покажем смысл труда, если труд служит обществу. Это будет партийный спектакль, а не малиновый сиропчик. Это будет грандиозно! Положись на меня.

Сердце мое билось. «Мы с тобой, положись на меня!» Еще бы мне не положиться на Мейерхольда! Вот только как он на *меня* положится?

— Это будет спектакль о труде как о смысле человеческой жизни,— ревел в трубке голос.— Сильный и неработающий обречен на смерть! Ты понимаешь? Я знаю Европу и знаю, о чем тебе толкую. Мы их отхлещем по мордам, эту сволочь, не желающую понимать значение осмысленного человеческого труда...

И совсем неожиданное заключение:

— Обедать с завтрашнего дня станешь у меня. Не принесешь кусочек пьесы — не будет тебе никакого обеда. Не работающий да не ест.

— Хорошо,— сказал я тихо.— Спасибо!

Повелось так: перед обедом я читал написанное. Во время обеда, сунув угол салфетки за воротничок, Мейерхольд рассказывал Райх то, что я написал. Ее спокойные прекрасные глаза мерцали. Удивительно, как умела слушать эта необыкновенная женщина. Я давился едой! Ничего подобного тому, что рассказывал Мейерхольд, в моем сочинении и в помине не было. То, что писал я, было, разумеется, исполнено благих намерений, но неумело, беспомощно, пресно и дурно. А то, что рассказы-

вал и порой показывал Мейерхольд бесконечно любимой им женщине, было всегда *талантливо*. Конечно, это были еще лохмотья, клочки, кусочки, иногда скороговорка и невнятица, но не восхищаться этим было невозможно.

Зинаида Николаевна восхищалась и гладила меня по голове большой белой рукой:

— Скажите какой он у нас!

А Мейерхольд мне подмигивал и шептал украдкой:

— Теперь пойдет по театру, что у нас все великолепно. Уж она распишет. Она это умеет.

После обеда, аппетитно прихлебывая кофе, Мейерхольд спрашивал со значением в голосе:

— Все понял?

Я догадывался, что означал этот вопрос: напиши, пожалуйста, так же, как я рассказывал, и все получится. Но именно так, а не иначе. Ведь я же тебе так все разжевал, так растолковал, это невозможно не понять. И ты сказал, что понял. Так напиши же, черт возьми!

Ночами я по несколько раз просыпался: понял? Конечно, ничего не понял, дубина! Ну, а если и понял, что из этого?

Прекрасные, сильные, мощные образы выплывали ко мне из небытия, он мне так зримо показал их, что я их, разумеется, видел, но сил моих не хватало для того, чтобы перенести эту могучую фантазию в слова, в поступки, в действие. Я видел руку, воздетую величественно и грозно, кисть, медленно сжимающуюся в кулак, но это был жест Мейерхольда, он не уместался в мои юношеские представления о жизни, в мою абсолютную профессиональную неопытность, в мое полное незнание основ драматургии...

Он приказал мне вечерами непременно ходить в театр.

Естественно, что в эту пору я признавал только его театр.

Увидев меня в шестой раз на «Великодушном рогоносце», Мейерхольд сказал:

— Ты мне что-то тут примелькался. Приелся.

И хитро, шепотом посоветовал:

— Сходи в МХАТ.

— Куда? — с испугом спросил я.

— В Художественный, где чайка на занавесе. Только никому не говори, что я тебя послал.

— А что там посмотреть?

— Все, — со своим характерным смешком добренького сатаны сказал Мейерхольд. — А начни с Чехова.

Утром на репетиции он ругался:

— Развели мхатовщину, смотреть невозможно. Кто вас научил этим отвратительным паузам? Оправдываете, да? Системочку изучаете?

В тот же день молодому и хитрому артисту, который объяснил свою беспомощность на сцене тем, что не желает подчиняться «мхатовским канонам», Мейерхольд с ужающей жесткостью крикнул:

— Вы бездарность! Не смейте о МХАТе говорить! Вон отсюда!

Жить в эту пору мне было необыкновенно интересно: я писал, переделывал, переписывал, вновь писал, по долгу видался с Мейерхольдом, читал то, что он приказывал читать, смотрел в театре то, что он считал для меня необходимым. Иногда он показывал мне оттиски гравюр, неожиданно и смешно сердился:

— Долдон! Ничего не понимаешь! Учить тебя и учить!

Однажды я достал бутылку дефицитного, как тогда говорилось, мозельвейна. Мейерхольд, пофыркивая, медведем вылез из ванной комнаты, распаренный сел в крес-

ло, велел мне самому отыскать в горке соответствующие вину фужеры. Открыв бутылку, я «красиво» налил немножко себе, потом ему, потом себе до краев. Мейерхольд, как мне показалось, с восторгом смотрел на мое священнодействие. Погодя шепотом, очень заинтересованно осведомился:

— Кто тебя этому научил?

— Официант в «Национале», — с чувством собственного достоинства ответил я. — Там такой есть старичок — Егор Фомич.

— Никогда ничему у официантов не учишься, — сказал мне тем же таинственным шепотом Мейерхольд. — Не заметишь, как вдруг лакейству и обучишься. А это не надо. Это никому не надо.

Галстуков я в ту пору принципиально не носил, расхаживал в коричневых сапогах, в галифе, в косоворотке и пиджаке. В мейерхольдовском театре на это никто не обращал внимания, но как-то Мейерхольды повезли меня на прием в турецкое посольство, и тут случился конфуз: швейцар оттер меня от Зинаиды Николаевны и Мейерхольда, и я оказался в низкой комнате, где шоферы дипломатов, аккредитованных в Москве, играли в домино и пили кофе из маленьких чашек. Было накурено, весело и шумно. Минут через сорок пришел Мейерхольд, жалостно посмотрел на меня и произнес:

— Зинаида Николаевна сказала, что это из-за твоих красных боярских сапог тебя не пустили. Ты не огорчайся только. В следующий раз Зина тебя в нашем театральном гардеробе приоденет, у нее там есть знакомство...

Шоферы дипломатических представительств с грохотом забивали «козла». Какое-то чудище в багровом фраке, в жабо, в аксельбантах жадно глодало в углу баранью кость. Иногда забегали лакеи выпить чашечку кофе. Забежал и мажордом.

— Этого я всегда путаю с одним послем,— сказал Всеволод Эмильевич.— И всегда с ним здороваюсь за руку. Он уже знает и говорит: «Я не он. Он там в баре пьет коньяк».

Мейерхольд подтянул к себе поднос, снял с него чашечку кофе, пригубил и, внимательно оглядевшись, сказал:

— Здесь, знаешь ли, куда занятнее, чем наверху. В следующий раз надену твои розовые сапоги боярского покроя, и пусть меня наверх не пустят. Кофе такое же, а люди интереснее. Ох, этот народец порассказать может, а?

Долго, жадно вглядывался во все и во всех, словно вбирая и запоминая живописные группы людей, и неожиданно со сладким кряхтением произнес:

— Как интересно! Ах, как интересно! Ай-ай-ай!

Эту прекрасную жадность художника я не раз замечал в нем: нужно было видеть, как он вдруг останавливался возле дома в Брюсовском, или на Гоголевском бульваре, или в Охотном и, вглядываясь в нечто, только ему видимое, только им замеченное и отмеченное, восхищался, вбирая в себя и никому не показывая эту свою внезапно приобретенную личную собственность.

Что это было?

Улица?

Дерево?

Освещение?

Человек?

Красота или уродство?

— Как интересно! Ах, как интересно! Ай-ай-ай!

И сейчас мне слышится эта интонация.

В этом смысле Мейерхольд был стяжателем и собственником. Во всех иных, по-моему, он был просто гол как сокол и беден как церковная мышь. Будучи завсегда-

таем мейерхольдовского дома в ту пору, я никогда не слышал столь популярных в иных кругах собеседований о комиссионных магазинах, о различных мануфактурах, стульях чепендель, вообще о той дряни быта и искажении смысла жизни, которые, бывает, делаются самим смыслом, когда человек лишь желает подольститься к эпохе, подладиться к ней, с тем чтобы жирно есть и мягко спать, сльвя ведущим и безгрешным.

Хорошие отношения Всеволод Эмильевич тоже не умел заводить. Даже с самонужнейшими и ответственнейшими. Помню, как сказал он одному из своих недругов, когда тот пришел к Мейерхольду «замиряться»:

— Был к котлетам зеленый горошек, его нарком Бубнов съел, вам не осталось, так это не злонамеренно. Вот Бубнов утверждает, что вы теперь про меня напишете «за горошек», будто я сюрреалист и дадаист. Напишите?

Критик обиделся, и примирения не получилось.

Был у Мейерхольда автомобиль. Всеволод Эмильевич каждый раз, садясь в машину, ужасно удивлялся:

— Подумай, еще ездит. И осенью ездит, и зимой ездит. Поразительно!

И спрашивал у шофера:

— И весной будем ездить?

Средненькое, серенькое, скучненькое, пошленькое, как бы оно ни было разукрашено и отлакировано, вызывало в нем вспышки яростной скуки. Помню я, как в одном из ленинградских модных тогда театров смотрел Мейерхольд очередной красивенький спектакль. Полтора акта он почти непрерывно, нисколько этого не стесняясь, даже как-то демонстративно сердито, с воем зевал, тряс головой, охал, а потом, схватив Райх за руку, не дождавшись антракта и не оглянувшись ни разу на бегущего за ним постановщика спектакля, ушел, не попрощавшись. А на следующий день жаловался:

— Бога нет только потому, что существуют такие театры. Если бы был бог, он бы с этим расправился. Гирляндочки, бонбоньерочки, голубое и розовое, а тоже станки, а тоже прожектора... А тоже, изволите ли видеть, новатор. Убивать таких, безжалостно. Или нет: не надо убивать, зачем убивать, у него хороший вкус для кафе. Он должен сделать маленькое кафе под названием «Артистическое». Нет, и в кафе его нельзя, будет приторно. Ты понимаешь?

Насколько мне известно, он не вел режиссерских записных книжек с пронумерованными или алфавитными наблюдениями. Его память была безмерно богата воспоминаниями, целыми кусками жизни, выразительными пейзажами, светом, цветом. Уже когда репетировалось мое «Вступление», он на ходу придумывал десятки решений в том или ином эпизоде, ставил их, полный народа театральный зал устраивал овацию, но Мейерхольд вдруг раздражался и командовал:

— Все убрать! Цирк, а не театр! Номерам хлопают, а не спектаклю. Мы не ученые лошади, мы не дивертисмент, ужели непонятно?

Одному режиссеру, выразившему свое недоумение этими «строгостями», Мейерхольд при мне сказал:

— Хотите, подарю вам все нынешние выдумки? Серьезно! На бумажке перечислю и оформлю дарственную у нотариуса. Вам, поди, пригодятся, вы, я слышал, собираетесь стать режиссером-новатором.

И глумливо, в растяжку произнес:

— Но-ва-ции!

Слова «новатор», «формалист», «футурист» он ненавидел так же страстно и бешено, как любую назойливую, прилипчивую пошлость. Когда при нем произносилось что-либо из этого словесного арсенала (к сожалению,

сопровождаявшего его всю жизнь), он как-то горестно съезживался и кряхтел, словно от зубной боли.

Мейерхольд любил и умел, разумеется, показывать артистам. Он показывал женщин, старух, юношей, показывал чопорного немца и пьяного, загулявшего немца, показывал, как сидит американец, показывал негру, как негр поет, и негр-артист с восторгом смотрел на мейерхольдовское показывание, потому что Мейерхольд увидел то в национальной культуре негритянского пения, что сам негр уже успел растерять в угоду эстрадам всего мира.

Но если Мейерхольда слепо копировали, он огорчался.

Он требовал, чтобы тот артистический индивидуум, которому он показывал основу его образа, создал некий новый *сплав* — из своего «я» и того точного рисунка, который преподавал ему Мейерхольд.

Всеволод Эмильевич не просто показывал — он видел в том, которому показывал, возможность появления некоего нового чуда.

К сожалению, эти чудеса далеко не всегда удавались.

Однажды Мейерхольд скорбно сказал:

— Старею, а сколько сил уходит даром.

И правда даром: мне одному весь вечер он рассказывал, как поставит в новом своем театре «Бориса Годунова». Рассказывал он, разумеется, не лично мне, просто я, как говорится, под руку попался, и вечер выдался пустой, одинокий. Я, разумеется, ничего потом не записал. И вообще, кажется, Мейерхольда мало записывали. Есть драгоценности — записки, скажем, Гладкова, но нужно обязать всех, кто знал Мейерхольда в работе, восстановить его жизнь, это долг совести и чести каждого, кому судьба подарила трудное счастье общения с этим человеком. И в первую очередь это обязаны сделать

*верные* ученики и последователи Мейерхольда. А я знаю *и таких*. Я имею честь знать В. Н. Плучека, который *никогда* не убирал со своего стола бюст Вс. Эм. Мейерхольда, тем самым веря *в конечное торжество* справедливости и утверждая, что *так не может быть*. В нашем великолепном театре Северного флота, которым командовал Плучек, *всегда*, и в шторм и в вёдро, звенела эта удивительная струна — страстности, наступательности, партийности, того, что и есть сама жизнь мейерхольдовцев, ни один из которых никогда не унизился до искательности и приспособленчества.

Обворовывали, надо сказать, Мейерхольда ужасно.

Помню, показал он мне как-то афишу, которую прислали ему то ли из Курска, то ли из Орла, то ли из Воронежа. Афиша была огромная, наглая и бесстыжая. И напечатаны на ней были следующие слова: «Постановка осуществлена по московскому театру имени Вс. Мейерхольда».

— Видишь, какой хороший мальчик, — сказал Мейерхольд, тыкая в фамилию режиссера, и с неожиданной горячностью добавил: — Этот что! Этот пусть себе. На здоровье. Огорчает меня другое: другие берут и, понимаешь ли, ругают. Украдут и обругают... И когда уж больно резво меня ругают, я все пытаюсь вспомнить: а что же ты, воришечка, у меня украл, что так пылко ругаешься?..

В этот вечер он рассказал о том, как Ленин смотрел в МХАТе «Сверчок на печи», как ему, Ленину, спектакль не понравился, и как он, Владимир Ильич, запретил запрещать «Сверчка на печи». Рассказывал об этом Мейерхольд словно бы даже с какой-то завистью.

Мою пьесу Мейерхольд выдумал сам. Мне не стыдно в этом сознаться. И ему я не раз говорил о том, что пьеса эта, в сущности, его. Он посмеивался, а однажды спросил не без раздражения:

— Ты что хочешь? Чтобы на афише было написано: «Мейерхольд и Герман»? Или: «Герман и Мейерхольд»? Ты меня, старика, материально поддержать хочешь?

И крикнул:

— Зиночка, выгони его из дому!

Выдумывал Мейерхольд так.

Я робко прочитал картину, в которой один за другим выходили десять или даже больше, сейчас не помню, инженеров-немцев. Все это происходило в ресторане в Берлине. Не зная, как выписать нужный мне эпизод, промучившись с ним бесконечно долго, я на все махнул рукой, и бедные мои инженеры пошли чередой, уныло представляясь каждый порознь. Дочитывая, я действительно думал, что сейчас меня выгонят помелом.

— Гениально! — воскликнул Мейерхольд. — Это лучшее, что ты написал. Ты что? Серьезно не понимаешь, как это великолепно?

Втянув голову в плечи, я неподвижно сидел на диване.

— Дурак! — сказал Мейерхольд. — Пойми, они пьяные! Они пьют третий день! Они так перепились, что затеяли эту ужасную, пугающую, идиотскую, просто неправдоподобную игру! Победа зеленого змия над интеллектом, над человеком, над силой духа! И вот, пьяные, они рекомендуются друг другу, несмотря на то что отлично знают один другого. Впиши фразочку, чтобы стало понятно, и завтра мы репетируем!

Назавтра завертелась дверь-вертушка. Из дождя и уличного тумана входили в ресторан мертвецы.

Гремели в зале несмолкаемые аплодисменты — весь ужас и мрак ненавистной коммунисту Мейерхольду тупости филистерского благополучия, все ублюдочное веселье этой умершей жизни, мучительная тревога за будущее немецкого народа были в этой сцене.

Недаром на премьерe именно в эти минуты из зала, стуча башмаками, ушли все деятели гитлеровского посольства в Москве во главе с послом.

Ушли бледные, с перекошенными мордами. Зрители начали посвистывать им вслед. Гитлеровцы зашипели. На лице Мейерхольда появилось непередаваемое выражение счастья. Такое выражение я видел на лице у командующего авиацией Северного флота на командном пункте, когда он, командующий, понял, что разгром фашистской авиации на ее норвежских базах начался и процесс этот необратим.

Это не нюансики и подтекстики. Это именно то, что любил напевать Мейерхольд:

«И вся-то наша жизнь есть борьба, борьба!»

Вслед фашистским послам Мейерхольд сказал зло и громко:

— Проняло.

Максим Максимович Литвинов покосился на Мейерхольда.

— Завтра мне придется принимать их «представление», — сказал он. — Будет невесело.

А Мейерхольд зашептал:

— Я уже придумал, что мы сделаем завтра. Будет не Берлин, чтобы эти мерзавцы не вязались, а «вольный город» Штеттин.

— Умница, — почти растроганно сказал Литвинов.

Но мерзавцы все-таки привязались. Литвинов и Мейерхольд виделись всякий день. И наконец, Всеволод Эмильевич придумал трюк. Он сказал:

— Это театр мой. На вывеске написано — Всеволода Мейерхольда. Что имени, они не поймут, они капиталисты. Вы им, Максим Максимыч, душа моя, и объясните. Не слушается, мол. Уперся на своем, и все.

Фашистыги приходили, разглядывали вывеску, разговаривали, как гуси.

И — отвязались.

В эпизоде похорон сына старого рабочего Ганцке, которого прекрасно играл Боголюбов, старика долго и торжественно одевают на церемонию: манжеты, крахмальная манишка, черный галстук, цилиндр.

Но Мейерхольд придумал свое знаменитое зеркало.

В руке раздавленного горем старика Ганцке большое зеркало: он оглядывает себя. Зеркало дрожит. Меловое лицо, прорезанное морщинами, в дрожащем высветленном прожекторами зеркале вызывало буквально стон в зале. Горе из плоскости быта, из привычных изображений всех степеней этого чувства мгновенно пронизывало нестерпимой болью сердца всех людей в зале и превращало их из зрителей в участников предстоящей трагической церемонии. Стон сменялся гулом возмущения. Зритель не желал больше ни секунды терпеть то, что делает с рабочими мир капиталистического чистогана.

Не есть ли умение найти и воплотить эту выразительность, выжечь этот гнев, эту страстность зрителей — высочайшая задача искусства?

Спившийся, давно безработный талантливый, умный и циничный инженер Нунбах, образ которого воплотил в жизнь еще совсем молодой тогда Лев Наумович Свердлов, проходит в романе длинный и мучительный путь, прежде чем покончить с собой.

Ничего у меня не выходило с эпизодом под названием «горький миндаль». В этом эпизоде Нунбах в кабинет-лаборатории главного моего героя Кельберга принимал цианистый калий, который, как известно, пахнет горьким миндалем.

Была глубокая ночь, когда все окончательно поняли, что эпизод не вышел. Свердлину нечего было играть.

Мейерхольд пил свое молоко, курил, потом поднялся и ушел на сцену.

Там он постоял, обдумывая, видимо, как быть и что делать. Лицо у него было спокойное, сосредоточенное и даже суровое.

Потом рабочие выкатили рояль.

Погодя Всеволод Эмильевич поставил на полированную черную крышку рояля узкую, очень высокую хрустальную вазу и опять надолго исчез. Рабочие в это время принесли большое облезлое кресло и кусок серебряной парчи.

В зале все затихли.

Вернулся Мейерхольд, вставил в вазу странный большой кактус, только что слепленный им самим из станиоля. И в подсвечники рояля он вставил две свечи. Третья была на маленьком столике возле кресла. Попыхивая сигарой, Мейерхольд долго закрывал кресло серебряной парчой. Наконец все было готово.

Он медленно и требовательно оглядывал то, что создал тут своими руками.

В зале сделалось так тихо, словно все ушли.

Три свечи горели на столе. Огоньки их отражались в черном лаке рояля. Парча, хрусталь создали простую, лаконичную и чудовищно безжалостную формулу смерти.

— Вы можете тут умереть, Лева? — спросил Мейерхольд со сцены в темноту зала.

— Да! — сдавленным голосом крикнул Свердлин. — Да, спасибо, Всеволод Эмильевич!

— Начали, — приказал Мейерхольд.

Кельберг-Мичурин сел за рояль. Звуки «Лунной сонаты» поплыли со сцены. Лев Наумович Свердлин медленно пошел к сверкающему парчой креслу.

— Это гроб, Лева, — предостерегающе крикнул Мейерхольд.

Сидевший со мной рядом великолепный артист Зайчиков закрыл глаза ладонью, и я услышал, как он бормочет:

— Это невыносимо! Это невозможно выдержать!..

А мне вдруг подумалось, что именно в такие мгновения два самых крупных человека в истории русской режиссуры — Станиславский и Мейерхольд могут взять да и пожать друг другу руки. И что тогда станут делать те критические шавки, которые своими намеками, междустрочьем, «беспокойною ласковостью взгляда», воем и наушничаньем в интерпретации поисков Мейерхольда приблизили его трагический конец? Ведь это они дали оружие в руки тех, мерзавцев, которые вели так называемое «дело Мейерхольда». Это цитатами из некоторых критических работ о нем был мучим Мейерхольд, старый и славный коммунист, создатель единственного в мире театра, потеря которого невозвратима. Ибо театр Мейерхольда был не театром прошедшего, а был театром будущего, театром наших нынешних дней.

Однажды, когда я поздней ночью провожал Мейерхольда домой, он угрюмо сказал:

— Вот, набравшись духу, позвоню Константину Сергеевичу и предложу: давайте, знаете, закроем наши курятники, убежим на чердак и станем все с самого начала придумывать. Ведь зашли в тупик и он и я. Искать надо...

Помолчал и добавил:

— Впрочем, насчет тупика пишут только про меня. А когда Станиславский ругается, это считают милыми чудачествами гения. Вовсе он не чудит, он ищет и мучается. А ему не велят. Ему объясняют, что он уже все совсем навсегда нашел.

Потом, неуверенно бодрясь, Мейерхольд пригрозился:

— Ничего, рано меня хоронить. Еще поглядим!

Спектакль «Вступление» состоялся.

Мою пьесу очень ругали, Мейерхольда — справедливо — хвалили. Мне было горько, но не слишком...

Во время гастролей театра в Ленинграде я пришел к Мейерхольду в «Европейскую гостиницу». Шеф-повар сам принес ему пломбир после обеда — странное сооружение из кубов, пирамид, треугольников, овалов...

— Опять? — брезгливо спросил Мейерхольд.

— Специально для вас стараемся, — сказал шеф. — Пломбир «футуристический»...

Вежливо поблагодарив шефа, Всеволод Эмильевич отошел к окну. Он был очень бледен. И произнес едва слышно:

— Заметьте, этот «футуристический» пломбир мне приносят не в первый раз! Что делать, как отучить их от этой мерзости?

Я никогда не видел Мейерхольда в таком состоянии.

А потом Мейерхольд меня забыл.

Я больше не был ему нужен, он умел близко, по-настоящему общаться с людьми, только делая с ними совместную работу.

Мне очень хотелось посмотреть «Даму с камелиями» — билетов не было, и я позвонил самому Всеволоду Эмильевичу. Он долго притворялся, что чрезвычайно рад моему звонку, но пустил меня только в яму оркестра. Я обиделся ужасно, как обижаются в молодости, и ушел.

Больше я его никогда не видел.

И никогда не увижу.

Но когда я смотрю настоящий, подлинный, берущий за сердце спектакль или кинофильм, который заставляет меня волноваться, радоваться и плакать, я непременно вспоминаю те удивительные месяцы моей молодости. Лаконизм и страстность, сила разоблачения и сила утверж-

дения, патетическая простота, энергия развития образов, великолепная целеустремленность — вот то мейерхольдовское, что волей или неволей вошло в плоть и кровь всего подлинно прогрессивного в нашем искусстве.

И когда я пишу сценарий, или повесть, или роман, те же удивительные месяцы моей молодости опять-таки непременно оживают передо мной. И не как воспоминания, а как школа, как техникум, как... впрочем, слово «университет» в нашем деле следует употреблять с осторожностью.

За эти месяцы близости с Мейерхольдом я, как мне кажется, очень многое понял. И если в работе моей что-то удастся, я знаю: не без тех давно миновавших дней. Если же нет, значит, дней этих было слишком мало или я был в ту пору моложе допустимой нормы.

Таким он остался навечно в моей памяти, этот удивительный человек.

И мне горько, что мы до сих пор с какой-то странной опаской произносим имя Мейерхольда. А некоторые среди нас не возвышаются над шефом-поваром из «Европейской» с его «футуристическим» пломбиром. Может быть, на основании слухов им Мейерхольд представляется каким-то «ничевоком», или «эгофутададаистом»? Или, не к ночи будь сказано, абстракционистом?

Сталин *никогда* не был в театре Мейерхольда.

И если говорить всерьез о борьбе с последствиями культа личности Сталина, то эта недоверчивость к имени Мейерхольда есть *реальное* последствие, с которым надо бороться.

Все, кто знал Мейерхольда, *обязаны* рассказать о самом главном в нем, о его преданности партии, о его ненависти к обывательщине и мещанству, о наступательном духе его искусства. А ошибки? Что ж! Академик Павлов любил говорить:

— Кто с коня не падал, кто бабушке не внук, под кем санки не подламывались? — И сам отвечал: — Неродившиеся души!

Мейерхольд был. Мейерхольд есть. Мейерхольд будет.

## СОДЕРЖАНИЕ

От автора об этой книжке и о себе . . . . .	5
ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ!» . . . . .	9
Глава первая . . . . .	11
Глава вторая . . . . .	32
Глава третья . . . . .	40
Глава четвертая . . . . .	58
Глава пятая . . . . .	72
Глава шестая . . . . .	101
Глава седьмая . . . . .	115
Глава восьмая . . . . .	134
Глава девятая . . . . .	142
Глава десятая . . . . .	160
Глава одиннадцатая . . . . .	181
Глава последняя . . . . .	193
ПОВЕСТЬ О ДОКТОРЕ НИКОЛАЕ ЕВГЕНЬЕВИЧЕ . . . . .	211
«Неуемный и неукротимый» . . . . .	213
Нелегко молодому . . . . .	217
На «Дружной Горке» . . . . .	220
Чудо в Чудове . . . . .	231
На войне как на войне . . . . .	242
Война продолжается . . . . .	247
Собрались на собрание фрицы и гансы... . . . .	253
И поехали к нему больные! . . . . .	258
О полезной жизни . . . . .	269
На седьмом десятке . . . . .	286

НАШ ДРУГ — ИВАН БОДУНОВ. Повесть-быль . . . . .	289
1. Первое знакомство . . . . .	291
2. «Орлы-сыщики» . . . . .	299
3. Профессор Крежемецкий . . . . .	314
4. В отсутствие начальника . . . . .	323
5. Саша Свисток и разные другие . . . . .	331
6. Жизнь — она сложная! . . . . .	338
7. Дни нашей жизни . . . . .	344
8. Как меня повели в тюрьму . . . . .	355
9. Иван Бодунов — наш друг . . . . .	365
О ГОРЬКОМ . . . . .	379
О МЕЙЕРХОЛЬДЕ . . . . .	395

---

*Герман Юрий Павлович.*

ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ!» М.,  
Политиздат, 1964.  
423 с. с илл. (Время и люди),

P2

Редактор *Ю. Чернышева*

Художник *М. Ольшевский*

Художественный редактор *С. Сергеев*

Технический редактор *Н. Трояновская*

Сдано в набор 7 июля 1964 г. Подписано в печать  
9 ноября 1964 г. Формат 70 × 108<sup>1/32</sup>. Физ. печ.  
л. 13<sup>1/4</sup> + <sup>1/32</sup> (вклейка). Условн. печ. л. 18,23.  
Учетно-изд. л. 17,57. Тираж 240 тыс. экз.  
(1—140 000). А 07283. Заказ № 2349. Цена 54 коп.

Работа объявлена в Т. п. 1964 г., № 327.

Политиздат, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Типография «Красный пролетарий» Политиздата,  
Москва, Краснопролетарская, 16.





54 кол.